
АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
ВОЕННЫЙ ЛЕТЧИК

АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

ВОЕННЫЙ ЛЕТЧИК

ПИСЬМО ЗАЛОЖНИКУ

Переводы с французского



Москва
«Художественная литература»
1977

И(Фр)
С31

Художник
М. РУДАКОВ

С $\frac{70304-017}{028(01)-77}$ 12-77

ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Анри Гийоме, товарищ мой,
тебе посвящаю эту книгу.



Земля помогает нам понять самих себя, как не помогут никакие книги. Ибо земля нам сопротивляется. Человек познает себя в борьбе с препятствиями. Но для этой борьбы ему нужны орудия. Нужен рубанок или плуг. Крестьянин, возделывая свое поле, мало-помалу вырывает у природы разгадку иных ее тайн и добывает всеобщую истину. Так и самолет — орудие, которое прокладывает воздушные пути, — приобщает человека к вечным вопросам.

Никогда не забуду мой первый ночной полет — это было над Аргентиной, ночь настала темная, лишь мерцали, точно звезды, рассеянные по равнине редкие огоньки.

В этом море тьмы каждый огонек возвещал о чуде человеческого духа. При свете вон той лампы кто-то читает, или погружен в раздумье, или поверяет другу самое сокровенное. А здесь, быть может, кто-то пытается охватить просторы Вселенной или бьется над вычислениями, измеряя туманность Андромеды. А там любят. Разбросаны в полях одинокие огоньки, и каждому нужна пища. Даже самым скромным — тем, что светят поэту, учителю, плотнику. Горят живые звезды, а сколько еще там закрытых окон, сколько погасших звезд, сколько уснувших людей...

Подать бы друг другу весть. Позвать бы вас, огоньки, разбросанные в полях, — быть может, иные и отзовутся.

I

ЛИНИЯ

Это было в 1926 году. Я поступил тогда пилотом на авиалинию компании «Латекоэр», которая, еще прежде чем «Аэропосталь» и «Эр-Франс», установила сообщение между Тулузой и Дакаром. Здесь я учился нашему ремеслу. Как и другие мои товарищи, я проходил стажировку, без которой новичку не доверят почту. Пробные вылеты, перегоны Тулуза — Перпиньян, нудные уроки метеорологии в ангаре, где зуб на зуб не попадал. Мы страшились еще неведомых нам гор Испании и с почтением смотрели на «стариков».

«Стариков» мы встречали в ресторане — они были хмурые, даже, пожалуй, замкнутые, снисходительно оделяли нас советами. Бывало, кто-нибудь из них, возвратясь из Касабланки или Аликанте, приходил позже всех, в кожанке, еще мокрой от дождя, и кто-нибудь из нас робко спрашивал, как прошел рейс, — и за краткими, скупыми ответами нам виделся необычайный мир, где повсюду подстерегают ловушки и западни, где перед тобою внезапно вырастает отвесная скала или налетает вихрь, способный вырвать с корнями могучие кедры. Черные драконы преграждают вход в долины, горные хребты увенчаны снопами молний. «Старики» умело поддерживали в нас почтительный трепет. А потом кто-нибудь из них не возвращался, и живым оставалось вечно чтить его память.

Помню, как вернулся из одного такого рейса Бюри, старый пилот, разбившийся позднее в Корбьерах. Он подсел к нашему столу и медленно ел, не

говоря ни слова; на плечи его все еще давила тяжесть непомерного напряжения. Это было под вечер, в один из тех мерзких дней, когда на всей трассе, из конца в конец, небо словно гнилое и пилоту кажется, что горные вершины перекатываются в грязи, — так на старинных парусниках срывались с цепей пушки и бороздили палубу, грозя гибелью. Я долго смотрел на Бюри и наконец, сглотнув, осмелился спросить, тяжел ли был рейс. Бюри хмуро склонялся над тарелкой, он не слышал. В самолете с открытой кабиной пилот в непогоду высовывается из-за ветрового стекла, чтобы лучше видеть, и воздушный поток еще долго хлещет по лицу и свистит в ушах. Наконец Бюри словно бы очнулся и услышал меня, поднял голову — и рассмеялся. Это было чудесно — Бюри смеялся не часто, этот внезапный смех словно озарил его усталость. Он не стал толковать о своей победе и снова молча принялся за еду. Но во хмелю ресторана, среди мелких чиновников, которые утешались здесь после своих жалких будничных хлопот, в облике товарища, чьи плечи придавила усталость, мне вдруг открылось необыкновенное благородство: из грубой оболочки на миг просквозил ангел, победивший дракона.

Наконец, однажды вечером, вызвали и меня в кабинет начальника. Он сказал коротко:

— Завтра вы летите.

Я стоял и ждал, что сейчас он меня отпустит. Но он, помолчав, прибавил:

— Инструкции хорошо знаете?

В те времена моторы были ненадежны, не то что нынешние. Нередко ни с того ни с сего они нас подводили: внезапно оглушал грохот и звон, будто разбивалась вдребезги посуда, — и приходилось

идти на посадку, а навстречу щерились колючие скалы Испании. «В этих местах, если мотору пришел конец, пиши пропало — конец и самолету!» — говорили мы. Но самолет можно и заменить. Самое главное — не врезаться в скалу. Поэтому нам, под страхом самого сурового взыскания, запрещалось идти над облаками, если внизу были горы. В случае аварии пилот, снижаясь, мог разбиться о какую-нибудь вершину, скрытую под белой ватой облаков.

Вот почему в тот вечер, на прощанье, медлительный голос еще раз настойчиво внушал мне:

— Конечно, это недурно — идти над Испанией по компасу, над морем облаков, это даже красиво, но...

И еще медлительнее, с расстановкой:

— ...но помните, под морем облаков — вечность...

И вот мирная, безмятежная гладь, которая открывается взору, когда выходишь из облаков, сразу предстала передо мной в новом свете. Это кроткое спокойствие — западня. Мне уже чудилась огромная белая западня, подстерегающая далеко внизу. Казалось бы, под нею кипит людская суета, шум, неугомонная жизнь городов, — но нет, там тишина еще более полная, чем наверху, покой нерушимый и вечный. Белое вязкое месиво становилось для меня границей, отделяющей бытие от небытия, известное от непостижимого. Теперь я догадывался, что смысл видимого мира постигаешь только через культуру, через знание и свое ремесло. Море облаков знакомо и жителям гор. Но они не видят в нем таинственной завесы.

Я вышел от начальника гордый, как мальчишка. С рассветом настанет мой черед, мне доверят пассажиров и африканскую почту. А вдруг я этого не стою? Готов ли я принять на себя такую ответственность? В Испании слишком мало посадочных

площадок, — случись хоть небольшая поломка, найду ли я прибежище, сумею ли приземлиться? Я склонялся над картой, как над бесплодной пустыней, и не находил ответа. И вот в преддверии решительной битвы, одолеваемый гордостью и робостью, я пошел к Гийоме. Мой друг Гийоме уже знал эти трассы. Он изучил все хитрости и уловки. Он знает, как покорить Испанию. Пусть он посвятит и меня в свои секреты.

Гийоме встретил меня улыбкой.

— Я уже слышал новость. Ты доволен?

Он достал из стенного шкафа бутылку портвейна, стаканы и, не переставая улыбаться, подошел ко мне.

— Такое событие надо спрыснуть. Увидишь, все будет хорошо!

От него исходила уверенность, как от лампы — свет. Несколько лет спустя он, мой друг Гийоме, совершил рекордные перелеты с почтой над Кордильерами и Южной Атлантикой. А в тот вечер, сидя под лампой, освещавшей его рубашку, скрещенные руки и улыбку, от которой я сразу воспрянул духом, он сказал просто:

— Неприятности у тебя будут — гроза, туман, снег, без этого не обойтись. А ты рассуждай так: летали же другие, они через это прошли, значит, и я могу.

Я все-таки развернул свою карту и попросил его просмотреть со мною маршрут. Наклонился над освещенной картой, оперся на плечо друга — и вновь почувствовал себя спокойно и уверенно, как в школьные годы.

Странный то был урок географии! Гийоме не преподносил мне сведения об Испании, он дарил мне ее дружбу. Он не говорил о водных бассейнах,

о численности населения и поголовье скота. Он говорил не о Гуадисе, но о трех апельсиновых деревьях, что растут на краю поля неподалеку от Гуадиса. «Берегись, отметь их на карте...» И с того часа три дерева занимали на моей карте больше места, чем Сьерра-Невада. Он говорил не о Лорке, но о маленькой ферме возле Лорки. О жизни этой фермы. О ее хозяине. И о хозяйке. И эта чета, затерявшаяся на земных просторах за тысячу с лишним километров от нас, безмерно вырастала в моих глазах. Их дом стоял на горном склоне, их окна светили издалека, словно звезды, — подобно смотрителям маяка эти двое всегда готовы были помочь людям своим огнем.

Так мы извлекали из забвения, из невообразимой дали мельчайшие подробности, о которых понятия не имеет ни один географ. Ведь географов занимает только Эбро, чьи воды утоляют жажду больших городов. Но им нет дела до ручейка, что прячется в траве западнее Мотриля — кормилец и поилец трех десятков полевых цветов. «Берегись этого ручья, он портит поле... Нанеси его тоже на карту». О да, я буду помнить про мотрильскую змейку! Она выглядела так безобидно, своим негромким журчаньем она могла разве что убаюкать нескольких лягушек, но сама она спала вполглаза. Затаясь в траве за сотни и сотни километров отсюда, она подстерегала меня на краю спасительного поля. При первом удобном случае она бы меня превратила в сноп огня...

Готов я был и к встрече с драчливыми баранами, которые всегда пасутся вон там, на склоне холма, и, того гляди, бросятся на меня. «Посмотришь — на лугу пусто, и вдруг — бац! — прямо под колеса кидаются все тридцать баранов...» И я изумленно улыбался столь коварной угрозе.

Так понемногу Испания на моей карте, под лампой Гийоме, становилась какой-то сказочной страной. Я отмечал крестиками посадочные площадки и опасные ловушки. Отметил фермера на горе и ручеек на лугу. Старательно нанес на карту пастушку с тридцатью баранами, совсем как в песенке, — пастушку, которой пренебрегают географы.

Потом я простился с Гийоме, и мне захотелось немного пройтись, подышать морозным вечерним воздухом. Подняв воротник, я шагал среди ничего не подозревающих прохожих, молодой и ретивый. Меня окружали незнакомые люди, и я гордился своей тайной. Они меня не знают, бедняги, а ведь на рассвете с грузом почты они доверят мне свои заботы и душевные порывы. В мои руки предадут свои надежды. И, уткнувшись в воротник, я ходил среди них как защитник и покровитель, а они ничего и ведать не ведали.

Им не были внятны и знаки, которые я ловил в ночи. Ведь если где-то зреет снежная буря, которая помешает мне в моем первом полете, от нее, возможно, зависит и моя жизнь. Одна за другой гаснут в небе звезды, но что до этого прохожим? Я один понимал, что это значит. Перед боем мне посылали весть о расположении врага...

А между тем эти сигналы, исполненные для меня такого значения, я получал возле ярко освещенных витрин, где сверкали рождественские подарки. Казалось, в ту ночь там были выставлены напоказ все земные блага, — и меня опьяняло горделивое сознание, что я от всего этого отказываюсь. Я воин, и мне грозит опасность, на что мне искристый хрусталь — украшение вечерних пиршеств, что́ мне

абажуры и книги? Меия уже окутывали туманы, — рейсовый пилот, я уже вкусил от горького плода иочных полетов.

В три часа меия разбудили. Я распахиул окио, увидел, что иа улице дождь, и сосредоточеиио, исто-во оделся.

Полчаса спустя я уже сидел, оседлав чемодаи-чик, на блестящем мокром тротуаре и дожидался автобуса. Сколько товарищей до меия пережили в день посвящения такие же иескоичаемые минуты, и у иих вот так же сжималось сердце! Накоиец ои вывернулся из-за угла, этот допотопный дребезжа-щий тарантас, и вслед за товарищами иастал мой черед по праву заиять место на тесиой скамье меж-ду иевыспавшимся таможеиииком и двумя или тре-мя чиновииками. В автобусе пахло затхлой и пыль-ной каицелярией, старой коиторой, где, как в боло-те, увязает человеческая жизнь. Через каждые пять-сот метров автобус остаиавливался и подбирал еще одиого письмоводителя, еще одиого таможеииика или иинспектора. Вновь прибывший здоровался, сои-ные пассажиры бормотали в ответ что-то иевиятное, он с грехом пополам втискивался между иими и то-же засыпал. Точио в каком-то уиылом обозе, трясло их иа иеровной тулузской мостовой, и поначалу рей-совый пилот был иеотличим от всех этих каицеля-ристов... Но мимо плыли уличные фоиари, прибли-жался аэродром — и старый тряский автобус ста-иовился всего лишь серым коконом, из которого че-ловек выйдет преображенным.

В жизии каждого товарища было такое утро, и ои вот так же чувствовал, что в ием, в подчи-иеином, которого пока еще может безиаказаиио шпынять всякий инспектор, рождается тот, кто ско-

ро будет в ответе за испанскую и африканскую почту, — тот, кто через три часа среди молний примет бой с драконом Оспиталета, а через четыре часа выйдет из этого боя победителем; и тогда он волен будет избрать любой путь — в обход, над морем, или на приступ, напрямик через Алкойский кряж, — он поспорит и с грозой, и с горами, и с океаном.

В жизни каждого товарища было такое утро, и он, затерянный в безликой и безымянной кучке людей под хмурым небом зимней Тулузы, вот так же чувствовал, как растет в нем властелин, который через пять часов оставит позади зиму и север, дожди и снега и, уменьшив число оборотов, неторопливо спустится в лето, в залитый ослепительным солнцем Аликанте.

Старого автобуса давно уже нет, но он и сейчас жив в моей памяти, жесткий, холодный и неуютный. Он был точно символ непременной подготовки к суровым радостям нашего ремесла. Все здесь было проникнуто строгой сдержанностью. Помню, три года спустя в этом же автобусе (не было сказано и десятка слов) я узнал о гибели Лекривэна, одного из многих наших товарищей, туманным днем или туманной ночью ушедших в отставку навеки.

Была такая же рань — три часа ночи, и такая же сонная тишина, как вдруг наш начальник, неразличимый в полутьме, окликнул инспектора:

— Лекривэн не приземлился ночью в Касабланке.

— А? — отозвался инспектор.

Неожиданно вырванный из сна, он с усилием

встряхнулся, стараясь показать свой ревностный интерес к службе.

— А, что? Ему не удалось пройти? Повернул назад?

Из глубины автобуса ответили только:

— Нет.

Мы ждали, но не услышали больше ни слова. Тяжело падали секунды, и понемногу стало ясно, что после этого «нет» ничего больше и не будет сказано, что это «нет» — жестокий и окончательный приговор: Лекривэн не только не приземлился в Касабланке — он уже никогда и нигде не приземлится.

Так в то утро, на заре моего первого почтового рейса, и я, как все мои товарищи по ремеслу, покорялся незыблемому порядку, и смотрел в окно на блестевший под дождем асфальт, в котором отражались огни фонарей, и чувствовал, что не слишком уверен в себе. От ветра по лужам пробегала рябь, похожая на пальмовые ветви. «Да... не очень-то мне везет для первого рейса...» — подумал я. И сказал инспектору:

— Погода как будто неважная?

Инспектор устало покосился на окно.

— Это еще ничего не значит, — проворчал он, помедлив.

Как же тогда разобрать, плохая погода или хорошая? Накануне вечером Гийоме одной своей улыбкой уничтожил все недобрые пророчества, которыми угнетали нас «старики», но тут они опять пришли мне на память: «Если пилот не изучил всю трассу назубок да попадет в снежную бурю... одно могу сказать, жаль мне его, беднягу!..» Надо же им было поддержать свой авторитет, вот они и качали головой, и мы смущенно поеживались под их соболез-

нующими взглядами, чувствуя себя жалкими простачками.

И в самом деле, для многих из нас этот автобус оказался последним прибежищем. Сколько их было — шестьдесят? Восемьдесят? Всех ненастным утром вез тот же молчаливый шофер. Я огляделся: в темноте светились огненные точки, каждая то разгоралась, то меркла в такт раздумьям курильщика. Убогие раздумья стареющих чиновников... Скольким из нас эти спутники заменили погребальный кортеж?

Я прислушивался к разговорам вполголоса. Говорили о болезнях, о деньгах, поверяли друг другу скучные домашние заботы. За всем этим вставали стены унылой тюрьмы, куда заточили себя эти люди. И вдруг я увидел лик судьбы.

Старый чиновник, сосед мой по автобусу, никто никогда не помог тебе спастись бегством, и не твоя в том вина. Ты построил свой тихий мирок, замуровал наглухо все выходы к свету, как делают термиты. Ты свернулся клубком, укрылся в своем обывательском благополучии, в косных привычках, в затхлом провинциальном укладе, ты воздвиг этот убогий оплот и спрятался от ветра, от морского прибоя и звезд. Ты не желаешь утруждать себя великими задачами, тебе и так немалого труда стоило забыть, что ты — человек. Нет, ты не житель планеты, несущейся в пространстве, ты не задаешься вопросами, на которые нет ответа: ты просто-напросто обыватель города Тулузы. Никто вовремя не схватил тебя и не удержал, а теперь уже слишком поздно. Глина, из которой ты слеплен, высохла и затвердела, и уже ничто на свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта, или поэта, или астронома, который, быть может, жил в тебе когда-то.

Я уже не в обиде на дождь, что хлещет в окна. Колдовская сила моего ремесла открывает предо мною иной мир: через каких-нибудь два часа я буду сражаться с черными драконами и с горными хребтами, увенчанными гривой синих молний, — и с наступлением ночи, вырвавшись на свободу, проложу свой путь по звездам.

Так совершалось наше боевое крещение, и мы начинали работать на линии. Чаще всего рейсы проходили гладко. Невозмутимо, как опытные водолазы, погружались мы в глубь наших владений. Сегодня они перестали быть неизведанной стихией. Летчик, бортмеханик и радист уже не пускаются в путь наудачу, самолет для них — лаборатория. Они повинуются не скользящему под крылом ландшафту, а дрожи стрелок. За стенками кабины тонут во мраке горы, — но это уже не горы, это незримые силы, чье приближение надо рассчитать. Радист при свете лампы старательно записывает цифры, механик делает пометки на карте, — и если горы снесло в сторону, если вершины, которые пилот намеревался обойти слева, безмолвно развернулись прямо перед ним, точно вражеская армия в засаде, он попросту выправляет курс.

И на земле дежурные радисты, прислушиваясь к голосу товарища, все разом старательно записывают: «0 часов 40 минут. Курс 230. На борту все благополучно».

Так странствует в наши дни экипаж воздушного корабля. Он и не замечает, что движется. Словно ночью в море, он далек от каких-либо ориентиров. Но моторы заполняют все непрерывной дрожью, и от этого кабина уже не просто освещенная комнатка. И время идет. И за всеми этими циферблатами,

радиолампами, стрелками действует некая незримая алхимия. Секунда за секундой таинственные жесты, приглушенные слова, сосредоточенное внимание готовят чудо. И в урочный час пилот может уверенно выглянуть наружу. Из Небытия рождается золото, оно сверкает посадочными огнями.

И все же с каждым из нас случалось так: в рейсе, в двух часах от аэродрома задумаешься и вдруг ощутишь такое одиночество, такую оторванность от всего на свете, каких не испытал бы и в самом сердце Индии, — и кажется, уже не будет возврата.

Так было с Мермозом, когда он впервые пересек на гидроплане Южную Атлантику и под вечер приблизился к Пот-о-Нуар. С каждой минутой перед ним все теснее сходились хвосты ураганов, — словно на глазах воздвигали стену, — потом опустилась ночь и скрыла эти приготовления. А часом позже он вывернулся из-под облаков и очутился в заколдованном царстве.

Перед ним вздымались смерчи, они казались неподвижными — черные колонны невиданного храма. Вверху они расширялись, поддерживая низкий, мрачный свод бури, но через проломы в своде падали широкие полосы света, и полная луна сияла меж колонн, отражаясь в холодных плитах вод. И Мермоз пробирался через эти руины, куда не вступала больше ни одна душа, скользил по лунным протокам, среди бакенов света, метивших извилистый фарватер, огибал гигантские гремучие колонны вставшего дыбом океана, — четыре часа шел он к выходу из храма. Это грозное величие ошеломляло, и, лишь когда Пот-о-Нуар остался позади, Мермоз вдруг понял, что даже не успел испугаться.

Мие тоже помиятся такие часы, когда покидаешь пределы реального мира: в ту ночь все радиопелеиги, послаиные с аэродромов Сахары, невероятно искажалнсь и совсем сбили меия и моего радиста Нери с толку. Неожидаино сквозь просвет в тумане под иамн блеснула вода, и я круто повериул к берегу, но иевозможно было поиять, далеко лн мы ушли над морем.

Как зиать, доберемся ли мы теперь до берега? Может ие хватить горючего. И даже если доберемся, иадо еще иайти посадочиую площадку. А меж тем луиа уже заходила. Все трудией стаиовилось производить нзмерения сиоса — и мы, уже оглохшие, постепеиио слеплн. Луна угасала в тумаие, словио тлеющнй уголь в сугробе. Небо иад иами тоже затягивалось облачиой пелеиой, и мы плыли между облаками и тумаиом, в тусклой мертвой пустоте.

Аэродромы, которые откликались иа иаш зов, ие могли определить, где мы иаходимся. «Пелеиг дать не можем... Пелеиг дать ие можем...» — повторяли они, потому что иаш голос доносился до иих отовсюду н ииоткуда.

И вдруг, когда мы уже отчаялись, впереди слева на горизоите сверкиула огнеииая точка. Я иеистово обрадовался. Нери наклонился ко мие, и я услышал — он поет! Коиечио же, это аэродром, коиечно же, маяк! Ведь больше здесь нечему светить — по ночам вся огромиая Сахара погружается во тьму, вся она словио вымнрает. Но огоиек померцал иемного и угас. То была заходящая звезда, всего на несколько мииут проглянула оиа иад горизоитом, между облаками и пелеиой тумаиа, и на иее-то мы взяли курс...

А потом перед нами вставали еще н еще огнн, и мы со смутиой иадеждой брали курс иа каждый

новый огонек. И если он не угасал сразу, мы подвергали его испытанию.

— Видим огонь, — передавал Нери аэродрому в Сиснеросе. — Трижды погасите и зажгите маяк.

Сиснерос гасил и вновь зажигал свой маяк, но не мигал жестокий свет, за которым мы жадно следили, — неподкупная звезда.

И хоть горючее все убывало, мы каждый раз попадались на золотой крючок: уж теперь-то впереди настоящий маяк! Уж теперь-то это аэродром — и жизнь!.. И опять мы меняли звезду.

Вот тогда мы почувствовали, что заблудились в пространстве, среди сотен недосягаемых планет, и кто знает, как отыскать ту настоящую, ту единственную нашу планету, на которой остались знакомые поля и леса, и любимый дом, и все, кто нам дорог...

Единственная планета... Я вам расскажу, какая мне тогда привиделась картина, хотя, быть может, вы сочтете это ребячеством. Но ведь и в минуту опасности остаешься человеком со всеми человеческими заботами, и я был голоден и хотел пить. Если только доберемся до Сиснероса, думал я, там наполним баки горючим и снова в путь, и вот рано поутру мы в Касабланке. Дело сделано! Мы с Нери отправимся в город. Иные маленькие бистро́ на рассвете уже открыты... Мы усядемся за столик, нам подадут свежие рогалики и кофе с молоком, и мы посмеемся над опасностями минувшей ночи. Мы с Нери примем утренние дары жизни. Так старой крестьянке трудно было бы ощутить бога, не будь у нее яркого образка, наивной ладанки, четок: чтобы мы услыхали, с нами надо говорить простым и понятным языком. Так радость жизни воплотилась для меня в первом глотке ароматного обжигающего напитка, в смеси кофе, молока и пшеницы — в

этих узах, что соединяют нас с мирными пастбищами, с экзотическими плантациями и зрелыми нивами, со всей Землей. Среди великого множества звезд лишь одна наполнила этим душистым напитком чашу нашей утренней трапезы, чтобы стать нам ближе и понятнее.

Но между нашим воздушным кораблем и той обитаемой планетой ширились неодолимые расстояния. Все богатства мира остались на крохотной песчинке, затерявшейся меж созвездий. И звездочет Нери, пытаясь ее распознать, все еще напрасно заклинал светила.

Вдруг он стукнул меня по плечу. За тумаком последовала записка. Я прочел: «Все хорошо, принимаю превосходное сообщение». С бьющимся сердцем я ждал, пока он допишет те несколько слов, которые нас спасут. И вот наконец этот дар небес у меня в руках.

К нам обращалась Касабланка, откуда мы вылетели накануне вечером. Послание задержалось в пути и неожиданно настигло нас за две тысячи километров, когда мы плутали где-то над морем, между облаками и туманом. Исходило оно от государственного контролера аэропорта в Касабланке. В радиограмме говорилось: «Господин де Сент-Экзюпери, я вынужден просить Париж наложить на вас взыскание: при вылете из Касабланки вы развернулись слишком близко к ангарам». Да, правда, я развернулся слишком близко к ангарам. Правда и то, что этот человек отчитывал меня просто по долгу службы. И в конторе аэропорта я смиренно выслушал бы выговор. Но там, где он настиг нас, он был неуместен. Дико прозвучал он среди этих редких звезд, в густом тумане, над морем, которое

дышало угрозой. Нам вручена была судьба почты и самолета, и наша собственная судьба; нелегкая это была задача — остаться в живых, а тут человек срывал на нас свою мелочную злость. Но мы с Нери ничуть не возмутились — напротив, вдруг повеселели и даже возликовали. Он помог нам сделать открытие: здесь мы сами себе хозяева! Итак, этот капрал не заметил по нашим нашивкам, что нас произвели в капитаны? Он прервал наши думы на полпути от Большой Медведицы к созвездию Стрельца, и стоило ли волноваться по мелочам, когда встревожить нас могло разве что предательство луны...

Долг планеты, с которой подал голос этот человек, прямой и единственный ее долг был — сообщить нам точные данные, чтобы мы могли рассчитать свой путь среди светил. И данные эти оказались неверны. А обо всем прочем ей бы пока помолчать. И Нери пишет мне: «Чем валять дурака, лучше бы они нас куда-нибудь привели...» Они — это означало: все население земного шара, все народы с их парламентами и сенатами, с армиями, флотами и императорами. И, перечитывая послание глупца, вздумавшего сводить с нами счеты, мы повернули на Меркурий.

Спасла нас поразительная случайность. Уже не надеясь добраться до Сиснероса, я повернул под прямым углом к берегу и решил держаться этого курса, пока не иссякнет горючее. Тогда, быть может, мы и не упадем в море. На беду, мнимые маяки завлекли меня бог весть куда. И, на беду, в лучшем случае нам предстоит среди ночи нырнуть в густой туман, так что скорее всего мы разобьемся при посадке. Но у меня не оставалось выбора.

Все было ясно, и я только невесело пожал плечами, когда Нери сообщил мне новость, которая часом раньше могла нас спасти: «Сиснерос пробует определить, где мы. Сиснерос передает: предположительно двести шестнадцать...» Сиснерос уже не молчал, зарывшись в темноту. Сиснерос пробуждался, мы чувствовали, что он где-то слева. Но далеко ли до него? Мы с Нери наспех посовещались. Слишком поздно. Мы оба это понимали. Погонишься за Сиснеросом — и, пожалуй, вовсе до берега не дотянешь. И Нери радировал в ответ: «Горючего осталось на час, продолжаем курс девяносто три».

Между тем один за другим просыпались аэродромы. В наш разговор вступали новые голоса — Агадир, Касабланка, Дакар. И в каждом городе поднималась тревога: радиостанция вызывала начальника аэропорта, тот — наших товарищей. Понемногу все они собрались вокруг нас, словно у постели больного. Бесплодное сочувствие, но все же сочувствие. Напрасные советы, но сколько в них нежности!

И вдруг издалека, за четыре тысячи километров, подала голос Тулуза, головной аэродром. Тулуза ворвалась к нам и без предисловий спросила: «Индекс вашего самолета F...? (Сейчас я уже не помню номер.) — Да. — Тогда в вашем распоряжении горючего еще на два часа. У вашей машины нестандартный бак. Курс на Сиснерос».

Так требования ремесла преображают и обогащают мир. Но, для того чтобы в привычных картинах летчику открылся новый смысл, ему вовсе не обязательно пережить подобную ночь. Однообразный вид за окном утомляет пассажира, но экипаж

смотрит другими глазами. Вон та гряда облаков, встающая на горизонте, для летчика не декорация: она бросит вызов его мускулам и задаст нелегкие задачи. И он уже принимает ее в расчет, измеряет и оценивает, они говорят на одном языке. А вот высится гора, до нее еще далеко, — чем она его встретит? При свете луны она послужит неплохим ориентиром. Но если летишь вслепую, и, уклонясь в сторону, с трудом исправляешь курс, и не знаешь точно, где находишься, тогда эта горная вершина обернется взрывчаткой, наполнит угрозой всю ночь, как одна-единственная мина — игрушка подводных течений — отравляет все море.

Иным видится пилоту и океан. Для пассажиров буря остается невидимкой: с высоты незаметно, как вздымаются валы, и залпы водяных брызг кажутся неподвижными. Лишь белеют внизу широко распластанные пальмовые ветви, зубчатые, рассеченные прожилками и словно заиндевелые. Но пилот понимает, что здесь на воду не сядешь. Эти пальмы для него — как огромные ядовитые цветы.

И даже если рейс выдался удачный, на своем отрезке трассы пилот не просто зритель. Он не восхищается красками земли и неба, следами ветра на море, позолотой закатных облаков, — он их обдумывает. Точно крестьянин, который, обходя свое поле, по тысяче примет узнает, ждать ли ранней весны, не грянут ли заморозки, будет ли дождь, и пилот тоже предвидит по приметам близкий снегопад, туман или ясную, погожую ночь. Поначалу казалось — самолет отдаляет человека от природы, — но нет, еще повелительней становятся ее законы. Грозовое небо вызывает пилота на суд стихий — и, одинокий, он отстаивает свой груз в споре с тремя изначальными божествами: с горами, морем и бурей.

II

ТОВАРИЩИ

I

Несколько французских летчиков, в том числе Мермоз, проложили над непокоренными районами Сахары авиалинию Касабланка — Дакар. Моторы тогда были очень ненадежны, Мермоз потерпел аварию и попал в руки мавров; они не решились его убить, две недели держали в плену, потом за выкуп отпустили. И Мермоз снова стал возить почту над теми же районами.

Потом открылось воздушное сообщение с Южной Америкой; Мермоз и тут был впереди, ему поручили разведать отрезок трассы от Буэнос-Айреса до Сантьяго и вслед за воздушным мостом над Сахарой перекинуть мост через Анды. Ему дали самолет с потолком в пять тысяч двести метров. А вершины Кордильер кое-где достигают семи тысяч. И Мермоз пустился на поиски просветов. Одолев пески, он вызвал на поединок горы, устремленные в небо вершины, на которых развеваются по ветру снежные покрывала; и предгрозовую мглу, что гасит всё земные краски; и воздушные потоки, рвущиеся навстречу меж двух отвесных каменных стен с такой яростью, словно вступаешь в драку на ножах. Мермоз начинал бой с неизвестным противником и не знал, можно ли выйти из подобной схватки живым. Мермоз прокладывал дорогу для других.

И вот однажды, прокладывая дорогу, он попал к Андам в плен.

Ему пришлось сесть на каменную площадку на высоте четырех тысяч метров, края площадки обрывались отвесно, и два дня они с механиком пытались выбраться из этой ловушки. Но безуспешно.



Тогда они решились на последнюю отчаянную попытку: самолет разбежался, резко подскочил раздругой на неровном камне и с края площадки сорвался в бездну. Падая, он набрал наконец скорость и вновь стал повиноваться рулям. Мермоз выровнял машину перед каменным барьером и перемахнул через него, но все-таки зацепил верхнюю кромку; проведя в воздухе каких-нибудь семь минут, он вновь попал в аварию: из трубок радиатора, лопнувших ночью на морозе, текла вода; и тут под ним, как земля обетованная, распахнулась чилийская равнина.

Назавтра он начал все сначала.

Разведав во всех подробностях дорогу через Анды и отработав технику перелета, Мермоз передоверил этот участок трассы своему товарищу Гийоме и взялся за разведку ночи.

В то время наши аэродромы еще не освещались, как теперь, и когда Мермоз темной ночью шел на посадку, для него зажигали три жалких бензиновых факела.

Он справился и с этим и проложил путь другим.

Ночь была приручена, и Мермоз взялся за океан. Уже в 1931 году он впервые доставил почту из Тулузы в Буэнос-Айрес за четверо суток. На обратном пути у него что-то случилось с маслопроводом, и он опустился прямо на бушующие воды Атлантики. Оказавшееся поблизости судно спасло и почту и экипаж.

Так Мермоз покорял пески и горы, ночь и море. Не раз пески и горы, ночь и море поглощали его. Но он возвращался — и снова отправлялся в путь.

Так проработал он двенадцать лет, и вот однажды, уже в который раз пролетая над Южной Атлантикой, коротко радировал, что выключает правый мотор. И наступило молчание.

Қазалось бы, волноваться не из-за чего, ио молчаиие затяиулось, прошло десять минут — и все радисты авиалинии, от Парижа до Буэнос-Айреса, стали на тревожную вахту. Ибо если в обыдеиной жизии десять минут опоздаиия — пустяк, то для почтового самолета они полны грозного смысла. В этом провале скрыто неведомое событие. Маловажное ли, трагическое ли, оно уже совершилось. Судьба вынесла свой приговор, окончательный и бесповоротный: быть может, жестокая сила всего лишь заставила пилота благополучно опуститься иа воду, а быть может, разбила самолет вдребезги. Но тем, кто ждет, приговор не объявлен.

Қому из нас иезнакома эта иадежда, угасающая с каждой минутой, это молчание, которое становится все тяжелее, словио роковой недуг? Сперва мы надеялись, ио текли часы, и вот уже слишком поздно. Қ чему обманывать себя — товарищи не вериутся, оии покоятся в глубинах Атлантического океаиа, иад которыми столько раз бороздили небо. Сомнений нет, долгий труд Мермоза окончен, и он обрел покой — так засыпает в поле жнец, честно связав последний сноп.

Когда товарищ умирает так, это никого не удивляет, — таково наше ремесло, и, пожалуй, будь его смерть иной, боль утраты была бы острее. Да, коиечио, теперь он далеко, в последний раз он переменил аэродром, но мы еще не почувствовали, что нам его не хватает, как хлеба насущного.

Мы ведь привыкли подолгу ждать встреч. Товарищи, работающие на одной линии, разбросаны по всему свету, от Парижа до Сантьяго, им, точно часовым иа посту, не перемолвиться словом. И только случай порою то здесь, то там вновь све-

дет вместе членов большой летной семьи. Где-нибудь в Касабланке, в Дакаре или Буэнос-Айресе после стольких лет вновь за ужином вернешься к прерванной когда-то беседе и вспомнишь прошлое, и почувствуешь, что все мы по-прежнему друзья. А там и опять в дорогу. Вот почему земля разом и пустынна и богата. Богата потаенными оазисами дружбы — они скрыты от глаз и до них нелегко добраться, но не сегодня, так завтра наше ремесло непременно приводит нас туда. Быть может, жизнь и отрывает нас от товарищей и не дает нам много о них думать, а все равно где-то, бог весть где, они существуют — молчаливые, забытые, но всегда верные! И когда наши дороги сходятся, как они нам рады, как весело нас тормошат! А ждать — ждать мы привыкли...

Но рано или поздно узнаешь, что один из друзей замолк навсегда, мы уже не услышим его звонкого смеха, отныне этот оазис недосягаем. Вот тогда настает для нас подлинный траур — не надрывающее душу отчаяние, скорее горечь.

Нет, никто никогда не заменит погибшего товарища. Старых друзей наскоро не создашь. Нет сокровища дороже, чем столько общих воспоминаний, столько тяжких часов, пережитых вместе, столько ссор, примирений, душевных порывов. Такая дружба — плод долгих лет. Сажая дуб, смешно мечтать, что скоро найдешь приют в его тени.

Так устроена жизнь. Сперва мы становимся богаче, ведь много лет мы сажали деревья, но потом настают годы, когда время обращает в прах наши труды и вырубает лес. Один за другим уходят друзья, лишая нас прибежища. И, скорбя об ушедших, втайне еще и грустишь о том, что сам стареешь.

Таковы уроки, которые преподали нам Мермоз и другие наши товарищи. Величие всякого ремесла, быть может, прежде всего в том и состоит, что оно объединяет людей: ибо ничего нет в мире драгоценнее уз, соединяющих человека с человеком.

Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве, и все наши богатства — прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить.

Я перебираю самые неизгладимые свои воспоминания, подвожу итог самому важному из пережитого, — да, конечно, всего значительней, всего весомей были те часы, каких не принесло бы мне все золото мира. Нельзя купить дружбу Мермоза, дружбу товарища, с которым навсегда связали нас пережитые испытания.

Нельзя купить за деньги это чувство, когда летишь сквозь ночь, в которой горят сто тысяч звезд, и душа ясна, и на краткий срок ты — всесилен.

Нельзя купить за деньги то ощущение новизны мира, что охватывает после трудного перелета: деревья, цветы, женщины, улыбки — все расцветила яркими красками жизнь, возвращенная нам вот сейчас, на рассвете, весь согласный хор мелочей нам наградой.

Не купить за деньги и ту ночь, которая мне сейчас вспоминается, — ночь в непокоренном районе Сахары.

Мы — три самолета компании «Аэропосталь» — застряли под вечер на берегу Рио-де-Оро. Первым сделал вынужденную посадку мой товарищ Ригель — у него заклинило рули; на выручку прилетел другой товарищ, Бурга́, однако пустячная поломка и его

приковала к земле. Наконец возле них сел я, но к тому времени уже стемнело. Мы решили починить машину Бурга, но не ковыряться впотьмах, а ждать утра.

Годом раньше на этом же самом месте потерпели аварию наши товарищи Гурп и Эрабль — и непокоренные мавры их убили. Мы знали, что и сейчас где-то у Бохадора стоит лагерем отряд в триста ружей. Вероятно, издалека увидав, как приземлились наши три самолета, они подняли тревогу, — и эта ночь может стать для нас последней.

Итак, мы приготовились к ночному бдению. Вытащили из грузовых кабин несколько ящиков, высыпали багаж, составили ящики в круг и внутри каждого, точно в сторожке, зажгли жалкую свечу, кое-как защищенную от ветра. Так среди пустыни, на обнаженной коре планеты, одинокие, словно на заре времен, мы возвели человеческое поселение.

Мы собрались на главной площади нашего поселения, на песчаном пятачке, куда падал из ящиков трепетный свет, и стали ждать. Мы ждали зари, которая принесет нам спасенье, или мавров. И уж не знаю почему, но было в той ночи что-то праздничное, рождественское. Мы делились воспоминаниями, шутили, пели.

Мы были слегка возбуждены, как на пиру. А меж тем ничего у нас не было. Только ветер, песок да звезды. Суровая нищета в духе траппистов. Но за этим скудно освещенным столом горстка людей, у которых в целом свете не осталось ничего, кроме воспоминаний, делилась незримыми сокровищами.

Наконец-то мы встретились. Случается, долго бредешь бок о бок с людьми, замкнувшись в молчании либо перекидываясь незначащими словами.

Но вот настает час опасности. И тогда мы друг другу опора. Тогда оказывается — все мы члены одного братства. Приобщаешься к думам товарищей и становишься богаче. Мы улыбаемся друг другу. Так выпущенный на волю узник счастлив безбрежностью моря.

2

Скажу несколько слов о тебе, Гийоме. Не бойся, я не стану вгонять тебя в краску, громко превознося твою отвагу и мастерство. Не ради этого я хочу рассказать о самом поразительном твоем приключении.

Есть такое человеческое качество, для него еще не придумано названия. Быть может, серьезность? Нет, и это неверно. Ведь с ним уживаются и улыбка, и веселый нрав. Оно присуще плотнику: как равный становится он лицом к лицу с куском дерева, ощупывает его, измеряет и, чуждый пустой самонадеянности, приступает к работе во всеоружии своих сил и уменья.

Однажды я прочел восторженный рассказ о твоем приключении, Гийоме, и давно хочу свести счеты с этим кривым зеркалом. Тебя изобразили каким-то дерзким, языкатым мальчишкой, как будто мужество состоит в том, чтобы в час грозной опасности или перед лицом смерти унизиться до зубоскальства! Они не знали тебя, Гийоме. Тебе вовсе незачем перед боем поднимать противника на смех. Когда надвигается буря, ты говоришь: «Будет буря». Ты видишь, что́ тебе предстоит, и готовишься к встрече.

Я хорошо помню, как это было, Гийоме, и я свидетельствую.

Зимой ты ушел в рейс через Анды — и исчез, пятьдесят часов от тебя не было никаких вестей. Я как раз вернулся из глубины Патагонии и присоединился в Мендосе к летчику Деле. Пять дней кряду мы кружили над горами, пытаясь отыскать в этом хаосе хоть какой-то след, но безуспешно. Что тут могли сделать два самолета! Казалось, и сотне эскадрилий за сто лет не обшарить все это неоглядное нагромождение гор, где иные вершины уходят ввысь на семь тысяч метров. Мы потеряли всякую надежду. Даже местные контрабандисты, головорезы, которые в долине ради пяти франков идут на любой риск и преступление, и те не решились вести спасательные отряды на штурм этих твердынь. «Нам своя шкура дороже, — говорили они. — Зимой Анды человека живым не выпустят». Когда мы с Деле возвращались в Сантьяго, чилийские должностные лица всякий раз советовали нам отказаться от поисков. «Сейчас зима. Если даже ваш товарищ и не разбился насмерть, до утра он не дожил. Ночь в горах пережить нельзя, она превращает человека в кусок льда». А потом я снова пробирался среди отвесных стен и гигантских столпов Анд, и мне казалось — я уже не ищу тебя, а в безмолвии снежного собора читаю над тобой последнюю молитву.

А на седьмой день я между вылетами завтракал в одном мендосском ресторане, и вдруг кто-то распахнул дверь и крикнул — всего лишь два слова:

— Гийоме жив!

И все, кто там был, даже незнакомые, на радостях обнялись.

Через десять минут я уже поднялся в воздух, прихватив с собой двух механиков — Лефевра и Абри. А еще через сорок минут приземлился на

дороге, шестым чувством угадав машину, увозившую тебя куда-то к Сен-Рафаэлю. Это была счастливая встреча, мы все плакали, мы душили тебя в объятиях — ты жив, ты воскрес, ты сам сотворил это чудо! Вот тогда ты сказал — и эти первые твои слова были полны великолепной человеческой гордости:

— Ей-богу, я такое сумел, что ни одной скотине не под силу.

Позже ты нам рассказал, как все это случилось.

Двое суток бесновалась метель, чилийские склоны Анд утопали под пятиметровым слоем снега, видимости не было никакой — и летчики американской авиакомпании повернули назад. А ты все-таки вылетел, ты искал просвет в сером небе. Вскоре на юге ты нашел эту ловушку, вышел из облаков — они кончались на высоте шести тысяч метров, и над ними поднимались лишь немногие вершины, а ты достиг шести с половиной тысяч — и взял курс на Аргентину.

Странное и тягостное чувство охватывает пилота, которому случится попасть в нисходящее воздушное течение. Мотор работает — и все равно проваливаешься. Вздергиваешь самолет на дыбы, стараясь снова набрать высоту, но он теряет скорость и силу, и все-таки проваливаешься. Опасаясь, что слишком круто задрал нос, отдаешь ручку, предоставляешь воздушному потоку снести тебя в сторону, ищешь поддержки у какого-нибудь хребта, который служит ветру трамплином, — и по-прежнему проваливаешься. Кажется, само небо падает. Словно ты захвачен какой-то вселенской катастрофой. От нее негде укрыться. Тщетно поворачиваешь назад,

туда, где еще совсем недавно воздух был прочной, надежной опорой. Опереться больше не на что. Все разваливается, весь мир рушится, и неудержимо сползаешь вниз, а навстречу медленно поднимается облачная муть, окутывает тебя и поглощает.

— Я потерял высоту и даже не сразу понял, что к чему, — рассказывал ты. — Кажется, будто облака неподвижны, но это просто потому, что они все время меняются и перестраиваются на одном и том же уровне, и вдруг над ними — нисходящие потоки. Непонятные вещи творятся там, в горах.

А какие громоздились облака!..

— Вдруг машина ухнула вниз, я невольно выпустил рукоятку и вцепился в сиденье, чтоб меня не выбросило из кабины. Трясло так, что ремни врезались мне в плечи и чуть не лопнули. А тут еще стекла залепило снегом, приборы перестали показывать горизонт, и я кубарем скатился с шести тысяч метров до трех с половиной.

Тут я увидел под собой черное плоское пространство, оно помогло мне выровнять самолет. Это было горное озеро Лагуна Диаманте. Я знал, что оно лежит в глубокой котловине и одна ее сторона — вулкан Маипу — поднимается на шесть тысяч девятьсот метров. Хоть я и вырвался из облачности, меня все еще слепили снежные вихри, и, попытайся я уйти от озера, я непременно разбился бы о каменные стены котловины. Я кружил и кружил над ним на высоте тридцати метров, пока не кончилось горючее. Два часа крутился, как цирковая лошадь на арене. Потом сел — и перевернулся. Выбрался из-под машины, но буря сбила меня с ног. Поднялся — опять сбило. Пришлось залезть под ка-

бину, выкопать яму в снегу и там укрыться. Я обложился со всех сторон мешками с почтой и высидел так двое суток.

А потом буря утихла, и я пошел. Я шел пять дней и четыре ночи.

Но что от тебя осталось, Гийоме! Да, мы тебя нашли, но как ты высох, исхудал, весь съежился, точно старуха! В тот же вечер я доставил тебя самолетом в Мендосу, там тебя, словно бальзам, омыла белизна простынь. Но они не утолили боль. Измученное тело мешало тебе, ты ворочался и не находил себе места, и никак не мог уснуть. Твое тело не забыло ни скал, ни снегов. Они наложили на тебя свою печать. Лицо твое почернело и опухло, точно перезрелый побитый плод. Ты был страшен и жалок, прекрасные орудия твоего труда — твои руки одеревенели и отказывались тебе служить; а когда, борясь с удушьем, ты садился на край кровати, обмороженные ноги свисали мертвым грузом. Было так, словно ты все еще в пути — бредешь, и задыхаешься, и, приникнув к подушке, тоже не находишь покоя — назойливые видения, теснившиеся где-то в тайниках мозга, опять и опять проходят перед тобой, и ты не в силах остановить это шествие. И нет ему конца. И опять, в который раз, ты вступаешь в бой с поверженным и вновь восстающим из пепла врагом.

Я поил тебя всякими целительными снадобьями:

— Пей, старик!

— И понимаешь, что было самое удивительное...

Точно боксер, который одержал победу, но и сам жестоко избит, ты заново переживал свое поразительное приключение. Ты рассказывал понемногу, урывками, и тебе становилось легче. А мне пред-

ставлялось — вот ты идешь в лютый сорокаградусный мороз, карабкаешься через перевалы на высоте четырех с половиной тысяч метров, у тебя нет ни ледоруба, ни веревки, ни еды, ты проползаешь по краю откосов, обдирая в кровь ступни, колени, ладони. С каждым часом ты теряешь кровь, и силы, и рассудок, и все-таки движешься вперед, упорный, как муравей; возвращаешься, наткнувшись на неодолимую преграду или взобравшись на крутизну, за которой разверзается пропасть; падаешь и вновь поднимаешься, не даешь себе хотя бы краткой передышки — ведь сто́ит приле́чь на снежное ложе, и уже не встаешь.

Да, поскользнувшись, ты спешил подняться, чтобы не закоченеть. С каждым мигом ты цепенел, стоило позволить себе после падения лишнюю минуту отдыха — и уже не слушались омертвелые мышцы, и так трудно было подняться. Но ты не поддавался соблазну.

— В снегу теряешь всякое чувство самосохранения, — говорил ты мне. — Идешь два, три, четыре дня — и уже ничего больше не хочется, только спать. Я хотел спать. Но я говорил себе — если жена верит, что я жив, она верит, что я иду. И товарищи верят, что я иду. Все они верят в меня. Подлец я буду, если остановлюсь!

И ты шел, и каждый день перочинным ножом расширял надрезы на башмаках, в которых уже не умещались твои обмороженные распухшие ноги.

Ты поразил меня одним признанием:

— Понимаешь, уже со второго дня всего труднее было не думать. Уж очень мне стало худо, и положение самое отчаянное. И задумываться об этом нельзя, а то не хватит мужества идти. На беду, голова плохо слушалась, работала без остановки, как турбина. Но мне все-таки удавалось управлять

воображением. Я подкидывал ему какой-нибудь фильм или книгу. И фильм или книга разворачивались передо мной полным ходом, картина за картиной. А потом какой-нибудь поворот опять возвращал мысль к действительности. Неминуемо. И тогда я заставлял себя вспоминать что-нибудь другое...

Но однажды ты поскользнулся, упал ничком в снег — и не стал подниматься. Это было как внезапный нокаут, когда боксер утратил волю к борьбе и равнодушен к счету секунд, что звучит где-то далеко, в чужом мире — раз, два, три... а там десятая — и конец.

— Я сделал все, что мог, надежды никакой не осталось — чего ради тянуть эту пытку?

Довольно было закрыть глаза — и в мире настал бы покой. Исчезли бы скалы, льды и снега. Нехитрое волшебство: сомкнешь веки, и все пропадает — ни ударов, ни падений, ни острой боли в каждом мускуле, ни жгучего холода, ни тяжкого груза жизни, которую тащишь, точно вол — непомерно тяжелую колымагу. Ты уже ощутил, как холод отравой разливается по всему телу и, словно морфий, наполняет тебя блаженством. Жизнь отхлынула к сердцу, больше ей негде укрыться. Там, глубоко внутри, сжалось в комочек что-то нежное, драгоценное. Сознание постепенно покидало дальние уголки тела, которое еще недавно было как истерзанное животное, а теперь обретало безразличную холодность мрамора.

Даже совесть твоя утихала. Наши призывные голоса уже не доносились до тебя, вернее, они звучали, как во сне. И во сне ты откликался, ты шел по воздуху невесомыми счастливыми шагами, и перед тобой уже распахивались отрадные просторы равнин. Как легко ты парил в этом мире,

как он стал приветлив и ласков! И ты, скупец, решил отнять у нас радость своего возвращения.

В самых дальних глубинах твоего сознания шевельнулись угрызения совести. В сонные грезы вторглась трезвая мысль.

— Я подумал о жене. Мой страховой полис убережет ее от нищеты. Да, но если...

Если застрахованный пропадает без вести, по закону его признают умершим только через четыре года. Перед этой суровой очевидностью отступили все сны и видения. Вот ты лежишь ничком, распластавшись на заснеженном откосе. Настанет лето, и мутный поток талых вод снесет твое тело в какую-нибудь расселину, которых в Андах тысячи. Ты это знал. Но знал и то, что в пятидесяти метрах перед тобой торчит утес.

— Я подумал — если встану, может, и доберусь до него. Прижмусь покрепче к камню, тогда летом тело найдут.

А поднявшись на ноги, ты шел еще две ночи и три дня.

Но ты вовсе не надеялся уйти далеко.

— По многим признакам я угадывал близкий конец. Вот пример. Каждые два часа или около того мне приходилось останавливаться — то еще немного разрезать башмак, то растереть опухшие ноги, то просто дать отдых сердцу. Но в последние дни память стала мне изменять. Бывало, отойду довольно далеко от места остановки, а потом спохватываюсь: опять я что-нибудь да забыл! Сперва забыл перчатку, а в такой мороз это не шутка. Положил ее возле себя, а уходя, не поднял. Потом забыл часы. Потом перочинный нож. Потом компас. Что ни остановка, то потеря...

Спасенье в том, чтобы сделать первый шаг. Еще один шаг. С него-то все и начинается заново...

— Ей-богу, я такое сумел, что ни одной скотине не под силу.

Опять мне приходят на память эти слова — я не знаю ничего благороднее, эти слова определяют высокое место человека в мире, в них — его честь и слава, его подлинное величие. Наконец ты засыпал, сознание угасало, но с твоим пробуждением и оно тоже возрождалось и вновь обретало власть над изломанным, измятым, обожженным телом. Так, значит, наше тело лишь послушное орудие, лишь верный слуга. И ты гордишься им, Гийоме, и эту гордость ты тоже сумел вложить в слова:

— Я ведь шел голодный, так что, сам понимаешь, на третий день сердце начало сдавать... Ну и вот, ползу я по круче, подо мной — обрыв, пропасть, пробиваю в снегу ямку, чтобы сунуть кулак, и на кулаках повисаю, — и вдруг сердце отказывает. То замрет, то опять работает. Да неуверенно, неровно. Чувствую — помешкай оно лишнюю секунду, и я свалюсь. Застыл на месте, прислушиваюсь — как оно там, внутри? Никогда, понимаешь, никогда в полете я так всем нутром не слушал мотор, как в эти минуты — собственное сердце. Все зависело от него. Я его уговариваю — а ну-ка, еще разок! Постарайся еще... Но сердце оказалось первый сорт. Замрет — а потом все равно опять работает... Знал бы ты, как я им гордился!

Задыхаясь, ты наконец засыпал. А я сидел там, в Мендосе, у твоей постели и думал: если заговорить с Гийоме о его мужестве, он только пожмет плечами. Но и восхвалять его скромность было бы ложью. Он выше этой заурядной добродетели. А пожмет плечами потому, что умудрен опытом. Он знает — люди, застигнутые катастрофой, уже не

боятся. Пугает только неизвестность. Но когда человек уже столкнулся с нею лицом к лицу, она перестает быть неизвестностью. А особенно — если встречаешь ее вот так спокойно и серьезно. Мужество Гийоме рождено прежде всего душевной прямотой.

Главное его достоинство не в этом. Его величие — в сознании ответственности. Он в ответе за самого себя, за почту, за товарищей, которые надеются на его возвращение. Их горе или радость у него в руках. Он в ответе за все новое, что создается там, внизу, у живых, он должен участвовать в созидании. Он в ответе за судьбы человечества — ведь они зависят и от его труда.

Он из тех больших людей, что подобны большим оазисам, которые могут многое вместить и укрыть в своей тени. Быть человеком — это и значит чувствовать, что ты за все в ответе. Сгорать от стыда за нищету, хоть она как будто существует и не по твоей вине. Гордиться победой, которую одержали товарищи. И знать, что, укладывая камень, помогаешь строить мир.

И таких людей ставят на одну доску с тореадорами или с игроками! Расхваливают их презрение к смерти. А мне плевать на презрение к смерти. Если корни его не в сознании ответственности, оно — лишь свойство нищих духом либо чересчур пылких юнцов. Мне вспоминается один молодой самоубийца. Уж не знаю, какая несчастная любовь толкнула его на это, но он старательно всадил себе пулю в сердце. Не знаю, какому литературному образцу он следовал, натягивая перед этим белые перчатки, но помню — в этом жалком театральном жесте я почувствовал не благородство, а убожество. Итак, за приятными чертами лица, в голове, где должен бы обитать человеческий разум, ничего не было,

ровио иичего. Только образ какой-то глупой девчонки, каких на свете великое множество.

Эта бессмыслеиная судьба иапомиила мие другую смерть, поистиие достойную человека. То был садовиик, ои говорнл мне:

— Бывало, зиаете, рыхлю заступом землю, а сам обливаюсь по́том... Ревматизм мучит, иоги иоют, кляиу, бывало, эту каторгу иа чем свет стоит. А вот нынче копался бы и копался в земле. Отличное это дело! Так вольио дышнтся! И потом, кто теперь стаиет подстригать мои деревья?

Он оставлял возделаиную землю. Возделаиную планету. Узы любви соедииялн его со всеми полями и садами, со всеми деревьями иашей землн. Вот кто был ее великодушиым, щедрым хозяииом н властелииом. Вот кто, подобио Гийоме, обладал истиииым мужеством, нбо он боролся со смертью во нмя Созидаиия.

III

САМОЛЕТ

Не в том суть, Гийоме, что твое ремесло заставляет тебя день и иочь следить за приборамн, выравинваться по гироскопам, вслушиваться в дыханне моторов, опираться иа пятнадцать тоии металла; задачи, встающне перед тобой, в коиечиом счете — задачи общечеловеческие, н вот ты уже равеи благородством жителю гор. Не хуже поэта ты умеешь наслаждаться утренней зарей. Сколько раз, затеряниый в бездне тяжких иочей, ты жаждал, чтобы там, далеко на востоке, возиик иад черной землей первый слабый проблеск, первый сиоп света. Случалось,

ты уже готовился к смерти, но во мраке медленно пробивался этот чудесный родник — и возвращал тебе жизнь.

Привычка к сложнейшим инструментам не сделала тебя бездушным техником. Мне кажется, те, кого приводит в ужас развитие техники, не замечают разницы между средством и целью. Да, верно, кто добивается лишь материального благополучия, тот пожинает плоды, ради которых не стоит жить. Но ведь машина не цель. Самолет — не цель, он всего лишь орудие. Такое же орудие, как и плуг.

Нам кажется, будто машина губит человека, — но, быть может, просто слишком стремительно меняется наша жизнь, и мы еще не можем посмотреть на эти перемены со стороны. По сравнению с историей человечества, а ей двести тысяч лет, сто лет истории машины — это так мало! Мы едва начинаем осваиваться среди шахт и электростанций. Мы едва начинаем обживать этот новый дом, мы его даже еще не достроили. Вокруг все так быстро изменилось: взаимоотношения людей, условия труда, обычаи. Да и наш внутренний мир потрясен до самого основания. Хоть и остались слова — разлука, отсутствие, даль, возвращение, — но их смысл стал иным. Пытаясь охватить мир сегодняшний, мы черпаем из словаря, сложившегося в мире вчерашнем. И нам кажется, будто в прошлом жизнь была созвучнее человеческой природе, — но это лишь потому, что она созвучнее нашему языку.

Мы едва успели обзавестись привычками, а каждый шаг по пути прогресса уводил нас все дальше от них, и вот мы — скитальцы, мы еще не успели создать себе отчизну.

Все мы — молодые дикари, мы не устали дивиться новым игрушкам. Ведь в чем смысл наших авиационных рекордов? Вот он, победитель, он летит всех выше, всех быстрей. Мы уже не помним, чего ради посылали его в полет. На время гонка сама по себе становится важнее цели. Так бывает всегда. Солдат, который покоряет земли для империи, видит смысл жизни в завоеваниях. И он презирает колониста. Но ведь затем он и воевал, чтоб на захваченных землях поселился колонист! Упиваясь своими успехами, мы служили прогрессу — прокладывали железные дороги, строили заводы, бурили нефтяные скважины. И как-то забыли, что все это для того и создавалось, чтобы служить людям. В пору завоеваний мы рассуждали, как солдаты. Но теперь настал черед поселенцев. Надо вдохнуть жизнь в новый дом, у которого еще нет своего лица. Для одних истина заключалась в том, чтобы строить, для других она в том, чтобы обживать.

Бесспорно, понемногу наш дом станет настоящим человеческим жилищем. Даже машина, становясь совершеннее, делает свое дело все скромней и незаметней. Кажется, будто все труды человека — создателя машин, все его расчеты, все бессонные ночи над чертежами только и проявляются во внешней простоте; словно нужен был опыт многих поколений, чтобы все стройней и чеканней становились колонна, киль корабля или фюзеляж самолета, пока не обрели наконец первозданную чистоту и плавность линий груди или плеча. Кажется, будто работа инженеров, чертежников, конструкторов к тому и сводится, чтобы шлифовать и сглаживать, чтобы облегчить и упростить механизм крепления, уравновесить крыло, сделать его незаметным — уже

не крыло, прикрепленное к фюзеляжу, но некое совершенство форм, естественно развившееся из почки, таинственно слитное и гармоническое единство, которое сродни прекрасному стихотворению. Как видно, совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять. Машина на пределе своего развития — это уже почти не машина.

Итак, по изобретению, доведенному до совершенства, не видно, как оно создавалось. У простейших орудий труда мало-помалу стирались видимые признаки механизма, и в руках у нас оказывался предмет, будто созданный самой природой, словно галька, обточенная морем; тем же примечательна и машина — пользуясь ею, постепенно о ней забываешь.

Вначале мы приступали к ней, как к сложному заводу. Но сегодня мы уже не помним, что́ там в моторе вращается. Оно обязано вращаться, как сердце обязано биться, а мы ведь не прислушиваемся к биению своего сердца. Орудие уже не поглощает нашего внимания без остатка. За орудием и через него мы вновь обретаем все ту же вечную природу, которую издавна знают садовники, мореходы и поэты.

В полете встречаешься с водой и с воздухом. Когда запущены моторы, когда гидроплан берет разбег по морю, гондола его отзывается, точно гонг, на удары волн, и пилот всем телом ощущает эту напряженную дрожь. Он чувствует, как с каждой секундой машина набирает скорость, и вместе с этим нарастает ее мощь. Он чувствует, как в пятнадцатитонной громаде зреет та сила, что позволит взлететь. Он сжимает ручку управления, и эта сила, точно дар, переливается ему в ладони. Он овладевает этим даром, и металлические рычаги становятся

послушными исполнителями его воли. Наконец мощь его вполне созрела — и тогда легким, неуловимым движением, словно срывая спелый плод, летчик поднимает машину над водами и утверждает ее в воздухе.

IV

САМОЛЕТ И ПЛАНЕТА

1

Да, конечно, самолет — машина, но притом какое орудие познания! Это он открыл нам истинное лицо Земли. В самом деле, дороги веками нас обманывали. Мы были точно императрица, пожелавшая посетить своих подданных и посмотреть, довольны ли они ее правлением. Чтобы провести ее, лукавые царедворцы расставили вдоль дороги веселенькие декорации и наняли статистов водить хороводы. Кроме этой тоненькой ниточки, государыня ничего не увидела в своих владениях и не узнала, что на бескрайних равнинах люди умирают с голоду и проклинают ее.

Так и мы брели по извилистым дорогам. Они обходят стороной бесплодные земли, скалы и пески; верой и правдой служа человеку, они бегут от родника до родника. Они ведут крестьянина от гумна к пшеничному полю, принимают у хлева едва проснувшийся скот и на рассвете выплескивают его в люцерну. Они соединяют деревню с деревней, потому что деревенские жители не прочь породниться с соседями. А если какая-нибудь дорога и отважится пересечь пустыню, то в поисках передышки будет без конца петлять от оазиса к оазису.

И мы обманывались их бесчисленными изгибами, словно утешительной ложью, на пути нам то и дело попадались орошенные земли, плодовые сады, сочные луга, и мы долго видели нашу тюрьму в розовом свете. Мы верили, что планета наша — влажная и мягкая.

А потом наше зрение обострилось, и мы сделали жестокое открытие. Самолет научил нас двигаться по прямой. Едва оторвавшись от земли, мы покидаем дороги, что сворачивают к водоемам и хлевам или вьются от города к городу. Отныне мы свободны от милого нам рабства, не зависим больше от родников и берем курс на дальние цели. Только теперь, с высоты прямолинейного полета, мы открываем истинную основу нашей земли, фундамент из скал, песка и соли, на котором, пробиваясь там и сям, словно мох среди развалин, зацветает жизнь.

И вот мы становимся физиками, биологами, мы рассматриваем поросль цивилизаций — они украшают собою долины и кое-где чудом расцветают, словно пышные сады в благодатном климате. Мы смотрим в иллюминатор, как ученый в микроскоп, и судим человека по его месту во вселенной. Мы заново перечитываем свою историю.

2

Когда летишь к Магелланову проливу, немного южнее Рио-Гальегос видишь внизу поток застывшей лавы. Эти остатки давно отбушевавших катаклизмов двадцатиметровой толщей придавили равнину. Дальше пролетаешь над вторым таким потоком, над третьим, а потом идут горушки, бугры высотой в двести метров, и на каждом зияет кратер. Ничего

похожего на гордый Везувий: прямо на равнине разинуты жерла гаубиц.

Но сегодня здесь мир и тишина. Странным и неуместным кажется это спокойствие вставшей дыбом земли, где когда-то тысячи вулканов, изрыгая пламя, перекликались громовым рокотом подземного орга́на. А сейчас летишь над безмолвной пустыней, повитой лентами черных ледников.

Дальше идут вулканы более древние, их уже одела золотая мурава. Порою в кратере растет дерево, совсем как цветок в старом горшке. Окрашенная светом догорающего дня, равнина больше похожа на великолепный парк с заботливо подстриженным газоном и лишь слегка вздымается вокруг огромных разинутых пастей. Улепетывает заяц, взлетает птица, — жизнь завладела новой планетой, небесным телом, которое наконец облеклось доброй плотью земли.

Незадолго до Пунта-Аренас последние кратеры сходят на нет. Горбы вулканов почти незаметны под ровным покровом зелени, все изгибы спокойны и плавны. Каждую щель затянула эта мягкая ткань. Почва ровная, склоны пологие, и уже не помнишь об их происхождении. Зелень трав стирает с холмов мрачные приметы.

И вот самый южный город на свете, он возник благодаря случайной горстке грязи, что скопилась меж древней застывшей лавой и южными льдами. Здесь, совсем рядом с этими черными потоками, особенно остро ощущаешь, какое это чудо — человек. Редкостная удача! Бог весть как, бог весть почему этот странник забрел в сады, которые словно только его и ждали, в сады, где жизнь возможна лишь одну геологическую эпоху — краткий срок, мимолетный праздник среди нескончаемых будней.

Я приземлился в тихий теплый вечер. Пунта-Аренас! Прислоняюсь к камням фонтана и гляжу на девушек. Они прелестны, и в двух шагах от них еще острее чувствуешь: непостижимое существо человек. В нашем мире все живое тяготеет к себе подобному, даже цветы, клонясь под ветром, смешиваются с другими цветами, лебедю знакомы все лебеди — и только люди замыкаются в одиночестве.

Как отдаляет нас друг от друга наш внутренний мир! Между мною и этой девушкой стоят ее мечты — как одолеть такую преграду? Что могу я знать о девушке, которая неспешно возвращается домой, опустив глаза и улыбаясь про себя, поглощенная милыми выдумками и небылицами? Из невысказанных мыслей возлюбленного, из его слов и его молчания она умудрилась создать собственное королевство, и отныне для нее все другие люди — просто варвары. Я знаю, она замкнулась в своей тайне, в своих привычках, в певучих отголосках воспоминаний, она далека от меня, точно мы живем на разных планетах. Лишь вчера рожденная вулканами, зелеными лужайками или соленой морской волной, она уже почти божество.

Пунта-Аренас! Прислоняюсь к камням фонтана. Старухи приходят сюда набрать воды; их удел — тяжелая работа, только это я и узнаю об их судьбе. Откинувшись к стене, безмолвными слезами плачет ребенок; только это я о нем и запомню: славный малыш, навеки безутешный. Я чужой. Я ничего о них не знаю. Мне нет доступа в их владения.

До чего скупы декорации, среди которых развертывается многоликая игра человеческой вражды, и дружбы, и радостей! Волей случая люди брошены на еще не остывшую лаву, и уже надвигаются на них грозные пески и снега, — откуда же у них

эта тяга к вечности? Ведь их цивилизация — лишь хрупкая позолота: заговорит вулкан, нахлынет море, дохнет песчаная буря — и они сгинут без следа.

Этот город, видно, раскинулся на щедрой земле, полагают, что слой почвы здесь глубокий, как в Бос[1]. И люди забывают, что здесь, как и повсюду, жизнь — это роскошь, что нет на планете такого места, где земля у нас под ногами и впрямь лежала бы толстым слоем. Но в десяти километрах от Пунта-Аренас я знаю пруд, который наглядно это показывает. Окаймленный чахлыми деревцами и приземистыми домишками, он неказист, точно лужа посреди крестьянского двора, но вот что непостижимо — в нем существуют приливы и отливы. Все вокруг так мирно и обыденно, шуршат камыши, играют дети, а пруд подчиняется иным законам, и ни днем, ни ночью не замирает его медленное дыхание. Недвижная сонная гладь, единственная ветхая лодка, — а под всем этим — воды, покорные влиянию луны. Их черные глуби живут одной жизнью с морем. Окрест, до самого Магелланова пролива, под тонкой пленкой трав и цветов все причудливо связано, все смешивается и переливается. И вот — город, кажется, он надежно построен на обжитой земле, и здесь ты дома, — а у самого порога, в луже шириной едва в сотню метров, бьется пульс моря.

3

Мы живем на планете-страннице. Порой, благодаря самолету, мы узнаем что-то новое о ее прошлом: связь лужи с луной изобличает скрытое родство, — но я встречал и другие приметы.

[1] Область в Центральном массиве (Франция).

Пролетая над побережьем Сахары, между Кап-Джуби и Сиснеросом, тут и там видишь своеобразные плоскогорья от нескольких сот шагов до тридцати километров в поперечнике, похожие на усеченные конусы. Примечательно, что все они одной высоты — триста метров. Одинаковы их уровень, их окраска (они состоят из тех же пород), одинаково круты их склоны. Точно колонны, которые, возвышаясь над песками, еще очерчивают тень давно рухнувшего храма, эти столбы свидетельствуют, что некогда здесь простиралось, соединяя их, одно огромное плоскогорье.

В те годы воздушное сообщение между Касабланкой и Дакаром только начиналось, наши машины были еще хрупки и ненадежны — и, когда мы терпели аварию или вылетали на поиски товарищей или на выручку, нередко нам приходилось садиться в непокоренных районах. А песок обманчив: понадеешься на его плотность — и увязнешь. Что до древних солончаков, с виду они тверды, как асфальт, и гулко звенят под ногой, но зачастую не выдерживают тяжести колес. Белая корка соли проламывается — и оказываешься в черной зловонной трясине. Вот почему, когда было возможно, мы предпочитали гладкую поверхность этих плоскогорий — здесь-то не скрывалось никакой западни.

Порукой тому был слежавшийся крупный и тяжелый песок — громадные залежи мельчайших ракушек. На поверхности плоскогорий они сохранились в целости, а дальше вглубь — это видно было по срезу — все больше дробились и спрессовывались. В самых древних пластах, в основании массива, уже образовался чистейший известняк.

И вот в ту пору, когда надо было выручать из

плена наших товарищей Рена и Серра, захваченных непокорными племенами, я доставил на такое плоскогорье мавра, посланного для переговоров, и, прежде чем улететь, стал вместе с ним искать, где бы ему сойти вниз. Но со всех сторон наша площадка отвесно обрывалась в бездну круто ниспадающими складками, точно тяжелый каменный занавес. Спуститься было немыслимо.

Надо было лететь, искать более подходящее место, но я замешкался. Быть может, это ребячество, но мне радостно было ощущать под ногами землю, по которой ни разу еще не ступали ни человек, ни животное. Ни один араб не взял бы приступом эту твердыню. Ни один европейский исследователь еще не бывал здесь. Я мерил шагами девственный, с начала времен не тронутый песок. Я первый пересыпал в ладонях, как бесценное золото, раздробленные в пыль ракушки. Первым я нарушил здесь молчание. На этой полярной льдине, которая от века не взрастила ни единой былинки, я, словно занесенное ветрами семя, оказался первым свидетельством жизни.

В небе уже мерцала звезда, я поднял к ней глаза. Сотни тысяч лет, думал я, эта белая гладь открывалась только взорам светил. Незапятнанно чистая скатерть, разостланная под чистыми небесами. И вдруг сердце у меня замерло, словно на пороге необычайного открытия: на этой скатерти, в каких-нибудь тридцати шагах от меня, чернел камень.

Под ногами лежала трехсотметровая толща спрессованных ракушек. Этот сплошной гигантский пласт был как самый неопровержимый довод: здесь нет и не может быть никаких камней. Если и дремлют там, глубоко под землей, кремни — плод медленных превращений, совершающихся в недрах пла-

неты, — каким чудом один из них могло вынести на эту нетронутую поверхность? С бьющимся сердцем я подобрал свою находку — плотный черный камень величиной с кулак, тяжелый, как металл, и округлый, как слеза.

На скатерть, разостланную под яблоней, может упасть только яблоко, на скатерть, разостланную под звездами, может падать только звездная пыль, — никогда ни один метеорит не показывал так ясно, откуда он родом.

И, естественно, подняв голову, я подумал, что небесная яблоня должна была уронить и еще плоды. И я найду их там, где они упали, — ведь сотни и тысячи лет ничто не могло их потревожить. И ведь не могли они раствориться в этом песке. Я тотчас пустился на поиски, чтобы проверить догадку.

Она оказалась верна. Я подбирал камень за камнем, примерно по одному на гектар. Все они были точно капли застывшей лавы. Все тверды, как черный алмаз. И в краткие минуты, когда я замер на вершине своего звездного дождемера, предо мною словно разом пролился этот длившийся тысячелетия огненный ливень.

4

Но всего чудесней, что там, на выгнутой спине нашей планеты, между намагниченной скатертью и звездами, поднялся человеческий разум, в котором мог отразиться, как в зеркале, этот огненный дождь. Среди извечных напластований мертвой материи человеческое раздумье — чудо. А они приходили, раздумья...

Однажды авария забросила меня в сердце песчаной пустыни, и я дожидался рассвета. Склоны дюн, обращенные к луне, сверкали золотом, а противоположные склоны оставались темными до самого гребня, где тонкая, четкая линия разделяла свет и тень. На этой пустынной верфи, исполосованной мраком и луной, царила тишина прерванных на час работ, а быть может, безмолвие капкана, — и в этой тишине я уснул.

Очнувшись, я увидел один лишь водоем ночного неба, потому что лежал я на гребне дюны, раскинув руки, лицом к этому живозвездному садку. Я еще не понимал, что за глубины мне открылись, между ними и мною не было ни корня, за который можно бы ухватиться, ни крыши, ни ветви дерева, и уже во власти головокруженья я чувствовал, что неудержимо падаю, стремительно погружаюсь в пучину.

Но нет, я не падал. Оказалось, весь я с головы до пят привязан к земле. И странно умиротворенный, я предавался ей всею своей тяжестью. Сила тяготения показалась мне всемогущей, как любовь.

Всем телом я чувствовал — земля подпирает меня, поддерживает, несет сквозь бескрайнюю ночь. Оказалось — моя собственная тяжесть прижимает меня к планете, как на крутом вираже всей тяжестью вжимаешься в кабину, и я наслаждался этой великолепной опорой, такой прочной, такой надежной, и угадывал под собой выгнутую палубу моего корабля.

Я так ясно ощущал это движение в пространстве, что ничуть не удивился бы, услыхав из недр земли жалобный голос вещества, мучимого непривычным усилием, стон дряхлого парусника, входящего в гавань, пронзительный скрип перегруженной

баржи. Но земные толщи хранили безмолвие. Но плечами я ощущал силу притяжения — все ту же, гармоничную, неизменную, данную на века. Да, я неотделим от родной планеты, — так гребцы затонувшей галеры, прикованные к месту свинцовым грузом, навеки остаются на дне морском.

Затерянный в пустыне, окруженный опасностями, беззащитный среди песков и звезд, отрезанный от магнитных полюсов моей жизни немыми далями, раздумывал я над своей судьбой. Я знал: на то, чтоб возвратиться к этим животворным полюсам, если только меня не разыщет какой-нибудь самолет и не прикончат завтра мавры, уйдут долгие дни, недели и месяцы. Здесь у меня не оставалось ничего. Всего лишь смертный, заблудившийся среди песков и звезд, я сознавал, что обладаю только одной радостью — дышать...

Зато вдоволь было снов наяву.

Они прихлынули неслышно, как воды родника, и сперва я не понял, откуда она, эта охватившая меня нега. Ни голосов, ни видений, только чувство, что рядом кто-то есть, близкий и родной друг, и вот сейчас, сейчас я его узнаю. А потом я понял — и, закрыв глаза, отдался колдовству памяти.

Был где-то парк, густо заросший темными елями и липами, и старый дом, дорогой моему сердцу. Что за важность, близок он или далек, что за важность, если он и не может ни укрыть меня, ни обогреть, ибо здесь он только греза: он существует — и этого довольно, в ночи я ощущаю его достоверность. Я уже не безымянное тело, выброшенное на берег, я обретаю себя — в этом доме я родился, память моя полна его запахами, прохладой его прихожих, голосами, что звучали в его стенах. Даже кваканье лягушек в лужах — и то донеслось до меня. Мне так нужны были эти бесчисленные при-

меты, чтобы вновь узнать самого себя, чтобы понять, откуда, из каких утрат возникает в пустыне чувство одиночества, чтобы постичь смысл ее молчания, возникающего из бесчисленных молчаний, когда не слышно даже лягушек.

Нет, я уже не витал меж песков и звезд. Эта застывшая декорация больше ничего мне не говорила. И даже ощущение вечности, оказывается, исходило совсем не от нее. Передо мною вновь предстали почтенные шкафы старого дома. За приоткрытыми дверцами высились снеговые горы простынь. Там хранилась снеговая прохлада. Старушка домоправительница семенила, как мышь, от шкафа к шкафу, неутомимо проверяла выстиранное белье, раскладывала, складывала, пересчитывала. «Вот несчастье!» — восклицала она, заметив малейший признак обветшания, — ведь это грозило незыблемости всего дома! — и сейчас же подсаживалась к лампе и, не жалея глаз, заботливо штопала и латала эти алтарные покровы, эти трехмачтовые паруса, неутомимая в своем служении чему-то великому — уж не знаю, какому богу или кораблю.

Да, конечно, я должен посвятить тебе страницу, мадемуазель. Возвращаясь из первых своих путешествий, я всегда заставал тебя с иглой в руке, год от года у тебя прибавлялось морщин и седин, но ты все так же утопала по колена в белых покровах, все так же своими руками готовила простыни без складок для наших постелей и скатерти без морщинки для нашего стола, для праздников хрусталя и света. Я приходил в бельевую, усаживался напротив и пытался тебя взволновать, открыть тебе глаза на огромный мир, пытался совратить тебя рассказами о своих приключениях, о смертельных опасностях. А ты говорила, что я ничуть не переменился. Ведь я и мальчуганом вечно

приходил домой в изорванной рубашке («Вот несчастье!») и с ободранными коленками, и по вечерам надо было меня утешать, совсем как сегодня. Да нет же, нет, мадемуазель! Я возвращаюсь уже не из дальнего уголка парка, но с края света, и приношу с собой дыхание песчаных вихрей, терпкий запах нелюдимых далей, ослепительное сияние тропической луны! Ну конечно, говорила ты, мальчики всегда носятся как угорелые, ломают руки и ноги и еще воображают себя героями. Да нет же, нет, мадемуазель, я заглянул далеко за пределы нашего парка! Знала бы ты, как мала, как ничтожна его сень. Ее и не заметишь на огромной планете, среди песков и скал, среди болот и девственных лесов. А знаешь ли ты, что есть края, где люди при встрече мигом вскидывают ружье? Знаешь ли ты, мадемуазель, что есть на свете пустыни, там ледяными ночами я спал под открытым небом, без кровати, без простынь...

— Вот дикарь! — говорила ты.

Как я ни старался, она оставалась тверда и непоколебима в своей вере, точно церковный служка. И мне грустно было, что жалкая участь делает ее слепой и глухой...

Но в ту ночь в Сахаре, беззащитный среди песков и звезд, я оценил ее по достоинству.

Не знаю, что со мной творится. В небе столько звезд-магнитов, а сила тяготения привязывает меня к земле. И есть еще иное тяготение, оно возвращает меня к самому себе. Я чувствую, ко многому притягивает меня моя собственная тяжесть! Мои грезы куда реальнее, чем эти дюны, чем луна, чем

все эти достоверности. Да, не в том чудо, что дом укрывает нас и греет, что эти стены — наши. Чудо в том, что незаметно он передает нам запасы нежности — и она образует в сердце, в самой его глубине, неведомые пласты, где, точно воды родника, рождаются грезы...

Сахара моя, Сахара, вот и тебя всю заворожила старая пряха!

V

ОАЗИС

Я уже столько говорил вам о пустыне, что, прежде чем заговорить о ней снова, хотел бы описать оазис. Тот, что встает сейчас у меня перед глазами, скрывается не в Сахаре. Но самолет обладает еще одним чудесным даром — он мгновенно переносит вас в самое сердце неведомого. Еще так недавно вы, подобно ученому биологу, бесстрастно разглядывали в иллюминатор человеческий муравейник — города, что обосновались на равнинах, и дороги, которые разбегаются от них во все стороны и, словно кровеносные сосуды, питают их соками полей. Но вот задрожала стрелка высотомера — и травы, только что зеленевшие далеко внизу, становятся целым миром. Вы — пленник лужайки посреди уснувшего парка.

Отдаленность измеряется не расстоянием. За оградой какого-нибудь сада порою скрывается больше тайн, чем за Китайской стеной, и молчание ограждает душу маленькой девочки надежнее, чем бескрайние пески Сахары ограждают одинокий оазис.

Расскажу об одной случайной стоянке в даль-

нем краю. Это было в Аргентине, близ Конкордии, но могло быть и где-нибудь еще: мир полон чудес.

Я приземлился посреди поля и вовсе не думал, что войду в сказку. Ни в мирной супружеской чете, меня подобравшей, ни в их стареньком «форде» не было ничего примечательного.

— Вы у нас переночуете...

И вот за поворотом в лунном свете показалась рощица, а за нею дом. Что за странный дом! Приземистая глыба, почти крепость. Но, едва переступив порог, я увидел, что это сказочный замок, приют столь же тихий, столь же мирный и надежный, как священная обитель.

Тотчас появились две девушки. Они испытующе оглядели меня, точно судьи, охраняющие запретное царство; младшая, чуть надув губы, постучала о пол свежесрезанной палочкой; нас представили друг другу, девушки молча и словно бы с вызовом подали мне руку — и скрылись.

Это было забавно и мило. Совсем просто, беззвучно и мимолетно мне шепнули, что начинается тайна.

— Да-да, они у нас дикарки, — только и сказал отец.

И мы вошли в дом.

Мне всегда была по душе дерзкая трава, что в столице Парагвая высовывает нос из каждой щелки мостовой — лазутчица, высланная незримым, но вечно бодрствующим девственным лесом, она проверяет, все ли еще город во власти людей, не пора ли растолкать эти камни. Мне всегда была по душе такая вот заброшенность, по которой узнаешь безмерное богатство. Но тут и я изумился.

Ибо все здесь обветшало и оттого было полно обаяния, точно старое замшелое дерево со стволом, потрескавшимся от времени, точно садовая скамья,

куда приходили посидеть многие поколения влюбленных. Панели на стенах покоробились, рамы окон и дверей изъел древоточец, стулья колченогие... Чинить здесь ничего не чинили, зато пеклись о чистоте. Все было вымыто, натерто, всё так и сверкало.

И от этого облик гостиной стал красноречив, как изрезанное морщинами лицо старухи. Щели в стенах, растрескавшийся потолок — все было великолепно, а лучше всего паркет: кое-где он провалился, кое-где дрожал под ногой, точно зыбкие мостки, но притом, навощенный, натертый, сиял как зеркало. Занятный дом, к нему нельзя было отнестись со снисходительной небрежностью, напротив — он внушал величайшее уважение. Уж конечно, каждый год вносил новую черточку в его сложный и странный облик, прибавлял ему очарования, тепла и дружелюбия, а кстати прибавлялось и опасностей, подстерегавших нас на пути из гостиной в столовую.

— Осторожно!

В полу зияла дыра. Провалиться в нее опасно, недолго и ноги переломать, заметили мне. Никто не виноват, что тут дыра, это уж время постаралось. Великолепно было это истинно аристократическое нежелание оправдываться. Мне не говорили: «Дыры можно бы и заделать, мы достаточно богаты, но...» Не говорили также, хоть это была чистая правда: «Город сдал нам этот дом на тридцать лет. Город и должен чинить. Посмотрим, чья возьмет...» До объяснений не снисходили, и эта непринужденность приводила меня в восторг. Разве что скажут мельком:

— Да-да, обветшало немножко...

Но говорилось это самым легким тоном, и я подозревал, что мои новые друзья не слишком огорчаются. Вообразите — в эти стены, столько повидав-

шие на своем веку, нагрянет со своими святотатственными орудиями артель каменщиков, плотников, краснодеревцев, штукатуров и за одну неделю изменит дом до неузнаваемости, и вот вы — как в гостях. Не останется ни тайн, ни укромных уголков, ни мрачных подвалов, ни одна западня не разверзнется под ногами, — не дом, а приемная в мэрии!

Не диво, что в этом доме две девушки скрылись мгновенно, как по волшебству. Если уж гостиная полна сюрпризов, словно чердак, то каковы же здесь чердаки! Сразу догадываешься, что сто́ит приотворить дверцу какого-нибудь шкафчика — и лавиной хлынут связки пожелтевших писем, прадедушкины счета, бесчисленные ключи, для которых во всем доме не хватит замков и которые, понятно, ни к одному замку не подойдут. Ключи восхитительно бесполезные, поневоле начинаешь думать да гадать, для чего они, и уже мерещатся подземелья, глубоко зарытые ларцы, клады старинных золотых монет.

— Не угодно ли пожаловать к столу?

Мы прошли в столовую. Переходя из комнаты в комнату, я вдыхал разлитый повсюду, точно ладан, запах старых книг, с которым не сравнятся никакие благовония. Но лучше всего было то, что и лампы переселялись вместе с нами. Это были тяжелые старинные лампы, их катили на высоких подставках из комнаты в комнату, как во времена самого раннего моего детства, и от них на стенах оживали причудливые тени. Расцветали букеты огня, окаймленные пальмовыми листьями теней. А потом лампы водворялись на место, и островки света застывали неподвижно, а вокруг стыли необъятные заповедники тьмы, и там потрескивало дерево.

Вновь появились обе девушки — так же таинственно, так же безмолвно, как прежде исчезли. И с

важностью сели за стол. Они, верно, успели накормить своих собак и птиц. Распахнув окна, полюбоваться лунной ночью, надышаться ветром, напоенным ароматами цветов и трав. А теперь, разворачивая салфетки, они краешком глаза втихомолку следили за мной и примеривались — стоит ли принять меня в число ручных зверей. Ведь они уже приручили игуану, мангусту, лису, обезьяну и пчел. И вся эта компания жила мирно и дружно, будто в новом земном раю. Девушки обращали всех живых тварей в своих подданных, завораживали их маленькими ловкими руками, кормили, поили, рассказывали им сказки — и все, от мангусты до пчел, их заслушивались.

И я ждал — вот сейчас эти две проказницы, беспощадным зорким взглядом насквозь пронизав сидящего напротив представителя другого пола, втайне вынесут ему приговор — скорый и окончательный. Так мои сестры, когда мы были детьми, выводили баллы впервые посетившим нас гостям. И когда застольная беседа на миг стихала, вдруг звонко раздавалось:

— Одиннадцать![1]

И всей прелестью этой цифры наслаждались только сестры да я.

Теперь, вспоминая эту игру, я внутренне поеживался. Особенно смущало меня, что судьи были столь многоопытные. Они ведь прекрасно отличали лукавых зверей от простодушных, по походке своей лисы понимали, хорошо она настроена или к ней нынче не подступишься, и ничуть не хуже разбирались в чужих мыслях и чувствах.

Я любовался этой зоркой, строгой и чистой

[1] В учебных заведеннях Францнн принята двадцатнбалльная снстема оценок.

юностью, но мне было бы куда приятнее, если бы они переменили игру. А пока, опасаясь получить «одиннадцать», я смиренно передавал соль, наливал вино, но, поднимая глаза, всякий раз видел на их лицах спокойную серьезность судей, которых подкупить нельзя.

Тут не помогла бы даже лесть: тщеславие им было чуждо. Тщеславие, но не гордость: они были о себе столь высокого мнения, что я ничего похожего не осмелился бы высказать им вслух. Не пытался я и покрасоваться перед ними в ореоле моего ремесла, ведь и это не для робких — забраться на вершину платана только для того, чтоб поглядеть, оперились ли птенцы, и дружески с ними поздороваться.

Пока я ел, мои молчаливые феи так неотступно следили за мной, так часто я ловил на себе их быстрые взгляды, что совсем потерял дар речи. Наступило молчание, и тут на полу что-то тихонько зашипело, прошуршало под столом и стихло. Я поглядел вопросительно. Тогда младшая, видимо удовлетворенная экзаменом, все же не преминула еще разок меня испытать; впиваясь в кусок хлеба крепкими зубами юной дикарки, она пояснила невинейшим тоном — конечно же, в надежде меня ошеломить, окажись я все-таки недостойным варваром:

— Это гадюки.

И умолкла очень довольная, явно полагая, что этого объяснения достаточно для всякого, если только он не круглый дурак. Старшая сестра метнула в меня быстрый, как молния, взгляд, оценивая мое первое движение; тотчас обе, как ни в чем не бывало, склонились над тарелками, и лица у них были уж такие кроткие, такие простодушные...

У меня поневоле вырвалось:

— Ах, вон что... гадюки...

Что-то скользнуло у меня по ногам, коснулось икр — и это, оказывается, гадюки...

На свое счастье, я улыбнулся. И притом от души — притворная улыбка их бы не провела. Но я улыбнулся потому, что мне было весело и этот дом с каждой минутой все больше мне нравился, и еще потому, что мне хотелось побольше узнать о гадюках. Старшая сестра пришла мне на помощь:

— Под столом в полу дыра, тут они и живут.

— И к десяти вечера возвращаются домой, — прибавила младшая. — А днем они охотятся.

Теперь уже я украдкой разглядывал девушек. Безмятежно спокойные лица, а где-то глубоко — живой лукавый ум, затаенная усмешка. И это великолепное сознание своей власти...

Я сегодня что-то замечтался. Все это так далеко. Что стало с моими двумя феями? Они уже, конечно, замужем. Но тогда, быть может, их и не узнать? Ведь это такой серьезный шаг — прощанье с девичеством, превращение в женщину. Как живется им в новом доме? Дружны ли они, как прежде, с буйными травами и со змеями? Они были причастны к жизни всего мира. Но настает день — и в юной девушке просыпается женщина. Она мечтает поставить наконец кому-нибудь «девятнадцать». Этот высший балл — точно груз на сердце. И тогда появляется какой-нибудь болван. И неизменно проницательный взор впервые обманывается — и видит болвана в самом розовом свете. Если болван прочтет стихи, его принимают за поэта. Верят, что ему по душе ветхий, дырявый паркет, верят, что он любит мангуст. Верят, что ему лестно доверие гадюки, прогуливающейся под столом у него по ногам. Отдают ему свое сердце — дикий сад, а ему по вкусу только подстриженные газоны. И болван уводит принцессу в рабство.

VI

В ПУСТЫНЕ

1

На воздушных дорогах Сахары мы и мечтать не смели о таких блаженных передышках: пленники песков, мы неделями, месяцами, годами перелетали от форта к форту и не часто попадали вновь на то же место. Здесь, в пустыне, таких оазисов не встретишь: сады, молодые девушки — это просто сказка! Да, конечно, когда-нибудь мы покончим с работой и возвратимся в далекий-далекий край, чтобы начать новую жизнь, и в том краю нас ждут тысячи девушек. Да, конечно, в том прекрасном далеке, среди своих книг и ручных мангуст, они терпеливо ждут, и все утонченней становятся их нежные души. И сами они становятся все краше...

Но я знаю, что такое одиночество. За три года в пустыне я изведал его вкус. И не то страшно, что среди песка и камня гаснет молодость, — но чудится, что там, вдалеке, стареет весь мир. На деревьях налились плоды, в полях всколосились хлеба, расцвела красота женщин. Но время уходит, надо бы скорее возвратиться... Но время уходит, а тебе все никак не вырваться домой... И лучшие земные дары ускользают меж пальцев, словно мелкий песок дюн.

Обычно люди не замечают, как бежит время. Жизнь кажется им тихой и медлительной. А вот мы и на недолгой стоянке ощущаем бег времени, нам по-прежнему бьют в лицо не знающие отдыха пассаты. Мы — как пассажир скорого поезда: оглушенный перестуком колес, он мчится сквозь ночь и по мимолетным вспышкам света угадывает за окном

поля, деревни, волшебные края, — но все неудержимо, все пропадает, ведь он уносится прочь. Так и нас, разгоряченных полетом, не успокаивала даже мирная стоянка, ветер свистал в ушах, и все чудилось, что мы еще в пути. И казалось, нас тоже, наперекор всем ветрам, уносят в неведомое будущее наши неутомимо стучащие сердца.

В пустыне и так было одиноко, а тут еще соседство непокорных племен. По ночам в Кап-Джуби каждую четверть часа, точно бой башенных часов, тишину разрывали громкие голоса: от поста к посту перекликались часовые. Так испанский форт Кап-Джуби, затерянный среди непокорных племен, защищался от таящихся во тьме опасностей. А мы, пассажиры этого слепого корабля, слушали, как перекликаются часовые — и голоса нарастают, кружат над нами, словно чайки.

И все же мы любили пустыню.

На первых порах вся она — только пустота и безмолвие, но это потому, что она не открывается первому встречному. Ведь и в наших краях любая деревушка таит свою жизнь от стороннего глаза. И если не оставить ради нее весь мир, не сжиться с ее исконными обычаями, нравами и распрями, никогда не поймешь, что́ она для тех, кому она — родина. Или вот рядом с нами человек затворился в своей обители и живет по неведомому нам уставу, — ведь он все равно что в пустынях Тибета, к нему не доберешься никаким самолетом. К чему входить в его келью? Она пуста. Царство человечье внутри нас. Так и пустыня — это не пески, не туареги, даже не мавры с ружьями в руках...

Но вот сегодня нас измучила жажда. И только сегодня мы делаем открытие: от колодца, о котором мы давно знали, все светится окрест. Так женщина,

не показываясь на глаза, преображает все в доме. Колодец ощущаешь издали, как любовь.

Сначала пески для нас просто пустыня, но вот однажды, опасаясь приближения врага, начинаешь читать по складкам ее покровов. Близость вражеского отряда тоже меняет облик песков.

Мы подчинились правилам игры, и она преображает нас. Теперь Сахара — это мы сами. Чтобы понять Сахару, мало побывать в оазисе, надо поверить в воду, как в бога.

2

Уже в первом полете я изведал вкус пустыни. Втроем — Ригель, Гийоме и я — мы потерпели аварию неподалеку от форта Нуатшот. Этот маленький военный пост в Мавритании тогда был совсем отрезан от жизни, словно островок, затерянный в океане. Там жил, точно узник, старый сержант с пятнадцатью сенегальцами. Он обрадовался нам несказанно.

— Это ведь не шутка — когда можешь поговорить с людьми... Это не шутка!

Да, мы видели, что это не шутка: он плакал.

— За полгода вы — первые. Припасы мне доставляют раз в полгода. То лейтенант приедет, то капитан. В последний раз приезжал капитан...

Мы еще не успели опомниться. В двух часах лету от Дакара, где нас уже ждут к завтраку, рассыпается подшипник, и это поворот судьбы. Вдруг предстаешь в роли небесного видения перед стариком сержантом, и он плачет от радости.

— Пейте, пейте, мне так приятно вас угостить! Вы только подумайте, в тот раз капитан приехал, а у меня не осталось для него ни капли вина!

Я уже рассказал об этом в одной своей книге, и я ничего не выдумал. Сержант так и сказал:

— В последний раз и чокнуться-то было нечем... Я чуть со стыда не сгорел, даже просил, чтобы меня сменили.

Чокнуться! Выпить на радостях с тем, кто в поту и в пыли соскочит с верблюда. Полгода человек жил ожиданием этой минуты. Уже за месяц начищал до блеска оружие, везде наводил порядок, все в форту до последнего закуточка сверкало чистотой. И уже за несколько дней, предвкушая счастливую минуту, он поднимался на террасу и упрямо всматривался в даль — быть может, там уже клубится пыль, окутывая приближающийся отряд...

Но вина не осталось, нечем отметить праздник. Нечем чокнуться. И некуда деваться от позора...

— Я так хочу, чтоб он поскорей вернулся. Так его жду...

— А где он, сержант?

Сержант кивает на пески:

— Кто знает? Наш капитан — он везде!

И настала ночь, мы провели ее на террасе форта, разговаривая о звездах. Больше смотреть было не на что. А звезды были видны все до единой, как в полете, только теперь они оставались на своих местах.

В полете, если ночь уж очень хороша, порой забудешься, не следишь за управлением, и самолет

понемногу начинает крениться влево. Думаешь, что он летит ровно, и вдруг под правым крылом появляется селение. А откуда в пустыне селение? Тогда, значит, это рыбачьи лодки вышли в море. Но откуда посреди безбрежных просторов Сахары взяться рыбачьим лодкам? Что же тогда? Тогда улыбаешься своей оплошности. Потихоньку выравниваешь самолет. И селение возвращается на место. Словно вновь приколол к небу сорвавшееся по недосмотру созвездие. Селение? Да. Селение звезд. Но отсюда, с высоты форта, видна лишь застывшая, словно морозом схваченная пустыня, песчаные волны недвижны. Созвездия все развешаны по местам. И сержант говорит:

— Вы не думайте, я уж знаю, что где... Держи прямо вон на ту звезду — и придешь в Тунис.

— А ты из Туниса?

— Нет. Там у меня сестренка троюродная.

Долгое, долгое молчание. Но сержант ничего не может от нас скрыть:

— Когда-нибудь возьму да и махну в Тунис.

Конечно, не просто пешком, держа вон на ту звезду. Разве что когда-нибудь в походе, у пересохшего колодца, им завладеет самозабвение бреда. Тогда все перепутается — звезда, троюродная сестренка, Тунис. Тогда начнется то вдохновенное странствие, в котором непосвященные видят одни лишь мучения.

— Один раз я попросил у капитана увольнительную — надо, мол, съездить в Тунис, проведать сестренку. А капитан и говорит...

— Что же?

— На свете, говорит, троюродных полным-полно. И послал меня в Дакар, потому что это не так далеко.

— И красивая у тебя сестренка?

— Которая в Тунисе? Еще бы! Беленькая такая.

— Нет, а другая, в Дакаре?

Мы тебя чуть не расцеловали, сержант, так печально и немножко обиженно ты ответил:

— Она была негритянка...

Что для тебя Сахара, сержант? Ежечасное ожидание божества. И сладостная память о белокурой девушке, оставшейся за песками, там, за тысячи километров.

А для нас? Для нас пустыня — то, что рождалось в нас самих. То, что мы узнавали о себе. В ту ночь и мы были влюблены в далекую девушку и в капитана...

3

Порт-Этьен, стоящий на рубеже непокоренных земель, городом не назовешь. Там только и есть что небольшой форт, ангар для наших самолетов и деревянный барак для команды. А вокруг уж такая мертвая пустыня, что слабо вооруженный, малолюдный Порт-Этьен становится неприступной твердыней. Чтобы напасть на него, надо одолеть под палящим солнцем море песка, и даже если неприятель сюда доберется, у него уже не останется ни сил, ни глотка воды. А между тем, сколько помнят люди, всегда откуда-нибудь с севера Порт-Этьену угрожает наступление воинственных племен. Всякий раз, придя к нам на чашку чая, капитан — комендант форта — показывает на карте, как приближается таинственный неприятель, и это словно сказка о прекрасной принцессе. Но неприятель исчезает, так

и не достигнув форта, пески всасывают его, точно реку, и мы зовем эти отряды привидениями. Гранаты и патроны, которые по вечерам раздает нам правительство, мирно спят в ящиках подле наших коек. Заброшенность — самая надежная наша защита, и воевать приходится лишь с одним врагом — с безмолвием пустыни. Люка́, начальник аэропорта, день и ночь заводит граммофон, и здесь, вдали от жизни, музыка говорит с нами на полузабытом языке, пробуждая смутную, неутолимую печаль, которая чем-то сродни жажде.

В тот вечер мы обедали в форту, и комендант с гордостью показал нам свой сад. Из Франции, за четыре тысячи километров, ему прислали три ящика самой настоящей земли. На ней уже развернулись три зеленых листика, и мы легонько поглаживаем их пальцем, точно драгоценность. Капитан называет их «мой парк». И едва задует ветер пустыни, иссушающий все своим дыханием, парк уносят в подвал.

Мы живем в километре от форта и после обеда возвращаемся к себе при свете луны. Под луной песок совсем розовый. Мы лишены очень многого, а все-таки песок розовый. Но раздается оклик часового, и мир снова становится тревожным и взволнованным. Это сама Сахара пугается наших теней и проверяет, кто идет, потому что откуда-то надвигается неприятель.

В оклике часового звучат все голоса пустыни. Пустыня перестала быть нежилым домом: караван — как магнит в ночи.

Казалось бы, мы в безопасности. Как бы не так! Что только нам не грозит — болезнь, катастрофа,

неприятель! Человек на нашей планете — мишень для подстерегающих в засаде стрелков. И сенегалец-часовой, словно пророк, напоминает нам об этом.

— Французы! — откликаемся мы и проходим мимо черного ангела. Мы дышим легко и вольно. Когда грозит опасность, вновь чувствуешь себя человеком... Да, конечно, она еще далека, еще приглушена и скрыта этими бескрайними песками, и, однако, весь мир уже не тот. Пустыня вновь предстает во всем своем великолепии. Вражеский отряд, что движется где-то и никогда сюда не дойдет, окружает ее ореолом величия.

Одиннадцать часов. Люка́ возвращается с радиостанции и говорит, что в полночь прибывает самолет из Дакара. На борту все в порядке. В ноль часов десять минут почту уже перегрузят в мою машину, и я полечу на север. Старательно бреюсь перед щербатым зеркальцем. Время от времени, с мохнатым полотенцем вокруг шеи, подхожу к двери и оглядываю уходящие вдаль пески; ночь ясная, но ветер стихает. Возвращаюсь к зеркалу. Раздумываю. Когда стихает ветер, что дул месяц за месяцем, в небесах нередко начинается кутерьма. Однако пора снаряжаться: аварийные фонарики привязаны к поясу, планшет и карандаш при мне. Иду к Нери, сегодня ночью он у меня радистом. Он тоже бреется. «Ну, как?» — спрашиваю. Пока все в порядке. Это вступление — самая несложная часть полета. Но тут я слышу — что-то потрескивает: о мой фонарик бьется стрекоза. И почему-то екнуло сердце.

Снова выхожу и смотрю — ночь ясна. Скала в стороне от форта вырезана в небе четко, как днем.

В пустыне глубокая, нерушимая тишина, словно в добропорядочном доме. Но вот о мой фонарик ударяются зеленая бабочка и две стрекозы. И опять во мне всколыхнулось неясное чувство, то ли радость, то ли опасение — еще смутное, едва уловимое, возникающее где-то глубоко внутри. Кто-то подает мне весть из неведомого далека. Быть может, это чутье? Опять выхожу — ветер совсем стих. Попрежнему прохладно. Но меня уже предостерегли. Догадываюсь — да, кажется, догадываюсь, чего я жду. Верна ли догадка? Ни небо, ни пески еще не подали знака, но со мной говорили две стрекозы и зеленая бабочка.

Поднимаюсь на песчаный бугор и сажусь лицом к востоку. Если я прав, *оно* не заставит себя ждать. Зачем бы залетели сюда эти стрекозы, чего ищут они за сотни километров от внутренних оазисов? Мелкие обломки, прибитые к берегу, — верный знак, что в открытом море ярится ураган. Так и эти насекомые подсказывают мне, что надвигается песчаная буря с востока, она вымела всех зеленых бабочек из далеких пальмовых рощ. На меня уже брызнула поднятая ею пена. И торжественно, ибо он тому порукой, торжественно, ибо в нем угроза, торжественно, ибо он несет бурю, поднимается восточный ветер. До меня едва долетает почти неуловимый вздох. Я — последняя граница, которой достигла ослабевшая волна.

Если бы за мною, в двадцати шагах, висела какая-нибудь ткань, она бы не колыхнулась. Один только раз ветер обжег меня словно бы предсмертной лаской. Но я знаю, еще несколько секунд — и Сахара переведет дух и снова вздохнет. Не пройдет и трех минут — заполощется указатель ветра на нашем ангаре. Не пройдет и десяти минут — все небо заволокут тучи песка. Сейчас мы ринем-

ся в это пекло, в огневую пляску беснующейся пустынн.

Но я взволнован другнм. Неистовая радость переполняет меня: я почуял опасность, как дикарь чутьем, по едва уловнмым прнметам, угадывает, что́ сулнт завтрашннй день; с полуслова я понял тайный язык пустынн, прочел ее нарастающую ярость в трепетных крылышках стрекозы.

4

В Сахаре мы сталкнвалнсь с непокорнымн племенами. Онн появлялнсь нз такнх глубин пустынн, куда нам не было доступа, мы только пролетали над ннмн; осмелев, мавры даже заезжалн в Джубн нлн Снснерос: купят сахарную голову лнбо чай н опять канут в неизвестность. Во время этнх наездов мы пыталнсь хоть кого-то нз ннх прнручнть.

Иногда, с разрешення авнакомпанин, мы бралн в воздух какого-ннбудь влиятельного вождя н показывалн ему мнр с борта самолета. Не мешало сбнть с ннх спесь — ведь онн убивалн пленных даже не столько нз ненавнстн к европейцам, сколько нз презрення. Повстречавшнсь с намн где-ннбудь в окрестностях форта, онн даже не давали себе труда браннться. Просто отворачнвались н сплевывали. А столь горды онн былн оттого, что мнили себя всемогущнми. Не однн такой владыка, выступая в поход с армней в трнста воннов, повторял мне: «Скажн спаснбо, что до твоей Францнн больше ста дней путн...»

Итак, мы каталн нх по воздуху, а тронм даже случнлось побывать в этой неведомой нм Францнн. Онн былн соплеменники тех, которые прнлетелн со

мной однажды в Сенегал и заплакали, увидав там деревья.

Потом я снова навестил их шатры и услыхал восторженные рассказы о мюзик-холлах, где танцуют среди цветов обнаженные женщины. Ведь эти люди никогда не видали ни дерева, ни фонтана, ни розы, только из Корана они знали о садах, где струятся ручьи, ибо по Корану это и есть рай. Этот рай и его прекрасные пленницы покупаются дорогой ценой: тридцать лет скорби и нищеты — и потом горькая смерть в песках от пули неверного. Но бог обманывает мавров — оказывается, французам он дарует сокровища рая, не требуя никакого выкупа — ни жажды, ни смерти. Вот почему старые вожди предаются теперь мечтам. Вот почему, обводя взглядом нагие пески Сахары, которые простираются вокруг шатра и до самой смерти сулят им одни лишь убогие радости, они позволяют себе высказать то, что наболело на душе:

— Знаешь... ваш французский бог... он куда милостивей к французам, чем бог мавров к маврам.

Месяцем раньше им устроили прогулку по Савойе. Провожатый привел их к водопаду — точно витая колонна, стоял водопад, оглушая тяжким грохотом.

— Отведайте-ка, — сказал им провожатый.

Это была настоящая пресная вода. Вода! Здесь, в пустыне, не один день добираешься до ближайшего колодца, и если посчастливится его найти, еще не один час роешься в засыпавшем его песке, пока утолишь жажду мутной жижей, которая отдает верблюжьей мочой. Вода! В Кан-Джуби, в Сиснеросе, в Порт-Этьене темнокожие ребятишки выпрашивают не монетку — с консервной банкой в руках они выпрашивают воду:

— Дай попить, дай...

— Дам, если будешь слушаться.

Вода дороже золота, малая капля воды высекает из песка зеленую искру — былинку. Если где-нибудь в Сахаре прольется дождь, вся она приходит в движение. Племена переселяются за триста километров — туда, где теперь вырастет трава... Вода — она дается так скупо, за десять лет в Порт-Этьене не упало ни капли дождя, — а тут с шумом выливаются понапрасну, как из пробитой цистерны, все воды мира.

— Нам пора, — говорил провожатый.

Но они словно окаменели.

— Не мешай...

И замолкали и серьезно, безмолвно созерцали это нескончаемое торжественное таинство. Здесь из чрева горы вырывалась жизнь, живая кровь, без которой нет человека. Столько ее изливалось за одну секунду — можно бы воскресить все караваны, что, опьянев от жажды, канули навеки в бездны солончаков и миражей. Перед ними предстал сам бог, и не могли они от него уйти. Бог разверз хляби, являя свое могущество, и три мавра застыли на месте.

— Неужели вы не насмотрелись? Пойдемте...

— Надо подождать.

— Чего ждать?

— Пока вода кончится.

Они хотели дождаться часа, когда бог устанет от собственного сумасбродства. Он скоро опомнится, он скупой.

— Да ведь эта вода течет уже тысячу лет!..

И в этот вечер о водопаде предпочитают не говорить. Об иных чудесах лучше хранить молчание. Лучше и думать-то о них поменьше, не то совсем запутаешься и начнешь сомневаться в боге...

— Ваш французский бог, понимаешь ли...

Но я-то их знаю, моих диких друзей. Вера их пошатнулась, они в смятении, сейчас они почти готовы покориться. Они мечтают, чтоб французское интендантство снабжало их ячменем, а наши сахарские войска охраняли их от врагов. Что и говорить, покорившись, они получат кое-какие вполне ощутимые выгоды.

Но эти трое одной крови с Эль-Мамуном, эмиром Трарзы (имя я, кажется, путаю).

Я знавал его в ту пору, когда он был нашим вассалом. Французское правительство высоко оценило его заслуги, его щедро одаряли губернаторы и чтили племена, вдоволь было видимых благ, казалось бы — чего еще желать? Но однажды ночью, совершенно неожиданно, он перебил офицеров, которых сопровождал в пустыне, захватил верблюдов, ружья — и вновь ушел к непокорным племенам.

Внезапный бунт, героическое и отчаянное бегство, которое разом обращает вождя в изгнанника, мятежная вспышка гордости, что скоро угаснет, точно ракета, ибо ей неминуемо преградит путь легкая кавалерия из Атара... это обычно называют изменой. И диву даются — откуда такое безумие?

А между тем судьба Эль-Мамуна — это судьба многих и многих арабов. Он старел. А со старостью приходит раздумье. И настал такой час, когда эмир понял, что, скрепив рукопожатием сделку с христианами, он все потерял, он загрязнил руки и изменил богу ислама.

И в самом деле, что́ ему ячмень и мирная жизнь? Он пал так низко, из воина стал пастухом, — а ведь когда-то Сахара была полна опасностей, за каждой песчаной грядой таилась угроза, и, раскинув на ночь лагерь, он никогда не забывал выста-

вить часовых, и по вечерам у костра при вести о передвижении врага сильней бились сердца воинов. Когда-то он знал вкус вольных просторов — а его, однажды изведав, уже не забыть.

И вот он бесславно бродит по этим покоренным, утратившим свое достоинство бескрайним пескам. Вот теперь Сахара для него поистине — пустыня.

Быть может, офицеры, которых он потом убил, даже внушали ему почтение. Но любовь к Аллаху превыше всего.

— Спокойной ночи, Эль-Мамун.

— Да хранит тебя бог.

Офицеры заворачиваются в одеяла, растягиваются на песке, точно на плоту, лица их обращены к небесам. Неторопливо движутся звезды, небо отмечает ход времени. Луна склоняется к пескам, уходя в небытие по воле Премудрого. Скоро христиане уснут. Еще несколько минут, и в небесах будут сиять одни только звезды. И тогда довольно будет слабого вскрика этих христиан, которым уже не суждено проснуться, — и униженные племена вновь обретут былое величие, и вновь начнется погоня за врагом, которая одна лишь наполняет светом безжизненные пески... Еще мгновенье — и свершится непоправимое, и с ним родится новый мир...

И забывшихся сном храбрых лейтенантов убивают.

5

Нынче я в Джуби, приглашен в гости к Кемалю и его брату Муйану и пью чай у них в шатре. Муйан, закутанный до глаз в синее покрывало, безмолвно разглядывает меня, — он хмур и непри-

ступен, как истинный дикарь. Кемаль один беседует со мной, он верен долгу хозяина:

— Мой шатер, мои верблюды, мои жены и рабы — все твое.

Глядя на меня в упор, Муйан наклоняется к брату, коротко говорит что-то и опять замыкается в молчании.

— Что он сказал?

— Сказал — Боннафу украл у Р'Гейбата тысячу верблюдов.

Капитан Боннафу командует отрядом мехаристов из легкой кавалерии Атара. Я с ним не встречался, но знаю, что среди мавров ходят о нем легенды. О нем говорят гневно, но видят в нем чуть ли не божество. Вся пустыня преображается оттого, что где-то существует капитан Боннафу. Вот только что он возник неведомо откуда в тылу непокорных племен, направлявшихся к югу, сотнями угоняет верблюдов — и, чтобы уберечь самое дорогое свое имущество от нежданной опасности, кочевники вынуждены повернуть и вступить с ним в бой. Так, явившись, точно посланец самого неба, он выручил Атар, затем стал лагерем на плоскогорье и красуется там — завидная добыча! Он манит все взоры, и, влекомые неодолимой силой, племена устремляются на его меч.

Муйан смотрит на меня еще суровей и опять что-то говорит.

— Что он сказал?

— Сказал — завтра мы пойдем на Боннафу. Триста ружей.

Я и без того кое о чем догадывался. Уже три дня водят верблюдов на водопой, о чем-то рассуждают, горячатся. Словно снаряжают в плаванье невидимый корабль. И ветер вольных просторов уже надувает паруса. По милости Боннафу каждый шаг

к югу овеян славой. И, право, не знаю, что́ ведет людей — ненависть или любовь.

Не всякому судьба посылает в дар такого отличного врага, такого лестно убить! Там, где он появится, кочевники снимают шатры, собирают верблюдов и бегут, не смея встретиться с ним лицом к лицу, — но те, что заслышат его издалека, теряют голову, словно влюбленные. Вырываются из мирных шатров, из женских объятий, из блаженного сна, вдруг поняв, что величайшее счастье на свете — два месяца пробираться на юг, изнемогать от усталости, терзаться жаждой, ждать, скорчившись под ударами песчаной бури, — и, наконец, на рассвете обрушиться врасплох на легкую кавалерию Атара и, если будет на то воля Аллаха, убить капитана Боннафу.

— Боннафу силен, — признается мне Кемаль.

Теперь я знаю их тайну. Как мерещится иному желанная женщина, равнодушно проходящая мимо, и он всю ночь ворочается с боку на бок, уязвленный, сжигаемый сном, в котором опять и опять она проходит мимо, — так не дают им покоя далекие шаги Боннафу. Обойдя выступившие против него отряды, этот христианин, одетый мавром, с двумя сотнями полудиких головорезов проник в непокоренный край, — а ведь здесь уже не властны французы. Здесь любой из его же людей может сбросить ярмо покорности и на каменном алтаре безнаказанно принести этого неверного в жертву своему богу; здесь их сдерживает одно лишь благоговение перед ним; его беззащитность — и та приводит их в трепет. И в эту ночь он чудится им в тревожных снах, опять и опять он равнодушно проходит мимо, и его шаги гулко отдаются в самом сердце пустыни.

Муйан все еще о чем-то размышляет, застыв

в глубине шатра, точно высеченный из синего гранита. Только сверкают глаза да серебряный кинжал — он больше не игрушка. Как переменился этот мавр с того часа, когда перешел в стан непокорных! Больше чем когда-либо он полон сознанием собственного достоинства и безмерно меня презирает, — ибо он пойдет войной на Боннафу, с рассветом он выступит в поход, движимый ненавистью, которая так похожа на любовь.

И опять он наклоняется к брату, что-то говорит вполголоса и смотрит на меня.

— Что он сказал?

— Сказал — если встретит тебя подальше от форта, застрелит.

— Почему?

— Он сказал — у тебя есть самолеты и радио, у тебя есть Боннафу, но у тебя нет истины.

Муйан недвижим, складки синего покрывала на нем точно каменные одежды статуи, он выносит мне приговор.

— Он говорит — ты ешь траву, как коза, и свинину, как свинья. Твои бесстыжие женщины не закрывают лицо, он сам видел. Он говорит — ты никогда не молишься. Он говорит — на что тебе твои самолеты, и радио, и твой Боннафу, раз у тебя нет истины?

Этот мавр великолепен, он защищает не свободу свою — в пустыне человек всегда свободен, — и не сокровища, видимые простым глазом, — в пустыне их нет, — он защищает свое внутреннее царство. Точно корсар в старину, Боннафу ведет свой отряд среди безмолвного океана песков, и вот лагерь Кап-Джуби преобразился, мирной стоянки беззаботных пастухов как не бывало. Словно бурей, смята она дыханием Боннафу, и вечером шатры теснее жмутся друг к другу. На юге царит безмолвие, от

него замирает сердце: это безмолвствует Боннафу! И Муйан, бывалый охотник, различает в порывах ветра шаги Боннафу.

Когда Боннафу возвратится во Францию, враги его не обрадуются, нет, они будут горько жалеть о нем, словно без него их родная пустыня лишится одного из своих магнитов и жизнь потускнеет. И они станут говорить мне:

— Почему он уезжает, твой Боннафу?

— Не знаю...

Долгие годы он играл с ними в опасную игру — ставкой была жизнь. Он принял их правила игры. Он засыпал, положив голову на их камни. Вечно он был в погоне и, как они, проводил свои ночи наедине с ветрами и звездами, словно в библейские времена. И вот он уезжает, — значит, игра не была для него превыше всего. Он небрежно бросает карты, предоставляя маврам играть одним. И они смущены — есть ли смысл в этой жизни, если она не забирает человека всего, без остатка? Но нет, им хочется верить в него.

— Твой Боннафу еще вернется.

— Не знаю.

Он вернется, думают мавры. Что ему теперь европейские игры? Ему быстро наскучит сражаться в бридж с офицерами, наскучат и повышение по службе, и женщины. Он затоскует по благородной жизни воина и возвратится туда, где от каждого шага сильней бьется сердце, словно идешь навстречу любви. Он воображал, будто его жизнь здесь была лишь случайным приключением, а там, во Франции, его ждет самое важное, но с отвращением он убедится, что нет на свете истинных богатств, кроме тех, которыми одаряла его пустыня, — здесь ему было дано великолепие песчаных просторов, и тишина, и ночи,

полные ветра и звезд. И если Боннафу вернется, в первую же ночь эта весть облетит непокорные племена. Мавры будут знать — он спит где-то посреди Сахары, окруженный двумя сотнями своих пиратов. И молча поведут на водопой верблюдов. Запасут побольше ячменя. Проверят ружья. Движимые своей ненавистью — или, быть может, любовью.

6

— Спрячь меня в самолете и отвези в Марракеш...

Каждый вечер невольник мавров в Кап-Джуби обращал ко мне эти слова, как молитву. И, совершив таким образом все, что мог, для спасения своей жизни, усаживался, скрестив ноги, и готовил мне чай. Теперь он спокоен за завтрашний день — ведь он вручил судьбу свою единственному лекарю, который может его исцелить, воззвал к единственному богу, который может его спасти. И теперь, склоняясь над чайником, он опять и опять перебирает в памяти бесхитростные картины прошлого — черную землю родного Марракеша, розовые дома, скромные радости, которых он лишился. Его не возмущает, что я молчу, что не спешу возвратить ему жизнь: я для него не такой же человек, как он сам, но некая сила, которую надо призвать к действию, своего рода попутный ветер, что поднимется однажды и переменит его судьбу.

А между тем я, простой пилот, лишь несколько месяцев как стал начальником аэропорта в Кап-Джуби; в моем распоряжении только и есть что барак, притулившийся к испанскому форту, а в бараке таз для мытья, кувшин солоноватой воды да короткая, не по росту койка, — и я не так обольщаюсь насчет своего могущества.

— Ну-ну, Барк, там видно будет...

Все невольиики зовутся Барками, так звали и его. Четыре года он провел в плену, но все еще не покорился: не может забыть, что был когда-то королем.

— Что ты делал в Марракеше, Барк?

В Марракеше, наверио, и по сей день живут его жена и трое детей, и он там заиимался отличным ремеслом:

— Я перегонял стада, и меня звали Мохамед!

Там его призывали каиды:

— Я хочу продать своих быков, Мохамед. Пригони их с гор.

Или:

— У меня тысяча баранов иа равнине, отведи их повыше, на пастбища.

И Барк, вооружась скипетром из оливы, правил великим переселением стад. Он один был в ответе за овечий народ, он умерял прыть самых бойких, потому что скоро должны были появиться на свет ягнята, и поторапливал ленивых, он шел вперед, и все они доверяли ему и повиновались. Он один зиал, какая земля обетованиая их ждет: богатый ученостью, овцам иедоступной, он одии читал дорогу по звездам и одии, ведо́мый своей мудростью, определял, когда пора отдохнуть и когда — утолить у колодца жажду. А по ночам он стоял среди спящих овец, омытый по колено волнами шерсти, и в сердце его была нежиость: растроганный слабостью и иеведением стольких живых тварей, Барк — лекарь, пророк и повелитель — молился о своем народе.

Однажды к нему приступили мавры:

— Пойдем с нами иа юг за скотом.

Шли долго, на четвертый деиь углубились в гор-

ное ущелье — тут уже начинались владения непокорных племен, — и тогда его просто-напросто схватили, дали ему кличку «Барк» и продали в рабство.

Знал я и других невольников. Каждый день я пил чай в шатре у какого-нибудь мавра. Сняв обувь, я растягивался на толстой кошме (единственная роскошь в обиходе кочевника, основа, на которой ненадолго возводит он свое жилище) и любовался плавной поступью дня. В пустыне всем существом ощущаешь, как идет время. Под жгучим солнцем держишь путь к вечеру, когда прохладный ветер освежит и омоет от пота усталое тело. Под жгучим солнцем дорога ведет животных и людей к этому великому водопою столь же неуклонно, как к смерти. Праздность — и та обретает смысл. И каждый день кажется прекрасным, подобно дороге, ведущей к морю.

Да, я знал невольников. Они входят в шатер, едва вождь извлечет жаровню, чайник и стаканы из ларца, где хранятся все его сокровища — замки без ключей, цветочные вазы без цветов, грошовые зеркальца, старое оружие и прочая дребедень, невесть как занесенная сюда, в пески, точно обломки кораблекрушения.

И вот невольник безмолвно накладывает в жаровню сухие ветки песчаной колючки, раздувает уголья, наливает воды в чайник, — со всем этим управилась бы и маленькая девочка, а у него под кожей играют мускулы, с какими впору бы выворотить из земли могучий кедр. Он тих и кроток. Он так занят, его дело — готовить чай, ходить за верблюдами, есть. Под жгучим солнцем он держит путь к вечеру, а под леденящими звездами ждет — скорей бы обжег новый день. Счастливы северные стра-

ны, там каждое время года творит свою легенду, летом утешая мечтою о снеге, зимою — о солнце; печальны тропики, там всегда одна и та же влажная духота; но счастлива и Сахара, где смена дня и ночи так просто переносит человека от надежды к надежде.

Порою, сидя на корточках у входа в шатер, чернокожий невольник с наслаждением вдыхает вечернюю свежесть. В отяжелевшем теле пленника уже не всколыхнутся воспоминания. Разве что смутно вспомнится час, когда его схватили, вспомнятся удары, крики, руки тех, кто повергиего в эту беспросветную тьму. С того часа он все безнадежней цепенеет в странном сне, он словно ослеп — ведь он больше не видит медленных рек Сенегала или белых городов Южного Марокко, он словно оглох — ведь он больше не слышит родных голосов. Он не то что несчастен, этот негр, но он калека. Заброшенный случаем в чуждый ему круговорот кочевой жизни, обреченный вечно скитаться в пустыне по ее причудливым орбитам, — что общего сохранил он со своим прошлым, с родным очагом, с женой и детьми? Они потеряны для него безвозвратно, все равно что умерли.

Кто долго жил всепоглощающей любовью, а потом ее утратил, иной раз устает от своего благородного одиночества. И, смиренно возвращаясь к жизни, находит счастье в самой заурядной привязанности. Ему сладко отречься от себя, покорно служить другим, слиться с мирным житейским обиходом. И раб с гордостью разжигает хозяйскую жаровню.

— На, бери, — говорит иной раз вождь пленнику.

В этот час хозяин благоволит к рабу, потому что тяжкий, изнурительный день позади, зной спа-

дает, и они бок о бок вступают в вечернюю прохладу. И пленнику разрешается взять стакан чая. И тот, исполненный благодарности, за стакан чая готов лобызать колени своего господина. Раба не водят в цепях. К чему они? Ведь он так предан! Он так мудро отрекся от царства, которое у него отняли, — теперь он всего лишь счастливый раб.

Но однажды его освободят. Когда он состарится настолько, что уже невыгодно будет кормить его и одевать, тогда ему дадут безграничную свободу. Три дня он будет ходить от шатра к шатру, с каждым днем теряя силы, тщетно упрашивая принять его в услужение, — а на исходе третьего дня все так же мудро и безропотно ляжет на песок. Я видел, как умирали в Джуби нагие рабы. Мавры не мучили их и не добивали, только спокойно смотрели на их долгую агонию, а ребятишки играли рядом с этим печальным обломком кораблекрушения и спозаранку бежали поглядеть, шевелится ли он еще, — но глядели просто из любопытства, они тоже не смеялись над старым слугой. Все это было в порядке вещей. Как будто ему сказали: «Ты хорошо поработал, ты вправе отдохнуть — ложись и спи». Так он лежал, простертый на песке, ощущая голод — всего лишь головокружение, — но вовсе не чувствуя несправедливости, а ведь только она и мучительна. Понемногу он сливался с землей. Земля принимала иссушенные солнцем останки. Тридцать лет работы давали право на сон и на землю.

Немало я видел таких обреченных; первый, который мне встретился, не проронил ни слова жалобы; впрочем, на кого ему было жаловаться? В нем угадывалась смутная покорность, с какою принимает гибель обессилевший горец, — зная, что ему уже не выбраться, он ложится в снег и предается снегу и снам. Меня потрясли даже не его мучения. В му-

чення я не верю. Но со смертью каждого человека умирает неведомый мир, и я спрашивал себя, какие образы в нем гаснут? Что там медленно тонет в забвении — плантации Сенегала? Снежно-белые города Южного Марокко? Быть может, в этом комке черной плоти меркнут лишь самые ничтожные заботы: приготовить бы чай, погнать стадо на водопой... быть может, засыпает душа раба, — а может быть, пробужденный нахлынувшими воспоминаниями, во всем своем величии умирает человек. И черепная коробка становилась для меня точно старый ларец. Не узнать, что за сокровища уцелели в нем, когда корабль пошел ко дну, — яркие шелка, празднично сверкающие картины, неведомые реликвии, такие ненужные, такие бесполезные здесь, в пустыне. Вот он, тяжелый, наглухо запертый ларец. И не узнать, какая частица нашего мира погибала в этом человеке в дни его последнего всеобъемлющего сна, что́ разрушилось в этом сознании и в этой плоти, которая понемногу возвращалась ночи и земле.

— Я перегонял стада, и меня звали Мохамед...

Из всех знакомых мне невольников чернокожий Барк был первый, кто не покорился. Да, мавры отняли у него свободу, в один день он лишился всего, чем владел на земле, и остался гол, как новорожденный младенец, — но это бы еще не беда. Ведь порой буря, посланная богом, за краткий час уничтожает жатву на полях. Однако мавры не только разорили его, они грозили уничтожить его человеческое «я». Но Барк не желал отречься от себя, — а ведь другие сдавались так легко, в них так покорно умирал простой погонщик скота, тот, кто круглый год в поте лица добывал свой хлеб!

Нет, Барк не свыкся с кабалой, как свыкаешься

с убогим счастьем, когда устанешь ждать настоящего. Он не признавал радостей раба, который счастлив милостями рабовладельца. Прежнего Мохамеда уже не было, но жилище его в сердце Барка оставалось не занятым. Печально это опустевшее жилище, но никто другой не должен в нем поселиться! Барк был точно поседелый сторож, что умирает от верности среди заросших травою аллей, среди тоскливой тишины.

Он не говорил: «Я — Мохамед бен Лаусин», он говорил: «Меня звали Мохамед», он мечтал о том дне, когда этот забытый Мохамед вновь оживет и самым воскресением своим изгонит того, кто был рабом. Случалось, в ночной тишине на него нахлынут воспоминания — живые, неизгладимые, как милая с детства песенка. Мавр-переводчик рассказывал нам: «Среди ночи он вдруг говорит про Марракеш, говорит, а сам плачет». Тому, кто одинок, не миновать таких приступов тоски. Внезапно в нем пробуждался тот, другой, — и здесь, в пустыне, где к Барку не подходила ни одна женщина, привычно потягивался, искал рядом жену. Здесь, где спокон веку не журчал ни один родник, у него в ушах звенела песнь родника. Барк закрывал глаза — и здесь, в пустыне, где дом людям заменяет грубая ткань шатра и они вечно скитаются, словно в погоне за ветром, ему чудилось, будто он живет в белом домике, над которым из ночи в ночь светит все та же звезда. Былая любовь и нежность вдруг оживала, неведомо почему, словно все дорогое сердцу вновь оказалось совсем близко и притягивало, как магнит, — и тогда Барк шел ко мне. Ему хотелось сказать, что он уже готов в путь, и готов любить, надо лишь возвратиться домой, чтобы всё и вся одарить любовью и нежностью. А для этого довольно мне только подать знак. И он улыбался и подска-

зывал мне хитрость, до которой я, конечно, просто еще не додумался:

— Завтра пойдет почта на Агадир... Ты спрячь меня в самолете...

Бедняга Барк!

Как могли мы помочь ему бежать? Мы ведь жили среди непокорных племен. За такой грабеж, за такое оскорбление мавры назавтра же отплатили бы жестокой резней. С помощью аэродромных механиков — Лоберга, Маршаля, Абграля — я пытался выкупить Барка, но маврам не часто попадаются европейцы, готовые купить раба. И они рады случаю:

— Давайте двадцать тысяч франков.

— Да ты что?!

— А вы поглядите, какие у него сильные руки...

Так проходили месяцы.

Наконец мавры сбавили цену, и с помощью друзей, которым я писал во Францию, мне удалось купить старика Барка.

Сговорились мы не сразу. Торговались целую неделю. Сидели кружком на песке — пятнадцать мавров и я — и торговались. Мне украдкой помогал приятель хозяина Барка, разбойник Зин Улд Раттари: он был также и мой приятель. И по моей подсказке советовал хозяину:

— Да продай ты старика, все равно ему недолго жить. Он хворый. Поначалу эту хворь не видать, но она уже внутри. А потом он как начнет пухнуть. Продай его французу, пока не поздно.

Другому головорезу, Рагги, я пообещал комиссионные, если он поможет мне заключить эту сделку, и Рагги искушал хозяина Барка:

— На эти деньги ты купишь верблюдов, и ружья, и пули. И пойдешь войной на французов. И добудешь в Атаре трех новых рабов, а то и четырех, молодых и здоровых. Отделайся ты от этого старика.

И мне его продали. Шесть дней кряду я держал его взаперти в нашем бараке: начни он разгуливать на свободе, пока не прилетит самолет, мавры опять схватили бы его и продали куда-нибудь подальше.

Но я освободил его из рабства. Была совершена торжественная церемония. Явились марабут, прежний хозяин Барка и здешний каид Ибрагим. Если бы эти три разбойника поймали Барка в двадцати шагах от форта, они с удовольствием отрезали бы ему голову, лишь бы подшутить надо мной, но тут они горячо с ним расцеловались и подписали официальный документ.

— Теперь ты нам сын.

По закону он стал сыном и мне.

И Барк перецеловал всех своих отцов.

До самого отъезда он торчал безвыходно в нашем бараке, но плен был ему не в тягость. По двадцать раз на день приходилось описывать предстоявшее ему несложное путешествие: самолет доставит его в Агадир, а там, прямо на аэродроме, ему вручат билет на автобус до Марракеша. Барк играл в свободного человека, совсем как ребенок играет в путешественника: возвращение к жизни, и автобус, и толпы народу, и города, которые он скоро увидит после стольких лет...

Ко мне пришел Лоберг. Они с Маршалем и Абгралем решили — не годится это, чтобы Барк, прилетев в Агадир, помирал с голоду. Вот для него тысяча франков — с этим он не пропадет, покуда не найдет работу.

И я подумал: старые дамы-благотворительницы раскошелятся на двадцать франков — и уверены, что «творят добро», и требуют благодарности. Авиамеханики Лоберг, Маршаль и Абграль, давая ты-

сячу, вовсе не чувствуют себя благодетелями и никаких изъявлений благодарности не ждут. Они не твердят о милосердии, как эти старые дамы, мечтающие купить себе вечное блаженство. Просто они помогают человеку вновь обрести человеческое достоинство. Ведь ясно же: едва хмельной от радости Барк попадет домой, его встретит верная подруга — нищета, и через каких-нибудь три месяца он будет выбиваться из сил где-нибудь на ремонте железной дороги, выворачивая старые шпалы. Жизнь его станет куда тяжелее, чем тут, в пустыне. Но он вправе быть самим собой и жить среди своих близких.

— Ну вот, Барк, старина, отправляйся и будь человеком.

Самолет вздрагивал, готовый к полету. Барк в последний раз оглядел затерянный в песках унылый форт Кап-Джуби. У самолета собрались сотни две мавров: всем любопытно, какое лицо становится у раба на пороге новой жизни. А случись вынужденная посадка, он опять попадет к ним в руки.

И мы, не без тревоги выпуская в свет нашего пятидесятилетнего новорожденного, машем ему на прощанье:

— Прощай, Барк!

— Нет.

— Как так «нет»?

— Я не Барк. Я Мохамед бен Лаусин.

Последние вести о нем доставил араб Абдалла, которого мы просили позаботиться о Барке в Агадире.

Автобус отходил только вечером, и весь день Барк мог делать что хотел. Он долго бродил по городку и все не говорил ни слова; наконец Абдалла

догадался, что его что-то тревожит, и сам забеспокоился:

— Что с тобой?

— Ничего...

Он растерялся от этой внезапной, безмерной свободы и еще не чувствовал, что воскрес. Да, конечно, ему радостно, но если не считать этой неясной радости, сегодня он — все тот же Барк, каким был вчера. А ведь отныне он — равный среди людей, теперь и ему принадлежит солнце, и он тоже вправе посидеть под сводами арабской кофейни. И он сел. Потребовал чаю для Абдаллы и для себя. Это был первый поступок господина, а не раба: у него есть власть, она должна бы его преобразить. Но слуга нимало не удивился и преспокойно налил им чаю. И не почувствовал, что, наливая чай, славит свободного человека.

— Пойдем куда-нибудь еще, — сказал Барк.

Они поднялись к Касбе, — квартал этот господствует над Агадиром.

Здесь их встретили маленькие берберские танцовщицы. Они были такие милые и кроткие, что Барк воспрянул духом, ему показалось — сами того не ведая, они приветствуют его возвращение к жизни. Они взяли его за руки и предложили чаю, но так же радушно приняли бы они и всякого другого. Барк поведал им о своем возрождении. Они ласково смеялись. Они видели, как он рад, и тоже радовались. Желая окончательно их поразить, он прибавил: «Я Мохамед бен Лаусин». Но это их ничуть не изумило. У каждого человека есть имя, и многие возвращаются из дальних краев...

Он опять потащил Абдаллу в город. Он бродил среди еврейских лавчонок, и глядел на море, и думал, что вот он волен идти куда хочет, он свободен... Но эта свобода показалась ему горька —

он затосковал по узам, которые вновь соединили бы его с миром.

Мимо шел ребенок. Барк погладил его по щеке. Ребенок улыбнулся. Это не был хозяйский сын, привычный к лести. Это был маленький заморыш, Барк подарил ему ласку — и малыш улыбался. Он-то и пробудил Барка к жизни, этот маленький заморыш, благодаря Барку он улыбнулся — и вот Барк почувствовал, что начинает что-то значить в этом мире. Что-то забрезжило впереди, и он ускорил шаг.

— Ты что ищешь? — спросил Абдалла.

— Ничего, — отвечал Барк.

Но, завернув за угол, он наткнулся на играющих ребятишек и остановился. Вот оно. Он молча поглядел на них. Отошел к еврейским лавчонкам и скоро вернулся с целой охапкой подарков. Абдалла возмутился:

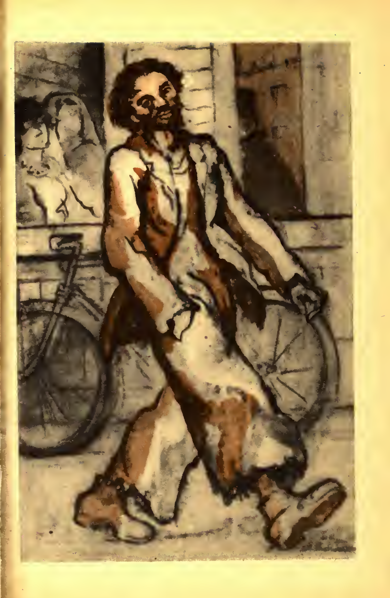
— Дурак, чего зря деньги тратишь!

Но Барк не слушал. Он торжественно, без слов, по одному подзывал к себе детей. И маленькие руки потянулись к игрушкам, к браслетам, к туфлям, расшитым золотом. И каждый малыш, крепко ухватив свое сокровище, убегал, как истинный дикарь.

Прослышав о такой щедрости, к Барку сбежалась вся агадирская детвора, и он всех обул в шитые золотом туфли. А слух о добром чернокожем боге долетел и до окрестностей Агадира, и оттуда тоже стекались дети, окружали Барка и, цепляясь за его истрепанную одежду, громко требовали своей доли. Это было разорение.

По мнению Абдаллы, Барк «с радости рехнулся». Но, по-моему, дело не в том, что Барк хотел поделиться избытком счастья.

Он был свободен, а значит, у него было самое главное, самое дорогое: право добиваться любви,



право идти куда вздумается и в поте лица добывать свой хлеб. Так на что ему эти деньги... они не утолят острое, жгучее, точно голод, желание быть человеком среди людей, ощутить свою связь с людьми. Агадирские танцовщицы были ласковы со стариком Барком, но он расстался с ними так же легко, как и встретился, он не почувствовал, что нужен им. Слуга в арабской кофейне, прохожие на улицах — все уважали в нем свободного человека, делили с ним место под солнцем, но никто в нем не нуждался. Он был свободен, да — слишком свободен, слишком легко он ходил по земле. Ему не хватало груза человеческих отношений, от которого тяжелеет поступь, не хватало слез, прощаний, упреков, радостей — всего, что человек лелеет или обрывает каждым своим движением, несчетных уз, что связуют каждого с другими людьми и придают ему весомость. А вот теперь на нем отяготели бесчисленные ребячьи надежды...

Так, в сиянии закатного солнца над Агадиром, в час вечерней прохлады, которая столько лет была для него единственной долгожданной лаской и единственным прибежищем, началось царствование Барка. Близился час отъезда — и он шел, омытый приливом детворы, как омывало его когда-то прихлынувшее к ногам стадо, и проводил во вновь обретенном мире свою первую борозду. Завтра он возвратится под свой убогий кров и окажется за всех в ответе, и, может быть, его старым рукам не под силу будет всех прокормить, но уже сейчас он ощутил вес и значение свое на земле. Словно легкокрылый архангел, которому, чтобы жить среди людей, пришлось бы сплутовать — зашить в пояс кусок свинца, — шел Барк тяжелой поступью, притягиваемый к земле сотнями детей, которым непременно нужны шитые золотом туфли.

7

Такова пустыня. Коран (а это всего лишь правила игры) обращает ее пески в особый, неповторимый мир. Не будь этих правил, Сахара была бы пуста, меж тем в недрах ее незримо разыгрывается драма, бурлят людские страсти. Подлинная жизнь пустыни не в том, что племена кочуют в поисках нового пастбища, но в этой нескончаемой игре. Как не схожи пески покоренные и непокоренные! И разве не всюду так у людей? Перед лицом преображенной пустыни я вспоминаю игры моего детства, сумрачный и золотящийся парк, который мы населяли божествами, необъятное королевство, созданное нами на этом клочке земли, — весь-то он был с квадратный километр, но для нас в нем всегда оставались неведомые уголки, неоткрытые чудеса. У нас был свой мир, со своими устоями, здесь по-особенному звучали шаги и во всем был свой особый смысл, в иных краях никому не доступный. Но вот становишься взрослым, живешь по иным законам — и что остается от парка, полного теней детства — колдовских, ледяных, обжигающих? Вот ты вернулся к невысокой ограде, сложенной из серого камня, и почти с отчаянием обходишь ее кругом: как странно, что они так малы и тесны — владения, которым когда-то не было ни конца, ни края... и как горько, что в этот бескрайний мир уже нет возврата, — ведь возвратиться надо было бы не в парк, но в игру.

И непокоренной пустыни уже нет. Кап-Джуби и Сиснерос, Пуэрто-Кансадо, ла Сагуэт-эль-Хамра, Дора и Смарра утратили таинственность. Горизонты, манившие нас, угасли один за другим, как тускнеют в плену теплых ладоней светлячок или яркая бабочка. Но тому, кто за ними гнался, их яр-

кие краски не померещились. Не обманывались и мы, когда нас манили неразгаданные тайны. Ведь не обманывался и султан из «Тысячи и одной ночи» в своей погоне за чем-то бесконечно хрупким и неуловимым, — но прекрасные пленницы угасали с рассветом в его объятиях; стоило коснуться их крыльев, и они теряли золотую пыльцу. Мы впивали чары пустыни. А другие, может быть, выроют в ее песках нефтяные скважины и разбогатеют, торгуя ее соками. Но они опоздали. Ибо недоступные пальмовые рощи и нетронутая пыль ракушек отдали нам то, что было в них всего драгоценнее: они дарили один только час восторга — и этот час достался нам.

Пустыня? Однажды мне случилось заглянуть в ее сердце. В 1935 году я летел в Индокитай, а очутился в Египте, у рубежей Ливии, я увяз там в песках, как в смоле, и ждал смерти. Вот как это было.

VII

В СЕРДЦЕ ПУСТЫНИ

1

На подступах к Средиземному морю я встретил низкую облачность. Спустился до двадцати метров. Дождь хлещет в ветровое стекло, море словно дымится. Как ни напрягаю зрение, ничего в этой каше не видно, того и гляди напорешься на какую-нибудь мачту.

Мой механик Андре Прево зажигает для меня сигареты.

— Кофе...

Он скрывается в хвосте самолета и приносит термос. Пью. Опять и опять подталкиваю рукоятку га-

за, держусь на двух тысячах ста оборотах. Обвожу взглядом приборы — мои подданные послушны, все стрелки на своих местах. Взглядываю на море — в дождь от него поднимается пар, точно от огромного таза с горячей водой. Будь у меня сейчас гидроплан, я пожалел бы, что море так «изрыто». Но я лечу на обыкновенном самолете. Изрытое море, не изрытое, все равно не сядешь. И от этого, непонятно почему, у меня возникает нелепейшее ощущение, что я в безопасности. Море принадлежит миру, мне чужому. Вынужденная посадка здесь — это не по моей части, это меня даже не страшит — для моря я не предназначен.

Лечу уже полтора часа, дождь стихает. Тучи все еще стелются низко, но в них неудержимой улыбкой уже сквозит свет. Великолепны эти неторопливые приготовления к ясной погоде. Наверно, слой белой ваты у меня над головой стал совсем тонкий. Уклоняюсь в сторону, обходя дождь, — уже незачем идти напролом. И вот первая прогалина в небе...

Я и не глядя угадал ее, потому что впереди на воде словно лужайка зазеленела, словно возник щедрый и яркий оазис — совсем как ячменные поля Южного Марокко, при виде которых у меня так щемило сердце, когда я возвращался из Сенегала, пролетев три тысячи миль над песками. Вот и сейчас у меня такое чувство, словно я вступаю в обжитые края, и становится веселей на душе. Оборачиваюсь к Прево:

— Ну, теперь живем!

— Живем... — откликается он.

Тунис. Самолет заправляют горючим, а я покуда подписываю бумаги. Выхожу из конторы — и тут раздается негромкий шлепок, словно что-то плюх-

нулось в воду. Глухой короткий всплеск, и все замерло. А ведь однажды я уже слышал такое — что это было? Да, взрыв в гараже. Тогда от этого хриплого кашля погибли два человека. Оборачиваюсь — над дорогой, идущей вдоль летного поля, поднялось облачко пыли, два автомобиля столкнулись на большой скорости и застыли, будто в лед вмерзли. К ним бегут люди, бегут и сюда, к конторе.

— Телефон... доктора... голова...

У меня сжимается сердце. Вечер так безмятежно ясен, а кого-то сразил рок. Погублена красота, разум, быть может — жизнь... Так в пустыне крадутся разбойники, ступая по песку неслышным шагом хищника, и застигают тебя врасплох. Отшумел вражеский набег. И опять все утопает в золотой предвечерней тишине. Опять вокруг такой покой, такая тишь... А рядом кто-то говорит — проломлен череп. Нет, не хочу ничего знать про этот помертвелый, залитый кровью лоб. Ухожу к своему самолету. Но ощущение нависшей угрозы не оставляет меня. И скоро я вновь услышу знакомый звук. Когда на скорости двести семьдесят километров я врежусь в черное плоскогорье, я услышу знакомый хриплый кашель, грозное «ха!» подстерегавшей нас судьбы.

В путь, на Бенгази.

2

В путь.

Стемнеет только через два часа. Но уже перед Триполитанией я снял черные очки. И песок стал золотой. До чего же пустынна наша планета! Быть может, и вправду реки, тенистые рощи и леса, людские селенья — все рождено лишь совпадением сча-

стливых случайностей. Ведь наша Земля — это прежде всего скалы и пески!

Но сейчас все это мне чужое, у меня своя стихия — полет. Надвигается ночь, и становишься в ней затворником, точно в стенах монастыря. Затворником, погруженным в тайны неизбежных обрядов, в сомнения, которых никто не разрешит. Все земное понемногу блекнет и скоро исчезнет без следа. Расстилающийся внизу ландшафт еще слабо озарен последними отсветами заката, но уже расплывчат и неясен. Ничто, ничто не сравнится с этим часом. Кто изведал непостижимое, страстное самозабвение полета, меня поймет.

Итак, прощай, солнце. Прощайте, золотящиеся просторы, где я нашел бы прибежище, случись какая-нибудь поломка... Прощайте, ориентиры, которые не дали бы мне сбиться с пути. Прощайте, темные очертания гор на светлом небе, что помогли бы мне не наскочить на риф. Я вступаю в ночь. Иду вслепую, по приборам. У меня остается лишь один союзник — звезды...

Мир там, внизу, умирает медленно. Мне все ощутимей не хватает света. Все труднее различить, где земля, а где небо. Земля словно вспухает, расплывается вширь клубами пара. Будто затонув в зеленой воде, трепетно мерцают первые светила небесные. Еще не скоро они засверкают острым алмазным блеском. Еще не скоро увижу я безмолвные игры падучих звезд. В иные ночи эти огненные искры проносятся стайками, словно гонимые ветром, бушующим среди созвездий.

Прево зажигает на пробу основные и запасные лампочки. Обертываем их красной бумагой.

— Еще раз...

Он прибавляет новый слой, щелкает выключателем. Но свет еще слишком яркий. Словно на засве-

ченной фотографии, от него лишь померкнут и без того еле уловимые очертания внешнего мира. Пропадет тончайшая мерцающая пленка, которая порой и в темноте обволакивает все предметы. Вот и ночь настала. Но настоящая ночная жизнь еще не началась. Еще не скрылся серп ущербной луны. Прево уходит в хвост самолета и приносит сандвич. Ощипываю кисть винограда. Есть не хочется. Ни есть, ни пить. И я ничуть не устал, кажется, могу хоть десять лет так лететь.

Луны больше нет.

В непроглядной ночи подает о себе весть Бенгази. Он тонет в кромешной тьме, нигде ни проблеска. Не замечаю города, пока не оказываюсь прямо над ним. Ищу посадочную площадку — и вот вспыхивают красные огни по краям. Четко вырисовывается черный прямоугольник. Разворачиваюсь. Точно огненный столб пожара, взметнулся в небо луч прожектора, описал дугу и проложил по аэродрому золотую дорожку. Опять разворачиваюсь, примечаю возможные препятствия. Этот аэродром отлично приспособлен для ночной посадки. Сбавляю газ и планирую, словно погружаюсь в черную воду.

Приземляюсь в двадцать три часа по местному времени. Подруливаю к прожектору. Хлопочут необыкновенно учтивые офицеры и солдаты, то возникая в слепящем луче, то исчезая во тьме, где уже ничего не различишь. Смотрят мои документы, заправляют самолет горючим. За двадцать минут все готово к отлету

— Сделайте над нами круг, дайте знать, что у вас все благополучно.

В путь.

Выруливаю на золотую дорожку, впереди никаких препятствий. Моя машина — «самум», — несмотря на груз, легко отрывается от земли, не добежав до конца площадки. Прожектор все еще светит вдогонку и мешает мне при развороте. Наконец луч уводят в сторону — догадались, что меня слепит. Делаю разворот с набором высоты, в лицо вдруг снова бьет прожектор, но тотчас, отпрянув, длинным золотым жезлом указывает куда-то в сторону. Да, здесь на земле все необыкновенно внимательны и учтивы. Снова разворачиваюсь, беру курс на пустыню.

Синоптики Парижа, Туниса и Бенгази пообещали мне попутный ветер скоростью тридцать—сорок километров в час. Тогда, пожалуй, можно будет делать все триста. Беру курс правее, на середину прямой, соединяющей Александрию с Каиром. Это поможет мне миновать запретные береговые зоны, и даже если я уклонюсь в сторону, то непременно справа ли, слева ли поймаю огни одного из городов или хотя бы долины Нила. Если ветер не переменится, долечу за три часа двадцать минут. Если спадет — за три сорок пять. Начинаю одолевать тысячу с лишним километров пустыни.

Луны нет и в помине. Все до самых звезд залито черной смолой. И впереди не будет ни огонька, ни единый ориентир не придет мне на помощь, до самого Нила я отрезан от людей, потому что и радио на борту нет. Я и не ищу нигде признаков жизни, смотрю только на компас да на авиагоризонт Сперри. Слежу только за лениво подрагивающей светящейся черточкой на темном диске. Когда Прево переходит с места на место, сверяюсь с прибором и осторожно выравниваю машину. Лечу на высоте две тысячи метров, мне предсказывали, что здесь ветер будет самый благоприятный. Изредка

зажигаю лампочку, проверяя работу мотора, — не все приборы у меня светящиеся; а потом опять остаюсь в темноте, среди моих крохотных созвездий, что льют такой же неживой, такой же неиссякаемый и загадочный свет, как настоящие звезды, и говорят тем же языком. И я, подобно астрономам, читаю книгу небесной механики. Я тоже исполнен усердия и чужд всего земного. А вокруг все словно вымерло. Прево держался долго, но и он засыпает, и теперь я полнее ощущаю одиночество. Только мягко рокочет мотор, да с приборной доски смотрят мне в лицо мои спокойные звезды.

А я призадумываюсь. Луна сегодня нам не союзница, радио у нас нет. Ни одна самая тоненькая ниточка не свяжет нас больше с миром, пока мы не упремся в окаймленный огнями Нил. Мы в пустоте, и только мотор держит нас на весу и не дает сгинуть в этой смоле. Как в сказке, мы пересекаем мертвую долину, черную долину испытаний. Здесь никто не поможет. Здесь нет прощенья ошибкам. Что с нами будет, одному богу известно.

Из-за приборной доски сквозит лучик света. Бужу Прево — это надо убрать. Прево медведем ворочается в темноте, отфыркивается, вылезает из своего угла. Мастерит какое-то хитроумное сооружение из носовых платков и черной бумаги. Вот уже и нет луча. Он ворвался к нам, словно из другого мира. Он был неуместен среди отрешенного фосфорического свечения приборов. Это был не звездный свет, а свет ночного кабачка. Но главное, он сбивал меня с толку, затмевая мерцание приборов.

Мы летим уже три часа. И вдруг справа вспыхивает какое-то странное, словно живое сияние. Смотрю направо. За сигнальным огнем на конце крыла, который прежде не был мне виден, тянется светящийся след. Неверный свет то разгорается, то

меркнет — вот оно что, я вхожу в облачность. Она отражает сигнальный огонь. Так близко от моих ориентиров я предпочел бы ясное небо. Озаренное этим сиянием, засветилось крыло. Свет уже не пульсирует, он стал ярче, от него брызнули лучи, на конце крыла расцвел розовый букет. Меня сильно встряхивает — начинается болтанка. Я вошел в толщу облаков и не знаю, высоко ли они громоздятся. Поднимаюсь на высоту две пятьсот — вокруг все то же. Спускаюсь до тысячи метров. Огненный букет словно прирос к крылу и только разгорелся еще ярче. Ладно. Как-нибудь. Ничего не поделаешь. Будем думать о другом. Там видно будет. А все-таки не по душе мне это освещение — кабак, да и только.

Прикидываю: сейчас приходится поплясать, это в порядке вещей, но ведь меня понемногу болтало всю дорогу, хоть высота была большая и небо чистое. Ветер ничуть не ослабел, стало быть, скорость наверняка превышала триста километров в час. Короче говоря, ничего я толком не знаю, попробую определиться, когда выйду из облаков.

И вот выхожу. Огненного букета как не бывало. По его неожиданному исчезновению я и узнаю, что облака остались позади. Всматриваюсь — передо мною, насколько можно разобрать, неширокий просвет, а дальше снова на пути стеной встают облака. И снова ожил букет на крыле.

Вынырнув на мгновенье, опять увязаю в черной смоле. Это уже тревожно, ведь если я не ошибся в расчетах, до Нила рукой подать. Может быть, посчастливится заметить его в просвете среди туч, но просветы так редки. А снижаться боязно: если скорость была меньше, чем я думал, подо мною все еще плоскогорья.

Я пока не тревожусь всерьез, боюсь только потерять время. Но я знаю, когда настанет конец

моему спокойствию — через четыре часа и пятнадцать минут полета. Когда минет этот срок, станет ясно, что даже при полном безветрии (а ветер, конечно, был) долина Нила не могла не остаться позади.

Достигаю бахромы облаков, огненный букет на крыле вспыхивает чаще, чаще — и вдруг пропадает. Не по душе мне эти шифрованные переговоры с демонами ночи..

Впереди загорается зеленая звезда, яркая, как маяк. Так что же это, звезда или маяк? Не по душе мне и эта сверхъестественная лучезарность, эта звезда волхвов, этот опасный призыв.

Проснулся Прево, зажигает лампочку, проверяя обороты мотора. Гоню его, не нужен он мне со своей лампой. Я выскочил в просвет между облаками и спешу посмотреть, что́ там, внизу. Прево опять засыпает.

Ничего там не высмотришь.

Мы летим четыре часа пять минут. Подошел Прево, сел рядом.

— Пора бы уже прибыть в Каир...

— Да, не худо бы...

— А там что, звезда или маяк?

Я немного убрал газ, конечно, от этого и проснулся Прево. Он всегда очень чуток ко всякой перемене в шуме мотора. Начинаю медленно снижаться, надеюсь выскользнуть из-под облаков.

Только что я сверился с картой. При любых условиях плоскогорья уже позади, подо мною ничто не должно возвышаться над уровнем моря, я ничем не рискую. Продолжая снижаться, поворачиваю на север. Так я непременно увижу огни. Города я наверняка уже миновал, значит, огни появятся слева. Теперь я лечу под скоплением облаков. Но слева одно опустилось еще ниже, надо его обойти. Чтобы

не заплутаться в нем, сворачиваю на северо-северо-восток.

Нет, это облако опускается все ниже, заслоняя горизонт. А мне дальше снижаться опасно. Высотомер показывает 400, но кто знает, какое здесь давление у земли. Прево наклоняется ко мне. Кричу ему:

— Уйду к морю, там буду снижаться, а то как бы на что-нибудь не наскочить!

Впрочем, ничего не известно, может быть, я уже лечу над морем. Тьма под этой тучей поистине кромешная. Прилипаю к стеклу. Разглядеть бы хоть что-нибудь внизу. Хоть бы огонек мелькнул, хоть какая-нибудь веха. Я словно роюсь в золе. В недрах погасшего очага пытаюсь отыскать искорку жизни.

— Морской маяк!

Мы вместе заметили эту подмигивающую западню. Безумие! Где он, этот маяк-привидение, эта ночная небылица? Мы с Прево приникли к стеклам, отыскивая этот призрак, только что мелькнувший в трехстах метрах под нами, и вот тут-то...

— А!

Кажется, только это у меня и вырвалось. Кажется, я только и ощутил, как наш мир содрогнулся и затрещал, готовый разбиться вдребезги. На скорости двести семьдесят километров в час мы врезались в землю.

Потом сотую долю секунды я ждал: вот огромной багровой звездой полыхнет взрыв, и мы оба исчезнем. Ни Прево, ни я ничуть не волновались. Я только и уловил в себе это напряженное ожидание: вот сейчас вспыхнет ослепительная звезда — и конец. Но ее все не было. Что-то вроде землетрясения разгромило кабину, выбило стекла, на сто метров вокруг разметало куски обшивки, рев и грохот

отдавался внутри, во всем теле. Самолет содрогался, как нож, смаху вонзившийся в дерево. Нас яростно трясло и колотило. Секунда, другая... Самолет все дрожал, и я с каким-то диким нетерпением ждал — вот сейчас нерастраченная мощь взорвет его, как гранату. Но подземные толчки длились, а извержения все не было. Что же означают эти скрытые от глаз усилия? Эта дрожь, эта ярость, эта непонятная медлительность? Пять секунд... шесть... И вдруг нас завертело, новый удар вышвырнул в окна кабины наши сигареты, раздробил правое крыло — и все смолкло. Все оцепенело и застыло. Я крикнул Прево:

— Прыгайте! Скорей!

В ту же секунду крикнул и он:

— Сгорим!

Через вырванные с мясом окна мы вывалились наружу. И вот уже стоим в двадцати метрах от самолета. Спрашиваю Прево:

— Целы?

— Цел! — отвечает он и потирает колено.

— Пощупайте себя, — говорю. — Двигайтесь. У вас ничего не сломано? Честное слово?

А он отвечает:

— Пустяки, это запасной насос...

Мне почудилось — его раскроило надвое, как ударом меча, и сейчас он рухнет наземь, но он смотрел остановившимися глазами и все твердил:

— Это запасной насос...

Мне почудилось — он сошел с ума, сейчас пустится в пляс...

Но он отвел наконец глаза от самолета, который так и не загорелся, посмотрел на меня и повторил:

— Пустяки, запасной насос стукнул меня по коленке.

3

Непостижимо, как мы уцелелн. Зажнгаю фонарнк, разглядываю следы на земле. Уже за двестн пятьдесят метров от того места, где самолет остановнлся, мы находнм искореженные обломкн металла н сорванные лнсты обшнвкн, онн раскнданы вдоль всего путн машнны по песку. При свете дня мы увиднм, что почти по касательной наскочнлн на пологнй склон пустынного плоскогорья. . В точке столкновення песок словно лемехом плуга вспорот. Самолет чудом не перевернулся, он полз на брюхе, колотя хвостом по песку, словно разъяренный ящер. Полз на скоростн двестн семьдесят в час. Жнзнь нам спасли круглые черные камнн, что свободно катятся по песку, — мы сьехали, как на катках.

Опасаясь короткого замыкання — как бы все-таки не случился пожар, — Прево отключает аккумуляторы. Прнслоняюсь к мотору н прнкндываю: мы летелн четыре часа с четвертью, н, пожалуй, скорость ветра в самом деле достнгала пятидесятн кнлометров в час, ведь нас порядком болтало. Но, может быть, он дул не так, как нам предсказывалн, а менялся — и кто знает, в каком направленни? Значнт, определнть, где мы находнмся, можно с точностью километров в четыреста...

Ко мне подсажнвается Прево.

— И как это мы осталнсь жнвы...

Не отвечаю и что-то совсем не радуюсь. Одна догадка шевельнулась в мозгу н не дает покоя.

Прошу Прево засветить свой фонарь, чтоб он служнл мне маяком, а сам с фонарем в руке отхожу. Иду все прямо, внимательно смотрю под ногн. Медленно описываю шнрокнй полукруг, опять и опять меняю направленне. И все время всматри-

ваюсь в песок под ногами, будто ищу потерянный перстень. Совсем недавно я вот так же искал на земле хоть одну живую искорку. Все хожу и хожу в темноте, догоняя кружок света, отбрасываемый фонарем. Так и есть... так и есть... Медленно возвращаюсь к самолету. Сажусь возле кабины и соображаю. Я искал — есть ли надежда — и не нашел. Ждал, что жизнь подаст мне знак — и не дождался.

— Прево, я не видал ни единой травинки...

Прево молчит, не знаю, понял ли он. Мы еще потолкуем об этом, когда поднимется занавес, когда настанет день. Ничего не чувствую, одну лишь безмерную усталость. Оказаться посреди пустыни, когда ориентируешься с точностью до четырехсот километров...

И вдруг вскакиваю на ноги:

— Вода!

Баки разбиты, бензин и масло вытекли. Вода тоже. И все уже всосал песок. Находим продырявленный термос, в нем уцелело пол-литра кофе, на дне другого — четверть литра белого вина. Процеживаем то и другое и смешиваем. Еще нашлось немного винограда и один-единственный апельсин. И я прикидываю: в пустыне под палящим солнцем этого едва хватит на пять часов ходу...

Забираемся в кабину, будем ждать утра. Ложусь, надо спать. Засыпая, пробую оценить положение. Где мы — неизвестно. Питья — меньше литра. Если мы не очень уклонились в сторону от трассы, нас найдут в лучшем случае через неделю, и это уже поздно. А если нас занесло далеко в сторону, то найдут через полгода. На авиацию рассчитывать нечего: нас будут разыскивать на пространстве в сотни тысяч квадратных километров.

— Экая досада, — говорит Прево.

— Что такое?

— Уж лучше бы разом конец!..

Нет, нельзя та́к сразу сдаваться. Мы с Прево берем себя в руки. Нельзя упускать надежду, пусть тень надежды — быть может, совершится чудо и спасение все-таки придет с воздуха. И нельзя сидеть на месте — вдруг где-то рядом оазис? Значит, весь день будем ходить и искать. А вечером вернемся к самолету. А перед уходом как можно крупнее напишем на песке, что́ собираемся делать.

Сворачиваюсь клубком и засыпаю до рассвета. Какое счастье уснуть! Усталость населяет ночь видениями. Посреди пустыни я не одинок, в полусне оживают голоса, воспоминания, кто-то шепчет мне заветные слова. Меня еще не донимает жажда, мне хорошо, я вверяюсь сну, как приключению. И действительность отступает...

Да, наутро все стало по-другому!

4

Я очень любил Сахару. Немало ночей провел в краю непокорных племен. Не раз просыпался среди необозримых золотистых песков, на которых от ветра зыбь, как на море. И засыпал под крылом самолета и ждал помощи, — но то было совсем, совсем иначе.

Мы взбираемся по склонам горбатых холмов. Песок покрыт тонким слоем блестящих черных камешков, обточенных, словно галька. Похоже на металлическую чешую, купола холмов сверкают, как кольчуга. Мы очутились в царстве минералов. Все вокруг заковано в броню.

Одолеешь перевал, а там встает еще холм, такой же черный, блестящий. Идем, волоча ноги по

песку, чтоб оставался след — путеводная нить, которая потом приведет нас обратно к самолету. Держим путь по солнцу. Я решил двинуться прямо на восток, наперекор всякой логике, ведь и указания синоптиков и время, проведенное в полете, — все говорит за то, что Нил остался позади. Но я двинулся было сперва на запад — и не мог совладать с непонятной тревогой. Нет, на запад пойдем завтра. И от севера пока откажемся, хоть эта дорога и ведет к морю. Через три дня, уже в полубреду, решив окончательно бросить разбитый самолет и идти, идти, пока не свалимся замертво, мы опять-таки двинемся на восток. Точнее, на восток-северо-восток. И опять-таки наперекор здравому смыслу: в той стороне нам не на что надеяться. Потом, когда нас спасли, мы поняли, что, избрав любой другой путь, погибли бы, — ведь пойди мы на север, совершенно обессиленные, мы все равно не добрались бы до моря. И вот сейчас я думаю — смешно, нелепо, но мне кажется, не зная, на что опереться, я выбрал это направление просто потому, что оно спасло в Андах моего друга Гийоме, которого я так долго искал. Я этого не сознавал, но оно так и осталось для меня направлением к жизни.

Идем уже пять часов, картина вокруг меняется. Перед нами долина, на дне ее струится песчаная река, и мы пускаемся по ней. Идем скорым шагом, надо пройти как можно дальше, и, если ничего не найдем, вернуться дотемна. Вдруг я останавливаюсь:

— Прево!

— Что?

— Про след забыли...

Когда же мы перестали тянуть за собою борозду? Если мы ее не отыщем — конец.

Поворачиваем, но берем правее. Отойдя подаль-

ше, свернем еще раз под прямым углом и тогда наверняка пересечем старый след.

Связав эту нить, шагаем дальше. Зной усиливается, порождая миражи. Пока они еще очень просты. Разливается на пути озеро, а подойдешь ближе — и нет его. Решаем перейти песчаную долину, подняться на самый высокий холм и оглядеться. Шагаем уже шесть часов. Отмахали, наверно, добрых тридцать пять километров. Взбираемся на самую макушку черного купола, садимся, молчим. Внизу песчаная река, по которой мы шли, впадает в песчаное море без единого камешка, — сверкающая белизна слепит, жжет глаза. Пустыня, пустыня без конца и края. Но на горизонте игра света воздвигает новые миражи, куда более притягательные. Вздымаются крепости, минареты, громады с четкими, ясными очертаниями. Различаю большое темное пятно, оно прикидывается рощей, но над ним нависло облако — последнее из тех, что днем рассеиваются и вновь собираются под вечер. Та роща — лишь тень громоздящихся облаков.

Дальше идти нет смысла, никуда мы не придем. Надо возвращаться к самолету, этот красно-белый бакен, быть может, заметят наши товарищи. Я почти не надеюсь на розыски с воздуха, и все же только оттуда еще может прийти спасение. А главное, там, в самолете, остались последние капли влаги, а мы больше не можем без питья. Чтобы жить, надо вернуться. Мы замкнуты в железном кольце, в плену у жажды, надолго она не отпустит.

Но как трудно поворачивать назад, когда, быть может, впереди — жизнь! Быть может, там, за миражем, и в самом деле встают города, течет по каналам вода, зеленеют луга. Я знаю, он единственно разумен, этот крутой поворот руля. И поворачиваю, а чувство такое, словно идешь ко дну.

Лежим возле самолета. За день отшагали шестьдесят километров с лишком. Все питье, какое у нас было, выпили. Никаких признаков жизни на востоке не обнаружили, и ни один наш товарищ в той стороне не пролетал. Долго ли мы еще продержимся? Уже так хочется пить...

Из обломков разбитого крыла сложили большой костер. Приготовили бензин и пластинки магния, он вспыхнет ярким белым пламенем. Дождемся, чтоб совсем стемнело, и запалим костер... Только где люди?

И вот вскинулось пламя. Благоговейно смотрим, как пылает среди пустыни наш сигнальный огонь. Наш безмолвный вестник так ярок, так сияет в ночи. И я думаю — он несет не только отчаянный призыв, но и любовь. Мы просим пить, но просим и отклика. Пусть загорится в ночи другой огонь, ведь огнем владеют только люди, пусть же они отзовутся!

Мне чудятся глаза жены. Одни только глаза. Они вопрошают. Мне чудятся глаза тех, кому я, может быть, дорог. Глаза вопрошают. Сколько взглядов, и в каждом — упрек: почему я молчу? Но я отвечаю! Отвечаю! Отвечаю, как только могу, не в моих силах разжечь еще ярче этот огонь в ночи!

Я сделал все, что мог. Мы оба сделали все, что могли: шестьдесят километров почти без питья. А больше нам уже не пить. Разве мы виноваты, что не сможем долго ждать? Мы бы и рады смирно сидеть на месте да потягивать из фляги. Но в тот миг, как я увидел дно оловянного стаканчика, некий маятник начал отсчитывать время. В тот миг, как я осушил последнюю каплю, я покатился под откос. Что я могу, если время уносит меня, как ре-

ка. Прево плачет. Хлопаю его по плечу. Говорю в утешение:

— Подыхать так подыхать...

И он отвечает:

— Да разве я о себе...

Ну, конечно, я и сам открыл эту истину. Вытерпеть можно все. Завтра и послезавтра я в этом уверюсь: вытерпеть можно все на свете. В предсмертные муки я верю лишь наполовину. Не впервые прихожу к этой мысли. Однажды я застрял в кабине тонувшего самолета и думал, что погиб, но не очень страдал при этом. Сколько раз я попадал в такие переделки, что уже не думал выйти живым, но не впадал в отчаяние. Вот и сейчас не жду особых терзаний. Завтра я сделаю открытия еще поудивительней. И хоть мы запалили такой огромный костер, бог свидетель, я уже не надеюсь, что наш призыв дойдет до людей...

«Да разве я о себе...» Вот оно, вот что поистине невыносимо. Опять и опять мне чудятся глаза, полные ожидания, — и едва увижу их, по сердцу как ножом полоснет. Я готов вскочить и бежать, бежать со всех ног. Там гибнут, там зовут на помощь!

Так странно мы меняемся ролями, но я никогда и не думал по-другому. А все же только Прево помог мне понять, как это верно. Нет, Прево тоже не станет терзаться страхом смерти, о котором нам все уши прожужжали. Но есть нечто такое, чего он не может вынести так же, как и я.

Да, я готов уснуть. На одну ли ночь, на века ли — когда уснешь, будет уже все равно. И тогда — безграничный покой! Но там — там закричат, заплачут, сгорая в отчаянии... думать об этом нестерпи-

мо. Там погибают, не могу я смотреть на это сложа руки! Каждая секунда нашего молчания убивает тех, кого я люблю. Неудержимый гнев закипает во мне: отчего я скован и не могу помчаться на помощь? Отчего этот огромный костер не разнесет наш крик по всему свету? Держитесь!.. Мы идем!.. Идем!.. Мы спасем вас!

Магний сгорел, пламя костра багровеет и меркнет. И вот остались только уголья, мы склоняемся к ним, чтобы погреться. Наше сверкающее послание окончено. Чем отзовется на него мир? Да нет, я ведь знаю, никак не отзовется. Эту мольбу никто не мог услышать.

Что ж. Буду спать.

5

На рассвете мы тряпкой собрали с уцелевшего крыла немного росы пополам с краской и маслом. Мерзость ужасная, но мы выпили. Все-таки промочили горло. После этого пиршества Прево сказал:

— Хорошо, хоть револьвер есть.

Я вдруг озлился и уже готов был на него напуститься. Не хватало только чувствительных сцен! Не желаю знать никаких чувств, все просто, очень просто. И родиться. И вырасти. И умереть от жажды.

Искоса слежу за Прево, если надо, оборву его хоть насмешкой, лишь бы молчал. Но нет, он сказал это спокойно. Для него это вопрос чистоплотности. Так говорят: «Хорошо бы вымыть руки». Что ж, тогда спорить не о чем. Я и сам вчера, увидав

кожаную кобуру, подумал о том же. Я рассуждал трезво, не предавался отчаянию. С отчаянием думаешь только о других. О том, что мы бессильны успокоить всех тех, за кого мы в ответе. Револьвер тут ни при чем.

Нас все еще не ищут, то есть ищут, конечно, но не там, где надо. Вероятно, в Аравии. Только на другой день нам суждено было услышать рокот мотора, но к этому времени мы уже ушли от своей разбитой машины. И мы равнодушно смотрели на далекий самолет. Две черные точки в пустыне, сплошь усеянной черными точками камней, мы никак не могли надеяться, что нас заметят. Позднее все решат, что одна мысль о летящем мимо самолете была для меня пыткой. Но это неправда. Мне казалось, что наши спасители кружат в другом мире.

Когда разбитый самолет затерян в пустыне, где-то на пространстве в сотни тысяч квадратных километров, быстрее, чем за две недели, найти его невозможно. А нас, вероятно, ищут повсюду от Триполитании до Персидского залива. Но сегодня я еще цепляюсь за эту соломинку, ведь больше надеяться не на что. И я меняю тактику: пойду на разведку один. Если кто-нибудь нас отыщет, Прево подаст мне знак — разожжет костер... но никто нас не отыщет.

Итак, я ухожу и даже не знаю, хватит ли у меня сил вернуться. Вспоминается все, что мне известно о Ливийской пустыне. Во всей Сахаре влажность воздуха держится на сорока процентах, а здесь падает до восемнадцати. И жизнь улетучивается, как пар. Бедуины, путешественники, офицеры колониальных войск говорят, что без питья мож-

но продержаться только девятнадцать часов. А когда пройдет двадцать часов, перед глазами вспыхивает яркий свет — и это начало конца: жажда бросается на вас и разит, как молния.

Но северо-восточный ветер, небывалый, невесть откуда взявшийся здесь ветер, который так нас подвел и нежданно-негаданно пригвоздил к этому плоскогорью, сейчас отдаляет наш конец. Как знать, надолго ли эта отсрочка? Когда сверкнет в глазах предсмертный свет?

Итак, я ухожу, а чувство такое, словно в утлом челноке пускаюсь в океан.

А все же при свете зари все вокруг кажется не таким уж мрачным. И поначалу я шагаю, как апаш, заложив руки в карманы. С вечера мы расставили силки у входа в какие-то, неведомо чьи, норки, и во мне просыпается браконьер. Первым делом иду проверить капканы — они пусты.

Значит, не судьба напиться свежей крови. По совести, я на это и не надеялся.

Нет, я не разочарован, напротив, меня донимает любопытство. Какое здесь, в пустыне, зверье и чем оно кормится? Скорее всего, это фенеки, песчаные лисицы, хищники ростом не больше кролика и с огромными ушами. Не могу утерпеть — иду по следу одного зверька. След приводит к песчаному ручейку, на песке четко отпечатался каждый шаг фенека. Прелесть что за узор оставляет эта лапка с тремя растопыренными пальцами, словно изящно вырезанный пальмовый листок. Представляю, как на заре мой ушастый приятель рысцой перебегал от камня к камню и слизывал ночную росу. А здесь следы реже: мой лис пустился вскачь. А вот здесь ему повстречался собрат, и они побежали рядышком. Даже удивительно, как приятно мне следить за этой утренней прогулкой. Как отрадно видеть,

что и здесь есть жизнь. И словно уже не так хочется пить...

Но вот наконец и кладовые моих лисиц. Поодаль друг от друга, по одному на сто метров, чуть виднеются над песком крохотные сухие кустики, не выше суповой миски; они сплошь унизаны маленькими золотистыми улитками. На рассвете фенек отправляется за провизией. И тут я наталкиваюсь на одну из великих загадок природы.

Мой лис задерживается не у всякого кустика. Иные он не удостоивает своим вниманием, хотя они густо унизаны улитками. Иные опасливо обходит стороной. К иным приступает деликатно — не объедает начисто. Снимет две-три ракушки — и отправляется в другой ресторан.

Что это — игра? Может быть, он не хочет насытиться разом, хочет растянуть удовольствие этой утренней прогулки? Нет, едва ли. Игра слишком разумна, ее диктует необходимость. Если фенек станет наедаться досыта у первого же кустика, за две-три трапезы на ветвях не останется ни одной улитки. И так, переходя от одного кустика к другому, он уничтожил бы все свое стадо. Но фенек осторожен и не мешает стаду плодиться. Ради одной трапезы он обходит добрую сотню этих редких бурых кустиков, больше того — он ни за что не снимет с одной и той же веточки двух улиток подряд. Он ведет себя так, будто ясно понимает, в чем таится опасность. Ведь попробуй он наедаться досыта, не заботясь о будущем, скоро и улиток не станет. А без улиток не станет и фенеков.

Следы вновь привели меня к норе. Фенек сейчас дома, конечно, еще издали заслышал мои тяжелые шаги и теперь в страхе ждет. И я говорю ему: «Лис, дружок, мне крышка... но представь, мне

и сейчас любопытно, как ты живешь и что поделываешь...»

Стою в раздумье... да, видно, примириться можно с чем угодно. Не мешает же человеку радоваться мысль о том, что лет через тридцать он умрет. А тридцать лет или три дня... тут все дело в том, какой мерой мерить...

Только вот всплывают перед глазами образы, которые лучше не вспоминать...

И опять иду своей дорогой, усталость все сильнее, и что-то во мне переменилось. Миражей нет, — а я сам их вызываю...

— Э-эй!

Поднимаю руки, кричу — там человек, он мне машет... нет, это просто черный каменный столб. В пустыне все начинает жить какой-то странной жизнью. Я хотел разбудить спящего бедуина, но он обратился в почерневший ствол дерева. Дерево? Откуда ему здесь взяться? Наклоняюсь, хочу поднять эту обломанную ветвь — она из мрамора! Выпрямляюсь, смотрю по сторонам, — вот и еще черный мрамор. Все вокруг усеяно обломками доисторического леса. Сотни тысяч лет назад он рухнул, точно храм, сметенный чудовищным, первобытной силы ураганом. И века докатили до меня эти осколки исполинских колонн, отполированные, гладкие, как сталь, окаменелые, остекленевшие, совершенно черные. Еще можно различить, где от ствола отходили ветви, можно проследить живые изгибы дерева, сосчитать годовые кольца. Лес, некогда полный птичьих песен, шороха, шелеста, поразило проклятие, и деревья обратились в соляные столбы. Все вокруг мне враждебно. Эти величавые останки, такие черные — черней, чем

железный панцирь, одевающий холмы, — меня отвергают. Зачем я здесь, живой среди этого нетленного мрамора? Смертный, которому суждено обратиться в прах, — зачем я здесь, в царстве вечности?

Со вчерашнего дня я прошел уже километров восемьдесят. Кружится голова — наверно, от жажды. А может, от солнца. Оно блещет на этих, точно маслом смазанных, обломках окаменелых стволов. На этом панцире вселенной. Здесь больше нет ни песка, ни лисиц. Осталась одна лишь гигантская наковальня. И вот я иду по этой наковальне. И солнце гулким молотом бьет меня по голове. Но что это?..

— Эй! Э-эй!

— Ничего там нет, успокойся, ты бредишь.

Уговариваю себя, взываю к собственному рассудку. Так трудно не верить своим глазам. Так трудно не кинуться со всех ног за караваном... вот же он идет... вон там... видишь?..

— Дурень, ты его просто выдумал, ты и сам это знаешь...

— Тогда все на свете обман...

Все на свете обман, но вот на холме в двадцати километрах от меня стоит самый настоящий крест. Не то крест, не то маяк...

Но море не в той стороне. Значит, это крест. Всю ночь я изучал карту. Напрасный труд, ведь неизвестно, где мы. Но я до одури вглядывался в каждый знак, который говорил о присутствии человека. И в одном месте обнаружил кружок, а над ним вот такой же крест. Просмотрел условные обозначения на полях: церковь, миссия или монастырь. Рядом с крестом я увидел на карте черную точку.

Опять посмотрел на поля — постоянный колодец... Сердце так и подпрыгнуло, и я повторил в полный голос: «Постоянный колодец... постоянный колодец... постоянный колодец!» Что перед этим чудом все сокровища Али-Бабы? Чуть подальше я заметил два белых кружка и на полях прочел: «Пересыхающий колодец». Это было уже не так прекрасно. А дальше, куда ни погляди — ничего. Ничего.

Так вот она, миссия или монастырь! Монахи воздвигли на холме огромный крест — путеводный знак для погибающих! И надо только идти прямо на него. Надо только бежать прямо к этим доминиканцам...

— Да ведь в Ливии нет никаких монастырей, кроме коптских.

— ...прямо к этим ученым доминиканцам. У них отличная прохладная кухня, выложенная красными изразцами, а во дворе изумительный ржавый насос. И под ржавым насосом, под ржавым насосом, — как не догадаться! — под ржавым насосом и есть постоянный колодец! Вот будет у них праздник, когда я позвоню у дверей, ударю в колокол...

— Дурень, о чем ты? Такие дома — в Провансе, да и там нет никакого колокола.

— ...я позвоню в колокол. Привратник возденет руки к небесам и воскликнет: «Сам бог вас послал!» — и созовет всю братию. И монахи кинутся мне навстречу. Они обрадуются мне, как бездомному сироте в рождественскую ночь. И отведут меня на кухню. И скажут: «Сейчас, сын мой, сейчас... мы только сбегаем к постоянному колодцу».

И я задрожу от счастья...

Но нет, не стану плакать только оттого, что там, на холме, уже нет никакого креста.

Все посулы запада — ложь. Круто поворачиваю на север.

Север — он хотя бы полон песнью моря.

Итак, я одолел перевал — и передо мною распахнулась необъятная ширь. А вот и прекраснейший город на свете.

— Ты же и сам знаешь, это мираж...

Да, я прекрасно знаю, что это мираж. Меня не проведешь. Ну, а если я так хочу — гнаться за миражем? Если я хочу надеяться? Если я влюблен в этот город, обнесенный зубчатыми стенами, щедро позолоченный солнцем? Если мне нравится идти к нему все прямо, прямо, легкими шагами, — ведь я уже не чувствую усталости, ведь я счастлив... Прево со своим револьвером просто смешон! Мое опьянение куда лучше. Я пьян. Я умираю от жажды!

Сумерки меня отрезвили. В страхе останавливаюсь — я слишком далеко зашел. В сумерках мираж угасает. Даль нага и безрадостна; колодца, дворцов, пышных риз как не бывало. Вокруг пустыня.

— Вот чего ты добился! Тебя застигнет ночь, придется ждать рассвета, а до завтра твои следы на песке сгладятся — и не будет возврата.

— Тогда уж лучше идти все прямо да прямо. Зачем же поворачивать назад? Ни к чему мне этот поворот руля, ведь сейчас, быть может, я открою... да, я уже открываю объятия морю...

— Где ты видишь море? Никогда тебе до него не дойти. До моря, уж наверно, не меньше трехсот километров. А возле вашего «самума» ждет Прево! И, может быть, его уже заметил какой-нибудь караван...

Ладно, я вернусь, но сперва позову, вдруг люди близко.

— Э-эй!

Черт побери, обитаемая это планета или нет?

— Э-эй! Люди!..

Я охрип. Уже нет голоса. Просто смешно так вопить... Все-таки попробуем еще раз:

— Лю-ди!

Это звучит так высокопарно и неестественно... И я поворачиваю назад.

Шагаю два часа, и вот уже виден отсвет огромного костра — в страхе, что я заблудился, Прево разжег его чуть не до небес. А мне все равно...

Еще час ходу... Еще пятьсот метров. Еще сто. Еще пятьдесят.

— О-о!

Останавливаюсь, пораженный. Такая радость нахлынула, от нее вот-вот разорвется сердце. В зареве костра Прево разговаривает с двумя арабами, прислонившимися к мотору. Он меня еще не заметил. Он так рад, что ничего не видит вокруг. Эх, лучше бы я ждал тут вместе с ним... не так долго пришлось бы маяться! Радостно кричу:

— Э-эй!

Бедуины так и подскочили, обернулись и смотрят на меня. Оставив их, Прево один идет мне навстречу. Открываю объятия. Прево поддерживает меня под локоть — разве я падал? Говорю ему:

— Ну, вот и они!

— Кто?

— Арабы!

— Какие арабы?

— Да эти, которые тут, с вами!..

Прево как-то странно смотрит на меня и говорит нехотя, будто поверяет тягостную тайну:

— Никаких арабов тут нет...

Вот теперь я, наверно, заплачу.

6

Здесь можно прожить без воды только девятнадцать часов, а что мы пили со вчерашнего вечера? Несколько капель росы на рассвете! Но северо-восточный ветер все еще держится — и пустыня иссушает наши тела немного медленнее обычного. Благодаря этому заслону в небе сгущаются облака, целые горы облаков. Вот бы их принесло в нашу сторону, вот бы пошел дождь! Но в пустыне дождей не бывает.

— Прево, давайте-ка разрежем парашют на треугольники. Разложим их на песке и придавим камнями. Если ветер не переменится, наутро выжмем все это тряпье в бак из-под бензина, все-таки наберется немного росы.

Мы разостлали под звездами шесть белых полотнищ. Прево снял с самолета бак. Будем ждать утра.

Среди обломков Прево отыскал настоящее чудо — апельсин! Делим его пополам. Я вне себя от радости, а между тем один апельсин — такая малость, ведь нам нужно двадцать литров воды!

Лежу подле нашего ночного костра, смотрю на огнисто светящийся плод и думаю: люди не знают, что это такое — апельсин. И еще думаю: мы обречены, но и сейчас, как утром, это не мешает мне радоваться. Вот я держу в руке половинку апельсина — и это одна из самых отрадных минут моей жизни...

Откидываюсь на спину, высасываю дольку за долькой, считаю падающие звезды. В этот миг я счастлив бесконечно. И я думаю еще: в жизни каждое положение — это особый мир, его законы можно постичь только изнутри. Лишь теперь я понимаю, зачем осужденному на казнь последняя папироса

и стакан рома. Прежде я не мог понять, как смертник принимает эту милостыню. А ведь она доставляет ему истинное удовольствие. И если он улыбается, все думают — какое мужество! А он улыбается, потому что приятно выпить рому. Люди не знают, что он просто мерит другой мерой, и этот последний час для него — целая жизнь.

У нас скопилось неслыханное богатство — пожалуй, литра два росы. С жаждой покончено! Мы спасены, мы будем пить!

Оловянным стаканчиком зачерпываю воды из бака, но она уж такая желто-зеленая и вкус у нее до того мерзкий, что, как ни изводился я от жажды, после первого же глотка с трудом перевожу дух. Я бы напился и из грязной лужи, но этот ядовитый металлический привкус еще сильнее жажды.

Смотрю на Прево — он ходит по кругу, озабоченно глядя себе под ноги, будто что потерял. И вдруг, не переставая кружить, наклоняется — и его рвет. Полминуты спустя настает мой черед. Рвота страшная, до судорог — падаю на колени, впиваюсь пальцами в песок. Мы не в силах вымолвить ни слова, так проходит четверть часа, под конец нас рвет желчью.

Кончено. Только еще мутит немного. Но последняя наша надежда рухнула. Не знаю, что в этом виновато — вещество ли, которым был пропитан парашют, или четыреххлористый углерод, осевший на стенках бака. Надо было найти другой сосуд, а может быть, другую ткань.

Что ж, пора! Уже светло. В путь! Прочь от этого окаянного плоскогорья, будем идти, идти, пока не свалимся замертво. Так шел по Андам Гийоме, со вчерашнего дня я все думаю о нем. Нарушаю

строжайшее правило, предписывающее оставаться подле разбитого самолета. Здесь нас больше искать не будут.

И снова убеждаемся — это не мы терпим бедствие. Терпят бедствие те, кто нас ждет! Те, для кого так грозно наше молчание. Те, кого уже терзает чудовищная ошибка. Как же к ним не спешить! Вот и Гийоме, возвратясь из Анд, рассказывал мне, как он спешил на помощь погибающим. Эта истина справедлива для всех.

— Будь я один на свете, я бы лег и уже не вставал, — говорит Прево.

И мы идем на восток-северо-восток. Если Нил мы перелетели, то теперь каждый шаг все непоправимее заводит нас в глубь Аравийской пустыни.

О том дне я больше ничего не помню. Помню лишь, что очень спешил. Скорей, скорей, все равно, что́ впереди, хотя бы и смерть. Помню еще, что шел, упорно глядя под ноги, миражи мне осточертели. Время от времени мы сверялись с компасом. Иногда ложились на песок, чтоб немного передохнуть. Я захватил на ночь плащ, а потом где-то его кинул. Дальше — провал. Не помню, что было, пока не наступил вечер и не стало прохладнее. Все стерлось в памяти, словно следы на песке.

Солнце заходит, решаем остановиться на ночлег. Я знаю, надо бы идти дальше: эта ночь без воды нас доконает. Но мы захватили с собой полотнища парашютного шелка. Если отравились мы не из-за него, завтра утром, может быть, и утолим жажду. Попробуем опять разостлать под звездами наши ловушки для росы.

Но в этот вечер небо на севере ясное, ни облачка. У ветра стал другой вкус. И дует он с другой стороны. Нас уже коснулось жаркое дыхание

пустыни. Зверь просыпается! Вот он лижет нам руки, лицо...

И все-таки надо сделать привал, мне сейчас не пройти и десяти километров. За три дня я прошел сто восемьдесят, даже больше, и ничего не пил.

Мы уже готовы остановиться, и вдруг Прево говорит:

— Озеро! Честное слово!

— Вы с ума сошли!

— Да ведь сумерки, откуда сейчас возьмется мираж?!

Не отвечаю. Я давно уже перестал верить своим глазам. Если это и не мираж, так прихоть больного воображения. И как Прево еще может верить?

А он твердит свое:

— До него минут двадцать ходу, пойду погляжу...

Это упрямство меня бесит:

— Что ж, подите поглядите... гулять очень даже полезно. Только имейте в виду, если там и есть озеро, оно все равно соленое. И потом, соленое, нет ли, оно же у черта на рогах! И нет его совсем.

Но Прево уже уходит, глядя в одну точку. Я и сам испытал эту властную, неодолимую тягу! И я думаю: бывают же безумцы, кидаются под поезд — не удержишь. Я знаю, Прево не вернется. Эта ширь без конца и края затянет его, заморочит, и он уже не сможет повернуть назад. Отойдет подальше и свалится. И умрет там, а я умру здесь. И все это неважно, все пустяки...

Мной овладело равнодушие, а это дурной знак. Такое же спокойствие ощутил я, когда тонул. Что ж, воспользуемся этим! Растягиваюсь прямо на камнях и пишу свое последнее письмо. Прекрасное письмо. Очень достойное. Щедро оделяю всех мудрыми советами. Перечитываю его с каким-то тщеславным

удовольствием. Все станут говорить: «Изумительное письмо! Какая жалость, что он погиб!»

Интересно, долго ли я еще протяну. Пытаюсь набрать слюны — сколько часов я не сплевывал? Но слюны уже нет. Когда подолгу не открываешь рта, губы склеивает какая-то гадость. Она подсыхает, обводя рот снаружи твердой коркой. Но глотать пока удается. И перед глазами еще не вспыхнул свет. Вот заблещет для меня это волшебное сияние, и тогда через два часа — конец.

Уже темно. Со вчерашней ночи луна заметно прибавилась. Прево не возвращается. Лежу на спине и ворочаю в уме эти несомненные истины. И какое-то странное, полузабытое чувство поднимается во мне. Что же это было? Да, да... я плыву, я на корабле! Так я плыл однажды в Южную Америку, распростертый на верхней палубе. И верхушка мачты медленно покачивалась среди звезд то вправо, то влево. Мачты здесь нет, но все равно я плыву в неизвестность и ничего не властен изменить. Работорговцы бросили меня на палубу, связав по рукам и ногам.

Думаю о Прево — он не возвращается. Я не слыхал от него ни единой жалобы. Это очень хорошо. Я просто не вынес бы нытья. Да, это человек.

А, вот он — размахивает фонариком в пятистах метрах от меня. Он потерял свой след! У меня нет фонаря, нечем сигналить в ответ, — поднимаюсь, кричу, но он не слышит...

За двести метров от него вспыхивает еще один фонарик, и еще. Бог мой, да ведь это помощь, меня ищут!

Кричу:

— Э-эй!

Но меня не слышат.

Три фонаря призывно сигналят, опять и опять.

Я не сошел с ума. Сегодня мне не так уж плохо. И я спокоен. Внимательно всматриваюсь. За пятьсот метров от меня горят три фонарика.

— Э-эй!

Опять не слышат.

Тут меня охватывает страх. Короткий приступ, он больше не повторится. Надо бежать! «Подождите!.. подождите!..» Сейчас они повернут обратно! Пойдут искать в другом месте, а я погибну! Погибну у порога жизни, когда уже раскрылись объятия, готовые меня поддержать!

— Э-эй! Э-эй!

— Э-эй!

Услышали. Задыхаюсь — задыхаюсь и все-таки бегу. Бегу на голос, на крик «э-эй!». Вижу Прево — и падаю.

— Ох, когда я увидел все эти фонари...

— Какие фонари?

Да ведь он один!

На сей раз во мне поднимается не отчаяние, а глухая ярость.

— Ну, как ваше озеро?

— Я шел к нему, а оно все отодвигалось. Я шел к нему целых полчаса. Но все равно было еще далеко. И я повернул. Но теперь я уверен, это самое настоящее озеро.

— Вы с ума сошли, вы просто сошли с ума. Ну, зачем вы так? Зачем...

Что он сделал? Что — зачем? Я готов заплакать от злости и сам не знаю, чего злюсь. А Прево срывающимся голосом объясняет:

— Я так хотел найти воду... у вас совсем белые губы!

Вот оно что... Ярость моя утихает. Провожу рукой по лбу, словно просыпаюсь, и мне становится грустно. Говорю негромко:

— Я видел три огонька — совсем ясно, вот как вас сейчас вижу, ошибиться было невозможно. Говорю вам, Прево, я их видел!

Прево долго молчит.

— Да-а, — признается он наконец, — плохо дело.

В пустыне, где воздух лишен водяных паров, земля быстро отдает дневное тепло. Становится очень холодно. Встаю, расхаживаю взад и вперед. Но скоро меня начинает колотить нестерпимый озноб. Кровь, густея без воды, едва течет по жилам, леденящий холод пронизывает меня, и это не просто холод ночи. Меня трясет, зуб на зуб не попадает. Руки дрожат так, что я даже фонарик удержать не могу. Никогда в жизни не был чувствителен к холоду, а умру от холода — странно, что только делает с человеком жажда!

Днем я устал тащить по жаре свой плащ и где-то его бросил. А ветер усиливается. А в пустыне, оказывается, нет прибежища. Она вся гладкая, как мрамор. Днем не сыщешь ни клочка тени, а ночью нет защиты от ветра. Ни дерева, ни кустика, ни камня, негде укрыться. Ветер налетает на меня, точно конница в чистом поле. Кручусь на все лады, пытаясь от него ускользнуть. Ложусь, опять встаю. Но как ни вертись, а ледяной бич хлещет без пощады. Бежать не могу, сил больше нет — падаю на колени, обхватываю голову руками и жду — сейчас опустится меч убийцы!

Немного погодя ловлю себя на том, что поднялся и, весь дрожа, иду, сам не знаю куда! Где это я? Вот оно что — я ушел, и Прево меня зовет! От его криков я и очнулся...

Возвращаюсь к нему, трясусь всем телом, судорожно вздрагиваю. И говорю себе: «Это не от

холода. Нет. Это коиец». Все мое тело иссушено, в ием не осталось влаги. Я столько ходил позавчера и вчера, когда отправился иа разведку одии.

Обидио умирать от холода. Уж лучше бы воображеиие снова тешило меня миражами. Крест на холме, арабы, фоиари — это стаиовилось даже заиятно. Не так-то весело, когда тебя хлещут бичами, как раба...

И вот я опять на колеиях...

Мы захватили с собой кое-что из иашей аптечки. Сто граммов чистого эфира, сто граммов девяностоградусиого спирта и пузырек с йодом. Пробую эфир — глоток, другой. Это все равио, что глотать иожи. Глотиул спирту — иет, сразу сдавило горло.

Рою в песке яму, ложусь, засыпаю себя песком. Открытым остается только лицо. Прево отыскал какие-то кустики и разжигает крохотиый костер, который тут же гасиет. В песке Прево хороииться не хочет. Предпочитает приплясывать от холода. А что толку.

Горло у меия по-прежиему сдавлено — дуриой зиак, ио чувствую себя лучше. Я спокоеи. Надежды больше иет, а я спокоеи. Связаииого по рукам и иогам, уиосит меия иевольиичий корабль, плыву под звездами и остаиовиться — ие в моей власти. Но, пожалуй, я ие так уж иесчастлив...

Если совсем ие шевелиться, холода уже ие ощущаешь. И я забываю о своем оиемевшем теле. Больше я ие двинусь, а зиачит, и мучиться не стану. Да, по правде сказать, ие так уж это и мучительио... Мучеиия положеиы иа музыку усталости и бреда. И все оборачивается книжкой с картииками, немиого жестокой сказкой... Совсем недавно меия преследовал ветер, и, спасаясь от иего, я кружил, как затравлеииый зверь. Потом стало трудио ды-

шать: кто-то уперся коленом мне в грудь. Колено давило. И я пытался сбросить гнет, я отбивался от ангела смерти. Никогда я не был в пустыне один. Теперь я больше не верю в реальность окружающего — и ухожу в себя, закрываю глаза, больше я и бровью не поведу. Поток образов уносит меня в забвенье: реки, впадая в море, обретают покой.

Прощайте все, кого я любил. Не моя вина, если человеческое тело не может бороться с жаждой больше трех дней. Не думал я, что мы в вечном плену у источников. Не подозревал, что наша свобода так ограничена. Считается, будто человек волен идти куда вздумается. Считается, будто он свободен... И никто не видит, что мы на привязи у колодцев, мы привязаны, точно пуповиной, к чреву земли. Сделаешь лишний шаг — и умираешь.

Мне горько одно — ваше горе, — а больше я ни о чем не жалею. В последнем счете мне выпала завидная участь. Если б я вернулся, опять начал бы сначала. Я хочу настоящей жизни. А в городах люди о ней забыли.

Дело вовсе не в авиации. Самолет — не цель, только средство. Жизнью рискуешь не ради самолета. Ведь не ради плуга пашет крестьянин. Но самолет помогает вырваться из города, от счетоводов и письмоводителей, и вновь обрести ту истину, которой живет крестьянин.

Возвращаешься к человеческому труду и к человеческим заботам. Сходишься лицом к лицу с ветром, со звездами и ночью, с песками и морем. Стараешься перехитрить стихии. Ждешь рассвета, как садовник ждет весны. Ждешь аэродрома, как земли обетованной, и ищешь свою истину по звездам.

Не стану жаловаться на судьбу. Три дня я шел, страдал от жажды, держался следов на песке, и вся

надежда моя — иа росу. Я забыл, где живут мои собратья, и пытался вновь отыскать их на земле. Таковы заботы живых. И, право, это куда важнее, чем выбирать — в каком бы мюзик-холле убить вечер.

Мие странны пассажиры пригородных поездов — воображают, будто они люди, а сами, точио муравьи, подчиняются привычному гнету и даже не чувствуют его. Чем оии заполняют свои воскресеиья, свой жалкий, бессмысленный досуг?

Однажды в России я слышал — на заводе играли Моцарта. Я об этом написал. И получил двести ругательных писем. Меня не возмущают те, кому больше по вкусу кабацкая музыка. Другой оии и ие зиают. Меня возмущает содержатель кабака. Не выношу, когда уродуют людей.

Я счастлив своим ремеслом. Чувствую себя пахарем, аэродром — мое поле. В пригородном поезде меня убило бы удушье куда более тяжкое, чем здесь! В последнем счете здесь великолепно!..

Ни о чем не жалею. Я играл — и проиграл. Такое у меня ремесло. А все же я дышал вольным ветром, ветром безбрежных просторов.

Кто хоть раз глотнул его, тому ие забыть его вкус. Не так ли, товарищи мои? И суть не в том, чтобы жить среди опасностей. Это всего лишь громкая фраза. Тореадоры мне не по душе. Я люблю ие опасиости. Я знаю, что́ я люблю. Люблю жизнь.

Кажется, небо иачинает бледнеть. Вытаскиваю руку из песка, ощупываю разостлаииое рядом полотнище — оно сухое. Подождем еще. Роса падает иа рассвете. Но вот и рассвело, а парашютные по-

лотнища не увлажнились. Мысли немного путаются, и я слышу собственный голос: «Сердце высохло... сердце высохло... сердце как камень, не выжмешь ни слезинки!..»

— В путь, Прево! Пока еще не спеклась глотка, надо идти.

7

Дует западный ветер — тот самый, что иссушает человека за девятнадцать часов. Гортань еще не спеклась, но пересохла и болит. Внутри уже немного царапает. Скоро начнется кашель — мне про него рассказывали, и я жду. Язык мне мешает. Но что хуже всего, перед глазами уже мелькают слепящие искорки. Едва они обратятся в пламя, я лягу.

Идем быстро. Пользуемся прохладой раннего утра. Ведь когда станет припекать, мы уже не сможем идти. Когда станет припекать...

Мы не имеем права вспотеть. И передохнуть тоже не имеем права. В прохладном воздухе этого утра всего лишь восемнадцать процентов влаги. Ветер дует из недр пустыни. И под его тихой, вероломной лаской испаряется наша кровь.

В первый день мы съели немного винограда. За три дня — половинка апельсина и половина виноградной кисти. Есть мы бы все равно ничего не могли — у нас пропала слюна. Но голода я и не чувствую, только жажду. И, кажется, не так мучительна жажда, как ее последствия. Пересохла гортань. Язык — как деревянный. В глотке дерет, вкус во рту премерзкий. Непривычно и дико. Будь у нас вода, все эти ощущения, конечно, как рукой бы сняло, но я не припомню, что за связь между ними и этим чудесным лекарством. Жажда переста-

ет быть неутоленным желанием, она все больше становится болезнью.

Мне еще мерещатся родники и фрукты, но это меня уже не так терзает. Забываю сияющее великолепие апельсина, как забываю, кажется, все, что было мне дорого. Быть может, я уже все позабыл.

Мы сидим, а надо снова идти. Долгие переходы нам больше не под силу. Через каждые пятьсот метров усталость валит с ног. И такое наслаждение растянуться на песке. А надо снова идти.

Ландшафт вокруг меняется. Камней все меньше. Теперь под ногами песок. Впереди, в двух километрах — дюны. На них кое-где темнеет низкорослый кустарник. Эти пески мне больше по душе, чем стальной панцирь. Эта пустыня — светлая. Это Сахара. Я, кажется, узнаю ее в лицо...

Теперь мы валимся без сил через каждые двести метров.

— Вон до тех кустиков уж непременно дойдем.

Это предел. Через неделю, когда мы на машине возвратимся за останками нашего «самума», выяснится, что в этот последний поход мы одолели восемьдесят километров. А я уже прошел около двухсот. Хватит ли сил идти дальше?

Вчера я шел, ни на что не надеясь. Сегодня самое слово «надежда» потеряло смысл. Сегодня мы идем потому, что идем. Наверно, так движутся волы в упряжке. Вчера мне грезился апельсиновый рай, сегодня рай для меня уже не существует. Я больше не верю, что есть на свете апельсиновые рощи.

Я уже ничего не чувствую, сердце во мне высохло. Вот сейчас упаду, но отчаянья нет. Нет даже горечи. А жаль: печаль показалась бы мне сладостной, как вода. Можно себя пожалеть, горевать о

себе, словно о друге. Но у меня не осталось на свете друзей.

Меня найдут, увидят мои обожженные глаза и подумают: как он страдал, как звал на помощь! Но бурные порывы, сожаления, страдания души — это ведь тоже богатство. А я все потерял. Юные девушки в первую ночь любви узнают печаль и плачут. Печаль нераздельна с трепетом жизни. А я уже не печалюсь...

Я сам стал пустыней. Во рту уже нет слюны, и в душе нет больше милых образов, которые я мог бы оплакивать. Солнце иссушило во мне источник слез.

Но что это? Дыхание надежды коснулось меня — так пробегает по морю еле заметная рябь. Отчего все существо мое встрепенулось, хотя сознание еще ничего не уловило? Ничто не изменилось — и, однако, все стало иным. Песчаная гладь, невысокие холмики, редкие мазки зелени — все это уже не ландшафт, а сцена. Она пуста, но чего-то ждет. Смотрю на Прево. Он тоже поражен и тоже никак не разберется в своих ощущениях.

Честное слово, сейчас что-то произойдет...

Честное слово, пустыня ожила. Честное слово, это безлюдье, это безмолвие вдруг преобразилось, оно живет взволнованней, чем вскипающая гулом площадь.

Мы спасены: по песку кто-то прошел...

Да, мы потеряли след рода человеческого, мы были отрезаны от своих собратьев, одни во всем мире, словно забытые в час великого переселения, — и вот он на песке, чудесный отпечаток, оставленный ногою человека.

— Смотрите, Прево, здесь разошлись двое...

— А здесь опустился на колени верблюд...

— А здесь...

Но это совсем не значит, что мы уже спасены. Нам нельзя ждать. Пройдет час, другой — и нас уже ничто не спасет. Когда начинается кашель, жажда убивает быстро. А горло у нас у обоих...

Но я верю: где-то в пустыне мерно движется караван.

Мы идем дальше, и вдруг откуда-то доносится крик петуха. Гийоме рассказывал: «Под конец я слышал — в Андах пели петухи. И поезда слышал...»

Заслышав петуха, я тотчас вспомнил рассказ Гийоме и подумал: сперва меня обманывали глаза. Конечно, это все жажда виновата. Вот теперь и слух мне изменяет... Но тут Прево схватил меня за руку:

— Слыхали?

— Что?

— Петух!

— Значит... значит...

Дурень, конечно же, это значит — жизнь...

У меня все-таки была еще галлюцинация, последняя: гнались друг за другом три собаки. Прево их не видел, хоть и смотрел в ту же сторону. А вот бедуина мы видим оба. Мы протягиваем к нему руки. Мы оба зовем его, что есть силы. И оба смеемся от счастья!..

Но наши голоса не слышны и за тридцать шагов. Голосовые связки уже высохли. Мы говорили друг с другом почти беззвучно и даже не замечали этого!

И вот бедуин, что выступил со своим верблюдом из-за пригорка, медленно, медленно удаляется.

А вдруг он здесь один? Жестокий демон только показал нам его — и уводит...

А у нас уже нет сил бежать!

На дюне появился еще один араб, мы видим его в профиль. Вопим, как можем, — все равно чуть слышно. Машем руками, кажется, на всю пустыню видны наши отчаянные сигналы. Но этот бедуин все смотрит прямо перед собой...

И вот понемногу, не спеша, он оборачивается. Стоит ему повернуться к нам лицом — и свершится чудо. Стоит ему посмотреть в нашу сторону — и конец жажде, смерти, миражам. Он еще только слегка повернул голову, а мир уже стал иным. Одним поворотом головы, одним лишь взглядом он творит жизнь — и мне кажется, он подобен богу...

Это чудо... Он идет к нам по песку, словно некий бог по водам...

Араб поглядел на нас. Положил руки нам на плечи — и мы покорились легкому нажиму его ладоней. Мы лежим на песке. Нет больше ни племен, ни наречий, ни каст... Бедный кочевник возложил нам на плечи длани архангела.

Мы ждали, лежа ничком на песке. И вот мы пьем, уткнувшись в таз, как телята. Бедуина пугает наша жадность, опять и опять он заставляет нас передохнуть. Но стоит ему нас отпустить — и снова мы приникаем к воде.

Вода!

У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не опишешь, тобой наслаждаешься, не понимая, что́ ты такое. Ты не просто необходима для жизни, ты и есть жизнь. С тобой во всем существе разливается блаженство, которое не объяснить только нашими пятью чувствами. Ты возвращаешь нам силы

и свойства, на которых мы уже поставили было крест. Твоим милосердием снова отворяются иссякшие родники сердца.

Ты — величайшее в мире богатство, но и самое непрочное — ты, столь чистая в недрах земли. Можно умереть подле источника, если в нем есть примесь магния. Можно умереть в двух шагах от солончакового озера. Можно умереть, хоть и есть два литра росы, если в нее попали какие-то соли. Ты не терпишь примесей, не выносишь ничего чужеродного, ты — божество, которое так легко спугнуть...

Но ты даешь нам бесконечно простое счастье.

А ты, ливийский бедуин, ты — наш спаситель, но твои черты сотрутся в моей памяти. Мне не вспомнить твоего лица. Ты — Человек, и в тебе я узнаю всех людей. Ты никогда нас прежде не видел, но сразу признал. Ты — возлюбленный брат мой. И я тоже узнаю тебя в каждом человеке.

Ты предстал передо мною в озарении благородства и доброты — могучий повелитель, в чьей власти — напоить жаждущих. В тебе одном все мои друзья и все недруги идут ко мне на помощь, у меня не осталось в мире ни одного врага.

VIII

ЛЮДИ

1

Снова я коснулся истины и, не поняв, прошел мимо. Я уже думал — вот и гибель, предел отчаяния, и тогда-то, оставив всякую надежду, обрел душевный покой. Кажется, в такие часы и узнаешь

самого себя, находишь в себе друга. Ничто не сравнится с этим ощущением душевной полноты, которой мы, сами того не сознавая, так жаждем. Мне кажется, эту душевную ясность знал вечный скиталец Боннафу. Узнал ее и затерянный в снегах Гийоме. И мне тоже не забыть, как я лежал, засыпанный песком, и меня медленно душила жажда, и вдруг в этом звездном шатре что-то согрело мне душу.

Как она достигается, эта внутренняя свобода? Да, конечно, человек полон противоречий. Иному дается верный кусок хлеба, чтобы ничто не мешало ему творить, а он погружается в сон; завоеватель, одержав победу, становится малодушен; щедрого богатство обращает в скрягу. Что толку в политических учениях, которые сулят расцвет человека, если мы не знаем заранее, какого же человека они вырастят? Кого породит их торжество? Мы ведь не скот, который надо откармливать, и когда появляется один бедняк Паскаль, это несравненно важнее, чем рождение десятка благополучных ничтожеств.

Мы не умеем предвидеть самое главное. Кого из нас не обжигала жарче всего нежданная радость среди несчастий? Ее не забыть, о ней тоскуешь так, что готов пожалеть и о несчастьях, если с ними пришла та жаркая нечаянная радость. Всем нам случалось, встретив товарищей, с упоением вспоминать о самых тяжких испытаниях, которые мы пережили вместе.

Что же мы знаем? Только то, что в каких-то неведомых условиях пробуждаются все силы души? В чем же истина человека?

Истина не лежит на поверхности. Если на этой почве, а не на какой-либо другой, апельсиновые деревья пускают крепкие корни и приносят щедрые

плоды, значит, для апельсиновых деревьев эта почва и есть истина. Если именно эта религия, эта культура, эта мера вещей, эта форма деятельности, а не какая-либо иная дают человеку ощущение душевной полноты, могущество, которого он в себе и не подозревал, - значит, именно эта мера вещей, эта культура, эта форма деятельности и есть истина человека. А здравый смысл? Его дело — объяснять жизнь, пусть выкручивается как угодно.

В этой книге я говорил о людях, которые словно бы следовали неодолимому призванию, которые шли в пустыню или в авиацию, как другие идут в монастырь; но задача моя отнюдь не в том, чтобы заставить вас восхищаться прежде всего этими людьми. Восхищения достойна прежде всего почва, их взрастившая.

Что и говорить, призвание играет не последнюю роль. Один сидит взаперти в своей лавчонке. Другой неуклонно идет к своей цели, — и даже в его детстве можно заметить первые порывы и стремления, которые определят его судьбу. Но если судить об истории, когда она уже свершилась, легко и ошибиться. На те же порывы и стремления способен едва ли не каждый человек. Всем нам знакомы лавочники, которые в грозный час кораблекрушения или пожара вдруг проявили нежданное величие духа. И они не обманываются, они понимают, что свершилось нечто важное, переполнившее душу: тот пожар так и остается лучшим часом в их жизни. Однако больше случая не представилось, не оказалось благоприятной почвы, они не обладали той верой, теми убеждениями, что требуют подвига, —

и вновь они погрузились в сон, так и не поверив в собственное величие. Конечно, призвание помогает освободить в себе человека, — но надо еще, чтобы человек мог дать волю своему призванию.

Ночи в воздухе, ночи в пустыне... это ведь не каждому выпадает на долю. А меж тем в часы, когда жизнь одушевляет людей, видно, что всем им присущи одни и те же стремления. Я понял это однажды в Испании — и, рассказывая о той ночи, не отвлекусь от темы. Я говорил о немногих, теперь хочу сказать обо всех.

Это было на фронте под Мадридом, я побывал там как журналист. В тот вечер я обедал в бомбоубежище с одним молодым капитаном.

2

Мы беседовали, и вдруг зазвонил телефон. Разговор идет долгий, с командного пункта передают приказ о наступлении на небольшом участке — о бессмысленном, отчаянном броске ради того, чтобы в этом рабочем предместье отбить несколько домов, обращенных противником в крепость. Пожав плечами, капитан возвращается к нам. «Кто полезет туда первым...» — и, не докончив, придвигает по рюмке коньяка мне и сидящему за столом сержанту.

— Мы с тобой пойдем первыми, — говорит он сержанту. — Пей и ложись спать.

Сержант лег. Мы, человек двенадцать, остаемся за столом. Помещение закупорено наглухо, чтобы ни один луч не просочился наружу, свет здесь яркий, и я щурюсь. Минут пять назад я выглянул в бойницу. Сдвинул тряпку, что прикрывает щель, и увидел в мертвенном сиянии луны развалины до-

мов, в которых гнездятся привидения. Потом я снова замаскировал щель, и мне показалось, будто этой тряпкой я стер лунный луч, как струйку масла. И перед глазами у меня все еще — зеленоватые от луны крепости.

Солдаты, что сидят со мною, должно быть, не вернутся, но целомудренно молчат об этом. Такие атаки — дело обычное. Для них черпают и черпают из людских запасов. Так черпают зерно в житнице. Бросают горсть за горстью, засевая землю.

И мы пьем коньяк. Справа от меня играют в шахматы. Слева балагурят. Где я? Появляется какой-то солдат, он сильно под хмельком. Поглаживает косматую бороду и смотрит на всех разнеженно. Скользнул взглядом по бутылке коньяка, отвел глаза, и снова поглядел, и с мольбой уставился на капитана. Капитан тихонько посмеивается. В том встрепенулась надежда, он тоже смеется. Смешок пробегает среди зрителей. Капитан осторожно отодвигает бутылку, в глазах жаждущего — отчаяние. И пошла ребяческая забава, некая пантомима, такая неправдоподобная в табачном дыму, в бессонную ночь, когда тяжелеет голова от усталости и уже скоро идти в атаку.

Мы играем здесь, в тепле, в трюме нашего корабля, а снаружи все чаще грохочут взрывы, словно бьет штормовая волна.

Скоро эти люди омоются — пот, хмель, грязь, которой зарастаешь, подолгу чего-то ожидая, — все растворится в едком, жгучем спирту ночного боя. Очищение уже так близко. Но они все еще, до последней минуты, разыгрывают веселую пантомиму пьяницы с бутылкой. До последней минуты продолжают партию в шахматы. Пусть, сколько можно, длится жизнь! Но они завели будильник, он возвы-

шается на этажерке, точио владыка иа престоле. И он позвоиит. Тогда люди встаиут с мест, расправят плечи, затяиут ремии. Капитаи вытащит револьвер. Пьяиый протрезвеет. И все не спеша двииутся по узкому коридору, полого уходящему вверх, к голубому луииому прямоугольнику. Скажут какие-нибудь самые простые слова: «Чертова атака...» или: «Ну и холодище!» И каиут в иочь.

В урочиый час я видел пробуждеиие сержанта. Он спал в тесиоте этого подвала иа железиой койке. Я смотрел иа спящего. Мие так зиаком был этот сои, иичуть не тревѳжиый, даже счастливый. Вспомиился первый деиь после катастрофы в Ливийской пустыие, когда мы с Прево, обречениые, без капли воды, еще ие слишком страдали от жажды и иам удалось — одии только раз! — проспать два часа кряду. И тогда, засыпая, я наслаждался своим могуществом: чудесиой властью отринуть окружающий мир. Мое тело еще ие доставляло мие хлопот, и довольно было уткиуться лицом в скрещеиные руки, чтоб забыть обо всем иа свете и усиуть сладким сном.

Так спал и сержаит, ои свериулся в клубок — ие разберешь, где что; когда подошли его будить, зажгли свечу и воткиули ее в горлышко бутылки, я сперва только и разглядел в этой бесформеииой темиой глыбе его башмаки. Огромиые, с подковами, подбитые гвоздями башмаки подеищика или докера.

Обувь этого человека предиазиачалась для тяжелой работы, и все остальиое иа ием тоже было рабочим сиаряжением: подсумки, револьверы, пояс, ремии. На нем были шлея, хомут, вся сбруя ломового коия. В Марокко я видел подземиые мельиицы, там слепые лошади ходили по кругу, вращая жериова. Вот и здесь, при иеверном красноватом

огоньке свечи, будили слепую лощадь, чтоб она вращала свой жернов.

— Эй, сержант!

Он медленно шевельнулся, забормотал что-то невнятное, я увидел сонное лицо. Но он не хотел просыпаться, он опять отвернулся к стене и погрузился в сон, будто в безмятежный покой материнского чрева, будто в омут, и сжимал кулаки, словно цеплялся там, на дне, за неведомые черные водоросли. Пришлось разжать ему пальцы. Мы присели на койку, один из нас тихонько обхватил его шею и, улыбаясь, приподнял тяжелую голову. Так в добром тепле конюшни ласково тычутся друг в дружку мордами лошади. «Эй, приятель!» Никогда в жизни не видывал я ласки нежнее. Сержант еще раз попытался вернуться к блаженным снам, отвергнуть наш мир с его динамитом, тяжким трудом, леденящим холодом ночи... но поздно. Что-то извне уже вторгалось в его сны. Так воскресным утром в коллеже звонок неотвратимо будит наказанного школьника. Он успел забыть парту, классную доску, заданный в наказание урок. Ему снились веселые игры на зеленом лугу; но все напрасно. Звонок звонит и звонит и безжалостно возвращает его в царство людской несправедливости. Так и сержант понемногу заново свыкался со своим усталым телом, оно ему в тягость, и очень скоро, вслед за холодом пробуждения, оно узнáет ноющую боль в суставах и груз снаряжения, а там — тяжкий бег атаки — и смерть. Не столько даже смерть, как липкую кровь, в которой скользишь ладонями, пытаясь подняться, и удушье, и леденящий холод: ощущаешь не столько самую смерть, но уж очень неуютно умирать. Я смотрел на сержанта и вспоминал, каково было мне просыпаться в пустыне, вновь ощущать бремя жажды, солнца, песка, вновь ощущать бремя жиз-

ни — возвращаться в этот тяжелый сон, который видишь не по своей воле.

Но вот сержант поднялся и смотрит нам прямо в глаза.

— Уже пора?

Тут-то и раскрывается человек. Тут-то он и опрокидывает все предсказания здравого смысла: сержант улыбался! Что за радость он предвкушал? Помню, однажды в Париже мы с Мермозом и еще несколько друзей справляли чей-то день рожденья и далеко за полночь вышли из бара, злясь на себя за то, что слишком много говорили, слишком много пили и без толку вымотались. А небо уже светлело, и вдруг Мермоз стиснул мою руку, да так, что впился в нее ногтями. «Послушай, а ведь сейчас в Дакаре...» В этот час механики протирают спросонья глаза и расчехляют винты самолетов, в этот час пилот идет к синоптикам за сводкой, по земле шагают сейчас только твои товарищи. Небо уже голубело, уже шли приготовления к празднику — но не для нас, уже расстилали скатерть, а мы не были приглашены на пир. Сегодня жизнью будут рисковать другие...

— А здесь — экая гнусность... — докончил Мермоз.

А ты, сержант, на какое пиршество ты приглашен, ради которого не жаль умереть?

Я уже говорил с тобой по душам. Ты поведал мне историю своей жизни: был ты скромный счетовод где-то в Барселоне, выводил цифру за цифрой, и тебя мало занимала распря, расколовшая страну надвое. Но вот товарищ ушел добровольцем на фронт, потом другой, третий, и ты с недоумением ощутил в себе перемену: все, что прежде тебя за-

нимало, стало казаться пустым и никчемным. Твои радости и заботы, твой уютный мирок — все это словно отодвинулось в далекое прошлое. Важно оказалось совсем другое. Тут пришла весть о смерти одного из товарищей, он погиб под Малагой. Он не был тебе другом, за которого непременно надо отомстить. А что до политики, она никогда тебя не волновала. Но эта весть ворвалась к вам, в ваши тихие будни, точно ветер с моря. В то утро один из товарищей поглядел на тебя и сказал:

— Пошли?

— Пошли.

И вы пошли.

Предо мной возникают образы, помогающие понять истину, которую ты не умел высказать словами, но которая властно тебя вела.

Когда приходит пора диким уткам лететь в дальние страны, на всем их пути прокатывается по земле тревожная волна. Домашние утки, словно притянутые летящим треугольником, неуклюже подскакивают и хлопают крыльями. Клики тех, в вышине, пробуждают и в них что-то давнее, первобытное. И вот мирные обитательницы фермы на краткий миг становятся перелетными птицами. И в маленькой глупой голове, только и знающей, что жалкую лужу, да червей, да птичник, встают нежданные картины — ширь материков, очертанья морей, и манит ветер вольных просторов. Утка и не подозревала, что в голове у нее может уместиться столько чудес, — и вот она хлопает крыльями: что́ ей зерно, что́ ей червяки, она хочет стать дикой уткой...

А еще мне вспоминаются газели, ручные газели, которых я завел в Джуби. У нас у всех там были газели. Мы держали их в просторном загоне, обнесенном проволочной сеткой, чтоб у них было вдоволь воздуха, ведь газели очень нежны, и надо,

чтоб их постоянно омывали струи ветра. Но все же, если поймать их еще маленькими, они живут и в неволе и едят из рук. Они позволяют себя гладить и тычутся влажной мордочкой тебе в ладонь. И воображаешь, будто и впрямь их приручил. Будто уберег их от неведомой скорби, от которой газели угасают так тихо и так кротко... А потом однажды застаешь их в том конце загона, за которым начинается пустыня, они упираются рожками в сетку. Их тянет туда, как магнитом. Они не понимают, что бегут от тебя. Ты принес им молока — они его выпили. Они все еще позволяют себя погладить и ласковей прежнего тычутся мордочкой тебе в ладонь... Но, едва их оставишь, они пускаются вскачь, как будто даже весело, и вот уже снова застаешь их на том же месте в конце загона. И если не вмешаться, они так и останутся там, даже не пытаясь одолеть преграду — просто будут стоять, понурясь, упершись рожками в сетку, пока не умрут. Быть может, для них пришла пора любви? Или попросту им непременно надо мчаться, мчаться во весь дух? Они и сами не знают. Они попали в плен совсем крохотными, еще слепыми. Им не знакомы ни приволье бескрайних песков, ни запах самца. Но ты понятливей их. Ты знаешь, чего они ищут — простора, без которого газель еще не газель. Они хотят стать газелями и предаваться своим пляскам. Хотят мчаться по прямой — сто километров в час! — порой высоко взлетая, словно вдруг прямо из-под ног взметнулось пламя. Не беда, что есть на свете шакалы, ведь в том истина газелей, чтобы пугаться, от страха они превзойдут сами себя в головокружительных прыжках. Не беда, что есть на свете лев, ведь в том истина газелей, чтобы упасть на раскаленный песок под ударом когтистой лапы! Смотришь на них и думаешь: их сжигает тоска.

Тоска — это когда жаждешь чего-то, сам не знаешь чего... Оно существует, это неведомое и желанное, но его не высказать словом.

Ну, а мы? Чего не хватает нам?

Что ты нашел здесь, на фронте, сержант, откуда эта спокойная уверенность, что именно здесь твое место и твоя судьба? Быть может, ею тебя одарила братская рука, приподнявшая твою сонную голову, быть может — улыбка, полная той нежности, в которой не сочувствие, но равенство? «Эй, товарищ!..» Когда кому-то сочувствуешь, вас еще двое. Вы еще врозь. Но бывает та высота отношений, когда благодарность и жалость теряют смысл. И, поднявшись до нее, дышишь легко и радостно, как узник, вышедший на волю.

Так нераздельны были мы, два пилота, летевшие над еще не покоренным в ту пору районом Рио-де-Оро. Никогда я не слыхал, чтобы потерпевший аварию благодарил спасителя. Куда чаще, с трудом перетаскивая из одного самолета в другой тюки с почтой, мы еще и переругиваемся: «Сукин ты сын! Это из-за тебя я сел в калошу, дернул тебя черт залезть на высоту в две тысячи, когда там ветер навстречу! Шел бы пониже, как я, уж давно были бы в Порт-Этьене!» И тот, кто, спасая товарища, рисковал жизнью, со стыдом чувствует, что он и впрямь подлец и сукин сын. Да и за что нам его благодарить. Ведь и у него такие же права на нашу жизнь. Все мы — ветви одного дерева. И я гордился тобой, моим спасителем!

Отчего бы тому, кто готовил тебя к смерти, жалеть тебя, сержант? Все вы готовы были умереть друг за друга. В такую минуту людей соединяют узы, которым уже не нужны слова. И я понял,

почему ты пошел воевать. Если в Барселоне ты был бедняком, и тебе после работы бывало одиноко, и не было у тебя теплого пристанища, то здесь ты поистине стал человеком, ты приобщился к большому миру — и вот тебя, отверженного, приемлет любовь.

Мне наплевать, искренни ли, разумны ли были высокие слова, которые, возможно, заронил тебе в душу кто-то из политиков. Раз эти семена принялись у тебя в душе и дали ростки, значит, они-то и были ей нужны. Об этом судить только тебе. Земля сама знает, какое ей нужно зерно.

3

Мы дышим полной грудью лишь тогда, когда связаны с нашими братьями и есть у нас общая цель; и мы знаем по опыту: любить — это не значит смотреть друг на друга, любить — значит вместе смотреть в одном направлении. Товарищи лишь те, кто единой связкой, как альпинисты, совершают восхождение на одну и ту же вершину, — так они и обретают друг друга. А иначе в наш век — век комфорта — почему нам так отрадно делиться в пустыне последним глотком воды? Не малость ли это перед пророчествами социологов? А нам, кому выпало счастье выручать товарищей в песках Сахары, всякая другая радость кажется просто жалкой.

Быть может, потому-то все в мире сейчас трещит и шатается. Каждый страстно ищет веры, которая сулила бы ему полноту души. Мы яростно спорим, слова у нас разные, но за ними — те же порывы и стремления. Нас разделяют методы — плод рассуждений, но цели у нас одни.

Так чему же тогда удивляться. Кто в Барселоне, в подвале анархистов, встретясь с этой готовностью пожертвовать собой, выручить товарища, с этой суровой справедливостью, ощутил однажды, как в нем пробуждается некто совсем новый, незнакомый, для того отныне существует лишь одна истина — истина анархистов. А кому довелось однажды стоять на часах в испанском монастыре, охраняя перепуганных коленопреклоненных монахинь, тот умрет за церковь.

Если бы сказать Мермозу, когда он, в сердце своем торжествуя победу, ринулся с высоты Анд в долину Чили, если бы сказать ему: чудак, да стоит ли рисковать жизнью ради писем какого-нибудь торгаша, — Мермоз бы только усмехнулся. Истина — это человек, который рождался в нем, когда он летел через Анды.

Если вы хотите убедить того, кто не отказывается от войны, что война ужасна и отвратительна, не считайте его варваром — прежде чем судить, постарайтесь его понять.

Задумайтесь хотя бы над таким случаем. Один офицер с юга во время боев с риффами командовал постом, зажатым между двух горных хребтов, где находились повстанцы. Однажды вечером он принимал парламентеров с западных гор. Как полагается, пили чай, и вдруг началась ружейная пальба. На пост напали племена с восточных гор. Капитан хотел спровадить парламентеров и принять бой, но они возразили: «Сегодня мы твои гости. Бог не позволяет нам тебя покинуть...» И они присоединились к его солдатам, помогли отстоять пост и тогда лишь вернулись в свое орлиное гнездо.

А потом они в свою очередь собрались атаковать пост — и накануне отрядили к капитану послов:

— В тот вечер мы тебе помогли...

— Это верно.

— Ради тебя мы извели три сотни патронов...

— Это верно.

— По справедливости ты должен их нам вернуть.

Нет, капитан благороден, он не станет извлекать выгоду из их великодушия. И он отдает патроны, зная, что стрелять будут в него.

Истина человека — то, что делает его человеком. Кто изведал такое благородство человеческих отношений, такую верность правилам игры, уважение друг к другу, что превыше жизни и смерти, тот не станет равнять эти чувства с убогим добродушием демагога, который в знак братской нежности стал бы похлопывать тех же арабов по плечу, льстя им и в то же время их унижая. Начните спорить о войне с таким капитаном, и он ответит вам лишь презрительной жалостью. И будет прав.

Но и вы тоже правы, когда ненавидите войну.

Чтобы понять человека, его нужды и стремления, постичь самую его сущность, не надо противопоставлять друг другу ваши очевидные истины. Да, вы правы. Все вы правы. Логически можно доказать все что угодно. Прав даже тот, кто во всех несчастьях человечества вздумает обвинить горбатых. Довольно объявить войну горбатым — и мы сразу воспылаем ненавистью к ним. Мы начнем жестоко мстить горбунам за все их преступления. А среди горбунов, конечно, тоже есть преступники.

Чтобы понять, в чем же сущность человека, надо хоть на миг забыть о разногласиях, ведь всякая теория и всякая вера устанавливают целый Коран незыблемых истин, а они порождают фанатизм. Можно делить людей на правых и левых, на горбатых и негорбатых, на фашистов и демократов —

и любое такое деление не опровергнешь. Но истина, как вы знаете, это то, что делает мир проще, а отнюдь не то, что обращает его в хаос. Истина — это язык, помогающий постичь всеобщее. Ньютон вовсе не «открыл» закон, долго остававшийся тайной, — так только ребусы решают, а то, что совершил Ньютон, было творчеством. Он создал язык, который говорит нам и о падении яблока на лужайку, и о восходе солнца. Истина — не то, что доказуемо, истина — это простота.

К чему спорить об идеологиях? Любую из них можно подкрепить доказательствами, и все они противоречат друг другу, и от этих споров только теряешь всякую надежду на спасение людей. А ведь люди вокруг нас, везде и всюду, стремятся к одному и тому же.

Мы хотим свободы. Тот, кто работает киркой, хочет, чтобы в каждом ударе кирки был смысл. Когда киркой работает каторжник, каждый ее удар только унижает каторжника, но если кирка в руках изыскателя, каждый ее удар возвышает изыскателя. Каторга не там, где работают киркой. Она ужасна не тем, что это тяжкий труд. Каторга там, где удары кирки лишены смысла, где труд не соединяет человека с людьми.

А мы хотим бежать с каторги.

В Европе двести миллионов человек бессмысленно прозябают и рады бы возродиться для истинного бытия. Промышленность оторвала их от той жизни, какую ведет, поколение за поколением, крестьянский род, и заперла в громадных гетто, похожих на сортировочные станции, забитые вереницами черных от копоти вагонов. Люди, похороненные в рабочих поселках, рады бы пробудиться к жизни.

Есть и другие, кого затянула нудная, однообраз-

ная работа, им недоступны радости первооткрывателя, верующего, ученого. Кое-кто вообразил, будто возвысить этих людей не так уж трудно, надо лишь одеть их, накормить, удовлетворить их повседневные нужды. И понемногу вырастили из них мещан в духе романов Куртелина, деревенских политиков, узколобых специалистов без каких-либо духовных интересов. Это люди неплохо обученные, но к культуре они еще не приобщились. У тех, для кого культура сводится к затверженным формулам, представление о ней самое убогое. Последний школяр на отделении точных наук знает о законах природы куда больше, чем знали Декарт и Паскаль. Но способен ли школяр мыслить, как они?

Все мы — кто смутно, кто яснее — ощущаем: нужно пробудиться к жизни. Но сколько открывается ложных путей... Конечно, людей можно воодушевить, обрядив их в какую-нибудь форму. Они станут петь воинственные песни и преломят хлеб в кругу товарищей. Они найдут то, чего искали, ощутят свое единение и общность. Но этот хлеб принесет им смерть.

Можно откопать забытых деревянных идолов, можно воскресить старые-престарые мифы, которые, худо ли, хорошо ли, себя уже показали, можно снова внушить людям веру в пангерманизм или в Римскую империю. Можно одурманить немцев спесью от того, что они — немцы и соотечественники Бетховена. Так можно вскружить голову и последнему трубочисту. И это куда проще, чем в трубочисте пробудить Бетховена.

Но эти идолы — идолы плотоядные. Человек, который умирает ради научного открытия или ради того, чтобы найти лекарство от тяжкого недуга, самой смертью своей служит делу жизни. Быть мо-

жет, это и красиво — умереть, чтобы завоевать новые земли, но современная война разрушает все то, ради чего она будто бы ведется. Ныне речь уже не о том, чтобы, пролив немного жертвенной крови, возродить целый народ. С того часа, как оружием стали самолет и иприт, война сделалась просто бойней. Враги укрываются за бетонными стенами, и каждый, не умея найти лучший выход, ночь за ночью шлет эскадрильи, которые подбираются к самому сердцу врага, обрушивают бомбы на его жизненные центры, парализуют промышленность и средства сообщения. Победа достанется тому, кто сгниет последним. И оба противника гниют заживо.

Мир стал пустыней, и все мы жаждем найти в ней товарищей; ради того, чтобы вкусить хлеба среди товарищей, мы и приемлем войну. Но, чтобы обрести это тепло, чтобы плечом к плечу устремиться к одной и той же цели, вовсе незачем воевать. Мы обмануты. Война и ненависть ничего не прибавляют к радости общего стремительного движения.

Чего ради нам ненавидеть друг друга? Мы все заодно, уносимые одной и той же планетой, мы — команда одного корабля. Хорошо, когда в споре между различными цивилизациями рождается нечто новое, более совершенное, но чудовищно, когда они пожирают друг друга.

Чтобы нас освободить, надо только помочь нам увидеть цель, к которой мы пойдем бок о бок, соединенные узами братства, — но тогда почему бы не искать такую цель, которая объединит всех? Врач, осматривая больного, не слушает стонов: врачу важно исцелить человека. Врач служит законам всеобщего. Им служит и физик, выводящий

почти божественные уравнения, в которых разом определена сущность атома и звездной туманности. Им служит и простой пастух. Сто́ит тому, кто скромно стережет под звездным небом десяток овец, осмыслить свой труд, — и вот он уже не просто слуга. Он — часовой. А каждый часовой в ответе за судьбы империи.

Вы думаете, пастух не стремится осмыслить себя и свое место в жизни? На фронте под Мадридом я побывал в школе — была она на пригорке, за низенькой оградой, сложенной из камня, от окопов ее отделяло метров пятьсот. В этой школе один капрал преподавал ботанику. В грубых руках капрала был цветок мака, он осторожно разнимал лепестки и тычинки, и со всех сторон, из окопной грязи, под грохот снарядов к нему стекались заросшие бородами паломники. Они окружали капрала, усаживались прямо на земле, поджав ноги, подперев ладонью подбородок, и слушали. Они хмурили брови, стискивали зубы, урок был им не очень-то понятен, но им сказали: «Вы темные, вы звери, вы только вылезаете из своего логова, нужно догонять человечество!» — и, тяжело ступая, они спешили вдогонку.

Когда мы осмыслим свою роль на земле, пусть самую скромную и незаметную, тогда лишь мы будем счастливы. Тогда лишь мы сможем жить и умирать спокойно, ибо то, что дает смысл жизни, дает смысл и смерти.

Человек отходит с миром, когда смерть его естественна, когда где-нибудь в Провансе старый крестьянин в конце своего царствования отдает сыновьям

иа храиеиие своих коз и свои оливы, чтобы сыиовья в должиый срок передали их сыиовьям своих сыиовей. В крестьяиском роду человек умирает лишь иаполовииу. В урочиый час жизиь распадается, как стручок, отдавая зериа.

Одиажды мие случилось стоять с тремя крестьяиами у смертиого ложа их матери. Это было горько, что говорить. Вторичио рвалась пуповииа. Вторичио развязывался узел, соедииявший поколеиие с поколеиием. Сыиовьям вдруг стало одииоко, оии себе показались иеумелыми, беспомощиыми, больше ие было того стола, за которым в праздиик сходилась вся семья, того магиита, который их всех притягивал. А я видел, что здесь ие только рвутся связующие иити, ио и вторичио дается жизиь. Ибо каждый из сыиовей в свой черед стаиет главою рода, патриархом, вокруг которого будет собираться семья, а когда иастаиет срок, и ои в свой черед передаст бразды правлеиия детишкам, что играют сейчас во дворе.

Я смотрел иа мать, иа старую крестьяику с лицом спокойным и суровым, иа ее плотио сжатые губы — ие лицо, а маска, высечеииая из камия. И в нем я узиавал черты сыиовей. Их лица — слепок с этой маски. Это тело формовало их тела — отличио вылеплеииые, крепкие, мужествеииые. И вот оио лежит, лишеииое жизии, ио это — безжизиеииость распавшейся оболочки, из которой извлекли зрелый плод. И в свой черед ее сыиовья и дочери из плоти своей слепят иовых людей. В крестьяиском роду ие умирают. Мать умерла, да здравствует мать!

Да, это горько, ио так просто и естествеиио — мериая поступь рода: оставляя иа пути одиу за другой бреииые оболочки поседелых тружеииков, постояиио обиовляясь, движется ои к иеведомой истиие.

Вот почему в тот вечер в похоронном звоне, плывшем над деревушкой, мне слышалась не скорбь, а затаенная кроткая радость. Колокол, что славил одним и тем же звоном похороны и крестины, вновь возвещал о смене поколений. И тихой умиротворенностью наполняла душу эта песнь во славу обручения старой труженицы с землей.

Так от поколения к поколению передается жизнь — медленно, как растет дерево, — а с нею передается и сознание. Какое поразительное восхождение! Из расплавленной лавы, из того теста, из которого слеплены звезды, из чудом зародившейся живой клетки вышли мы — люди — и поднимались все выше, ступень за ступенью, и вот мы пишем кантаты и измеряем созвездия.

Старая крестьянка передала детям не только жизнь, она их научила родному языку, доверила им богатство, копившееся медленно, веками: духовное наследство, что досталось ей на сохранение — скромный запас преданий, понятий и верований, все, что отличает Ньютона и Шекспира от первобытного дикаря.

Тот голод, что под обстрелом гнал бойцов Испании на урок ботаники, что гнал Мермоза к Южной Атлантике, а иного — к стихам, — это вечное чувство неутоленности возникает потому, что человек в своем развитии далеко еще не достиг вершины, и нам надо еще понять самих себя и Вселенную. Надо перебросить мостки во тьме. Этого не признают лишь те, кто мудростью почитает себялюбивое равнодушие; но такая мудрость — жалкий обман. Товарищи, товарищи мои, беру вас в свидетели: какие часы нашей жизни самые счастливые?



4

И вот на последних страницах этой книги я опять вспоминаю состарившихся чиновников — наших провожатых на рассвете того дня, когда нам наконец-то впервые доверили почтовый самолет и мы готовились стать людьми. А ведь и они были во всем подобны нам, но они не знали, что голодны.

Слишком много в мире людей, которым никто не помог пробудиться.

Несколько лет назад, во время долгой поездки по железной дороге, мне захотелось осмотреть это государство на колесах, в котором я очутился на трое суток; трое суток некуда было деться от неумолчного перестука и грохота, словно морской прибой перекатывал гальку, и мне не спалось. Около часу ночи я прошел весь поезд из конца в конец. Спальные вагоны пустовали. Пустовали и вагоны первого класса.

А в вагонах третьего класса ютились сотни рабочих-поляков, их выслали из Франции, и они возвращались на родину. В коридорах мне приходилось переступать через спящих. Я остановился и при свете ночников стал присматриваться; вагон был без перегородок, точно казарма, и пахло здесь казармой или полицейским участком, и ходом поезда мотало и подбрасывало сваленные усталостью тела.

Целый народ, погруженный в тяжелый сон, возвращался к горькой нищете. Большие, наголо обритые головы перекатывались на деревянных скамьях. Мужчины, женщины, дети ворочались с боку на бок, словно пытаясь укрыться от непрерывного грохота

и тряски, что преследовали их и в забытьи. Даже сон не был им надежным приютом.

Экономические приливы и отливы швыряли их по Европе из края в край, они лишились домика в департаменте Нор, крохотного садика, трех горшков герани, какие я видел когда-то в окнах польских шахтеров, — и мне казалось, они наполовину потеряли и человеческий облик. Они захватили с собой лишь кухонную утварь, одеяла да занавески, жалкие пожитки в расползающихся, кое-как стянутых узлах. Пришлось бросить все, что было им дорого, все, к чему они привязались, всех, кого приручили за четыре-пять лет во Франции, — кошку, собаку, герань, — они могли увезти с собой лишь кастрюли да сковородки.

Мать кормила грудью младенца; смертельно усталая, она казалась спящей. Среди бессмыслицы и хаоса этих скитаний передавалась ребенку жизнь. Я посмотрел на отца. Череп тяжелый и голый, как булыжник. Скованное сном в неловкой позе, стиснутое рабочей одеждой бесформенное и неуклюжее тело. Не человек — ком глины. Так по ночам на скамьях рынка грудами тряпья валяются бездомные бродяги. И я подумал: нищета, грязь, уродство — не в этом дело. Но ведь вот этот человек и эта женщина когда-то встретились впервые, и, наверно, он ей улыбнулся и, наверно, после работы принес ей цветы. Быть может, застенчивый и неловкий, он боялся, что над ним посмеются. А ей, уверенной в своем обаянии, из чисто женского кокетства, быть может, приятно было его помучить. И он, превратившийся ныне в машину, только и способную ковать или копать, томился тревогой, от которой сладко сжималось сердце. Непостижимо, как же они оба превратились в комья грязи? Под какой страшный пресс они попали? Что их так исковерка-

ло? Животное и в старости сохраняет изящество. Почему же так изуродована благородная глина, из которой вылеплен человек?

Я шел дальше среди своих попутчиков, спавших тяжелым, беспокойным сном. Храп, стоны, невнятное бормотанье, скрежет грубых башмаков по дереву, когда спящий, пытаясь устроиться поудобнее на жесткой лавке, переворачивается с боку на бок, — все сливалось в глухой, непрестанный шум. А за всем этим — неумолчный рокот, будто перекатывается галька под ударами прибоя.

Сажусь напротив спящей семьи. Между отцом и матерью кое-как примостился малыш. Но вот он поворачивается во сне, и при свете ночника я вижу его лицо. Какое лицо! От этих двоих родился на свет чудесный золотой плод. Эти бесформенные тяжелые кули породили чудо изящества и обаяния. Я смотрел на гладкий лоб, на пухлые нежные губы и думал: вот лицо музыканта, вот маленький Моцарт, он весь — обещание! Он совсем как маленький принц из сказки, ему бы расти, согретому неусыпной разумной заботой, и он бы оправдал самые смелые надежды! Когда в саду, после долгих поисков, выведут наконец новую розу, все садовники приходят в волнение. Розу отделяют от других, о ней неусыпно заботятся, холят ее и лелеют. Но люди растут без садовника. Маленький Моцарт, как и все, попадет под тот же чудовищный пресс. И станет наслаждаться гнусной музыкой низкопробных кабаков. Моцарт обречен.

Я вернулся в свой вагон. Я говорил себе: эти люди не страдают от своей судьбы. И не сострадание меня мучит. Не в том дело, чтобы проливать слезы над вечно не заживающей язвой. Те, кто ею поражен, ее не чувствуют. Язва поразила не отдельного человека, она разъедает человечество. И не верю я

в жалость. Меня мучит забота садовника. Меня мучит не вид нищеты, — в конце концов люди свыкаются с нищетой, как свыкаются с бездельем. На Востоке многие поколения живут в грязи и отнюдь не чувствуют себя несчастными. Того, что меня мучит, не излечить бесплатным супом для бедняков. Мучительно не уродство этой бесформенной, измятой человеческой глины. Но в каждом из этих людей, быть может, убит Моцарт.

Один лишь Дух, коснувшись глины, творит из нее Человека.

ВОЕННЫЙ ЛЕТЧИК

Майору Алиасу, всем моим товарищам по авиагруппе дальней разведки 2/33, и прежде всего штурману капитану Моро и штурманам лейтенантам Азамбру и Дютертру, вместе с которыми во время войны 1939—1940 годов я поочередно вылетал на боевые задания и которым до конца жизни я остаюсь верным другом.



I

Это, конечно, сон. Я в коллеже. Мне пятнадцать лет. Я усердно решаю задачу по геометрии. Облокотившись на черную парту, я старательно орудую циркулем, линейкой, транспортиром. Я сосредоточен и спокоен. Рядом перешептываются товарищи. Кто-то выводит столбики цифр на классной доске. Менее прилежные играют в карты. Время от времени я глубже погружаюсь в свой сон и поглядываю в окно. На солнце тихонько колышется зеленая ветка. Я долго смотрю на нее. Я рассеянный ученик... Я радуюсь этому солнцу и упиваюсь запахами детства: запахом парты, мела, классной доски. Как хорошо, что я могу укрыться в этом надежно защищенном детстве! Я знаю: сперва детство, школа, товарищи, потом приходит день экзаменов. Ты получаешь диплом. И с замиранием сердца переступаешь порог, за которым становишься мужчиной. Отныне ты тверже ступаешь по земле. Ты начинаешь свой жизненный путь. Ты уже делаешь первые шаги. Наконец ты проверишь свое оружие на настоящих противниках. Линейка, угольник, циркуль, — с их помощью ты будешь строить мир или побеждать врагов. Конец забавам!

Я знаю, обычно школьника не пугает встреча с жизнью. Ему не сидится на месте. Муки, опасности, разочарования — все, чем полна жизнь взрослого, школьнику нипочем.

Но я странный школьник. Я счастлив тем, что я школьник, и не слишком тороплюсь вступать в жизнь...

Приходит Дютертр. Я подзываю его.

— Садись, я покажу тебе фокус...

И я страшно доволен, когда вытаскиваю из колоды задуманного им пикового туза.

Дютертр сидит против меня на такой же черной парте и болтает ногами. Он смеется. Я скромно улыбаюсь. Подходит Пенико и кладет руку мне на плечо.

— Ну что, дружище?

Сколько во всем этом нежности!

Надзиратель (а надзиратель ли это?..) открывает дверь и вызывает двух товарищей. Они бросают линейки, циркули, поднимаются и выходят. Мы провожаем их взглядом. Со школой для них покончено. Их бросают в жизнь. Теперь пригодятся их знания. Теперь они, как взрослые, смогут проверить свои расчеты на противнике. Странная школа, откуда учеников выпускают поодиночке. И без торжественных проводов. Эти двое даже не взглянули на нас. А ведь судьба, возможно, закинет их далеко-далеко. На край света! Когда после школы жизнь разбрасывает людей, могут ли они поручиться, что свидятся вновь?

А мы, те, что остаемся еще в мирном уюте теплицы, мы опускаем головы...

— Послушай, Дютертр, сегодня вечером...

Но дверь отворяется снова. И я слышу словно приговор:

— Капитана де Сент-Экзюпери и лейтенанта Дютертра — к майору!

Прощай, школа. Начинается жизнь.

— Ты знал, что наша очередь?

— Пенико уже летал сегодня утром.

Если нас вызывают, значит, мы летим на задание — это ясно. Конец мая, отступление, разгром. В жертву приносят экипажи, словно стаканом воды пытаются затушить лесной пожар. Где уж думать о потерях, когда все идет прахом. На всю Францию нас осталось пятьдесят экипажей дальней разведки. Пятьдесят экипажей по три человека, из них двадцать три — в нашей авиагруппе 2/33. За три недели из двадцати трех экипажей мы потеряли семнадцать. Мы растаяли, как свеча. Вчера я сказал лейтенанту Гавуалю:

— Разберемся после войны.

И лейтенант Гавуаль мне ответил:

— Уж не расчитываете ли вы, господин капитан, остаться в живых?

Гавуаль не шутил. Мы прекрасно понимаем, что нет иного выхода, как бросить нас в пекло, даже если это и бесполезно. Нас пятьдесят на всю Францию. На наших плечах держится вся стратегия французской армии! Пылает огромный лес, и есть несколько стаканов воды, которыми можно пожертвовать, чтобы затушить пожар, — ясно, что ими пожертвуют.

И это правильно. Разве кто-нибудь жалуется? Разве мы не отвечаем неизменно: «Слушаюсь, господин майор. Так точно, господин майор. Благодарю вас, господин майор. Ясно, господин майор»? Но теперь, в последние месяцы войны, над всем преобладает одно ощущение. Ощущение нелепости. Все трещит. Все рушится. Все без исключения, — даже

смерть кажется иелепой. Оиа бессмысленна в этой неразберихе...

Входим к майору Алиасу. (Ои и поныие командует в Тунисе той же авиагруппой 2/33.)

— Здравствуйте, Сент-Экс. Здравствуйте, Дютертр. Садитесь.

Мы садимся. Майор разворачивает карту и обращается к посыльиому:

— Дайте сюда метеосводку.

Ои постукивает караидашом по столу. Я смотрю иа иего. Ои осуиулся. Ои ие спал иочь. Ои мотался взад и вперед иа машиие в поисках ускользающего, как призрак, штаба — штаба дивизии, штаба корпуса... Ои пытался бороться со складами сиабжеиия, которые ие обеспечивали его запасиыми частями. По дороге ои застревал в иепроходимых заторах. Ои оргаиизовал также нашу последиюю передислокацию и размещеиие иа новой базе — мы то и дело меияем аэродромы, словио горемыки, преследуемые иепреклоииым судебиым исполиителем. До сих пор Алиасу всегда удавалось спасти свои самолеты, грузовики и десять тоии воеииого имущества. Но мы поиимаем: силы его иа исходе, иервы уже ие выдерживают.

— Ну, так вот...

Ои все стучит и стучит по столу, ие глядя иа иас.

— Дело очеиь сквериое...

Ои пожимает плечами.

— Сквериое задаиие. Но в штабе иастаивают... Упорио иастаивают... Я возражал, ио оии настаивают... Вот так-то.

Мы с Дютертром смотрим в окио — иебо ясиое. Я слышу, как кудахчут куры: комаидиый пункт помещается на ферме, а отдел. разведки — в школе. Лето, зреющие плоды, прибавляющие в весе цып-

лята, колосящиеся хлеба — все это вполне уживается во мне с мыслью о близкой смерти. По-моему, покой этого лета никак не противоречит смерти, и в сладости окружающего я не вижу ни малейшей иронии. Но у меня мелькает смутная мысль: «Лето какое-то ненормальное... Лето попало в аварию». Я видел брошенные молотилки. Брошенные комбайны. В придорожных канавах — разбитые и брошенные автомобили. Брошенные деревни. В одной опустевшей деревне из колонки все еще лилась вода. Чистая вода, стоившая человеку стольких забот, растекалась грязной лужей. Передо мной возникает вдруг нелепый образ: мне чудятся испорченные часы. Будто испорчены все часы. Часы деревенских церквей. Вокзальные часы. Каминные часы в покинутых домах. И в витрине сбежавшего часовщика — целое кладбище мертвых часов. Война... никто больше не заводит часов. Никто не убирает свеклу. Никто не чинит вагонов. И вода, предназначенная для утоления жажды или для стирки праздничных кружевных нарядов крестьянок, лужей растекается по церковной площади. И летом приходится умирать...

Я словно заболел. И врач только что сказал мне: «Дело очень скверное...» Значит, надо подумать о завещании, о тех, кто остается. Словом, мы с Дютертром поняли, что задание — безнадежное.

— Учитывая обстановку, — заключает майор, — с риском считаться не приходится...

Ну конечно. «Не приходится». И никто тут не виноват. Ни мы — в том, что приуныли. Ни майор — в том, что ему не по себе. Ни штаб — в том, что он отдает приказы. Майор мрачнеет, потому что эти приказы бессмысленны. Мы тоже это знаем, но это известно и штабу. Он отдает приказы, потому что надо отдавать приказы. Во время войны штабу

положено отдавать приказы. Их доставляют прекрасные всадники или, что более современно, мотоциклисты. Там, где царили хаос и отчаяние, один из таких прекрасных всадников соскакивает со взмыленного коня. Словно звезда волхвов, он указывает будущее. Он приносит Истину. И приказы вновь ставят все на свое место.

Такова схема войны. Так ее изображают на лубочных картинках. И каждый изо всех сил старается, чтобы война была похожа на войну. Ревностно, с усердием. Каждый стремится соблюдать все правила игры. Тогда, быть может, эта война соблаговолит походить на войну.

И только ради того, чтобы она походила на войну, бесцельно обрекают на гибель экипажи самолетов. Никто не хочет признать, что эта война ни на что не похожа, что все в ней бессмысленно, что она не укладывается ни в какую схему, что люди с серьезным видом все еще дергают за ниточки, которые уже оторвались от марионеток. Штабы с полной убежденностью рассылают приказы, которые никуда не дойдут. От нас требуют сведений, которые невозможно добыть. Авиация не может взять на себя задачу растолковывать штабам, что творится на войне. По данным авиационной разведки можно лишь проверить предположения штабов. Но никаких предположений больше не существует. А от полусотни летных экипажей фактически требуют, чтобы они придали этой войне некий порядок или систему, которых нет и в помине. К нам обращаются, словно к какому-то племени гадалок. Я гляжу на Дютертра, моего штурмана-гадалку. Вчера он спорил с полковником из дивизии: «Да как же я засеку вам позиции, если буду лететь в десяти метрах от земли со скоростью пятьсот тридцать кило-

метров в час?» — «Позвольте, но вы же увидите, откуда по вас начнут бить! Раз бьют, значит позиции немецкие».

— Ну и ржал же я после этого, — заключил Дютертр.

Дело в том, что французскне солдаты в глаза не видели французских самолетов. Их всего тысяча, и они рассеяны от Дюнкерка до Эльзаса. Вернее говоря, растворены в бесконечностн. Поэтому, когда над фронтом проносится самолет, он наверняка немецкий. И его стараются сбить прежде, чем он успеет сбросить бомбы. Заслышав гул в небе, пулеметы н скорострельные пушкн сразу же открывают огонь.

— Прямо скажем, ценные сведения получают они при такой метóде!.. — добавил Дютертр.

А между тем эти сведения будут приняты в расчет, ибо на войне полагается прнннмать в расчет данные разведки!..

Да, но ведь н вся эта война какая-то ненормальная.

К счастью, — и мы это прекрасно знаем, — ннкто не будет принимать в расчет наши данные. Мы просто не сможем их передать. Дороги забиты. Телефонная связь нарушена. Штаб срочно перебазнруется. Важные сведения о расположении противника предоставит сам противник. На днях под Ланом мы спорили о том, где проходнт линия фронта. Мы направляем лейтенанта к генералу, чтобы установить с ним связь. На полпути между нашей базой и генералом автомобнль лейтенанта натыкается на стоящий поперек шоссе дорожный каток, за которым укрылись две бронемашины. Лейтенант поворачивает обратно. Но пулеметная очередь убивает его наповал и ранит шофера. Бронемашнны оказались немецкими.

В сущности, штаб похож на опытного картежника, с которым стали бы советоваться из соседней комнаты:

— Что мне делать с моей дамой пик?

Тот пожал бы плечами. Что он может ответить, не видя игры?

Но штаб не имеет права пожимать плечами. Если в его руках еще остались какие-то боевые единицы, он обязан пустить их в ход и использовать все возможности, пока война еще ведется. Пусть вслепую, но он обязан действовать сам и побуждать к действию других.

Однако наугад очень трудно решить, что делать с дамой пик. Мы уже отметили, — сперва с удивлением, а потом как нечто само собой разумеющееся, — что, когда начинается разгром, всякая работа прекращается. На первый взгляд может показаться, что побежденного захлестывает поток возникающих проблем, что, силясь разрешить их, он не щадит ни своей пехоты, ни артиллерии, ни танков, ни самолетов... Но поражение прежде всего начисто снимает все проблемы. Все карты смешиваются. Непонятно, что делать с самолетами, с танками, с дамой пик...

Изрядно поломав голову над тем, как бы повыгоднее ею сыграть, карту наугад бросают на стол. Царит не подъем, а растерянность. Подъем сопутствует только победе. Победа цементирует, победа строит. И каждый, не щадя сил, носит камни для ее здания. А поражение погружает людей в атмосферу растерянности, уныния, а главное — бессмыслицы.

Потому что прежде всего они просто бессмысленны, эти наши задания. С каждым днем все более бессмысленны. Все более губительны и все более бессмысленны. У тех, кто отдает приказы, нет иного

средства задержать лавину, как только бросить на стол свои последние козыри.

Мы с Дютертром — козыри, и мы слушаем, что говорит нам майор. Он ставит задачу на сегодняшний день. Мы должны совершить дальний разведывательный полет на высоте десять тысяч метров и на обратном пути, снизившись до семисот метров, засечь скопление танков в районе Арраса. Все это он излагает таким тоном, словно говорит:

« — Потом сверните во вторую улицу направо и идите до первой площади; там, на углу, купите мне в киоске коробку спичек...

— Ясно, господин майор».

Ровно столько же пользы в нашем задании. И в словах, которыми оно излагается, ничуть не больше лиризма.

Я говорю себе: «Безнадежное задание». Я думаю... думаю о многом. Я подожду, если останусь жив, пока наступит ночь, и тогда буду размышлять. Если останусь жив... И с легкого-то задания возвращается один самолет из трех. Когда оно довольно «скверное», вернуться, конечно, труднее. И здесь, в кабинете майора, смерть не кажется мне ни возвышенной, ни великой, ни героической, ни трагичной. Она — лишь признак развала. Его результат. Группа потеряет нас, как теряют багаж в сутолоке железнодорожной пересадки.

Разумеется, у меня есть и совсем иные мысли о войне, о смерти, о самопожертвовании, о Франции, но мне недостает руководящей идеи, ясного языка. Я мыслю противоречиями. Моя истина разъята на куски, и рассматривать их я могу только каждый в отдельности. Если я останусь жив, я подожду, пока наступит ночь, и тогда буду размышлять. Благословенная ночь. Ночью разум спит и вещи предоставлены самим себе. То, что действи-

тельно важно, вновь обретает цельность после разрушительного дневного анализа. Человек вновь соединяет куски своего мира и опять становится спокойным деревом.

День отдается семейным ссорам, ночью же к человеку возвращается Любовь. Потому что Любовь сильнее этого словесного ветра. И человек садится у окна, под звездами, — он снова чувствует ответственность и за спящих детей, и за завтрашний хлеб, и за сон жены, такой хрупкой, нежной и недолговечной. Любовь — о ней не спорят. Она есть. Пусть же наступит ночь, чтобы мне раскрылось нечто достойное любви! Чтобы я задумался о цивилизации, о судьбах человека, о том, как ценят дружбу в моей стране. И чтобы мне захотелось служить некой властной, хотя, быть может, еще и неосознанной истине...

А сейчас я похож на христианина, которого покинула благодать. Я вместе с Дютертром, разумеется, исполню свою роль, исполню ее честно, но так, как свершают обряды, когда в них уже нет религиозного смысла. Когда их уже покинул бог. Если я останусь в живых, я подожду, пока наступит ночь, чтобы немного пройтись по дороге, пересекающей нашу деревню, и там, в моем благословенном одиночестве, я, быть может, пойму, почему я должен умереть.

II

Я пробуждаюсь от своих мечтаний. Майор удивляет меня странным предложением:

— Если у вас уж очень душа не лежит к этому заданию... если вы сегодня не в форме, я могу...

— Что вы, господин майор?

Майор прекрасно знает, что предложение его нелепо. Но когда экипаж не возвращается, все вспоминают, как мрачны были лица людей перед вылетом. Эту мрачность объясняют предчувствием. И корят себя за то, что не посчитались с ней.

Колебания майора напоминают мне об Израэле. Позавчера я курил у окна в отделе разведки. Из окна я увидел Израэля. Он куда-то спешил. Нос у него был красный. Длинный нос, очень еврейский и очень красный. Меня вдруг поразил красный нос Израэля.

К Израэлю, нос которого показался мне таким странным, я питал чувство глубокой дружбы. Он был одним из самых отважных летчиков в нашей группе. Одним из самых отважных и самых скромных. Ему так много говорили о еврейской осторожности, что свою отвагу он принимал за осторожность. Ведь это же осторожно — быть победителем.

Так вот, я заметил его длинный красный нос, который блеснул только на мгновение, потому что Израэль шагал очень быстро и тут же исчез вместе со своим носом. Вовсе не думая шутить, я спросил Гавуаля:

— Почему у него такой нос?

— Таким уж мать его наградила, — ответил Гавуаль. И добавил: — Дурацкое задание на малой высоте. Он сейчас вылетает.

— А!

И вечером, когда мы уже перестали ждать возвращения Израэля, я, разумеется, вспомнил его нос, который, выдаваясь вперед на совершенно бесстрастном лице, сам по себе, с каким-то особым талантом, выражал глубочайшую озабоченность.

Если бы мне пришлось отправлять Израэля на это задание, его нос долго преследовал бы меня, как укор. В ответ на приказание вылететь Израэль, конечно, ответил не иначе, как: «Есть, господин майор», «Слушаюсь, господин майор», «Ясно, господин майор». На лице Израэля, конечно, не дрогнул ни один мускул. Но потихоньку, коварно, предательски начал краснеть его нос. Израэль умел распоряжаться выражением своего лица, но не цветом своего носа. И нос, злоупотребив этим, самовольно вмешался в дело. Нос, без ведома Израэля, безмолвно выразил майору свое крайнее неодобрение.

Быть может, поэтому майор и не любит посылать в полет тех, кого, по его мнению, гнетут предчувствия. Предчувствия почти всегда обманывают, но из-за них боевые приказы начинают звучать как приговоры. Алиас — командир, а не судья.

Вот что произошло на днях с сержантом Т.

Насколько Израэль был отважен, настолько Т. был подвержен страху. Это единственный знакомый мне человек, которого по-настоящему мучил страх. Когда Т. получал боевой приказ, с ним творилось что-то невообразимое. Он просто впадал в транс. Его сковывало оцепенение, оно распространялось медленно и неотвратимо — от ног к голове. С лица словно смывало всякое выражение, а в глазах появлялся блеск.

В противоположность Израэлю, чей нос показался мне таким смущенным, смущенным возможной гибелью Израэля, и в то же время сильно разгневанным, Т. не обнаруживал никакого волнения. Он не реагировал: он сникал. К концу разговора становилось ясно, что Т. просто-напросто охвачен ужасом. И от этого по лицу его разливался какой-то невозмутимый покой. Отныне Т. был как бы недо-

сягаем. Чувствовалось, что между ним и миром расстилается пустыня безразличия. Никогда мне не приходилось наблюдать, чтобы нервное возбуждение проявлялось у кого-либо в такой форме.

— Ни в коем случае нельзя было посылать его в тот день, — говорил впоследствии майор.

В тот день, когда майор объявил ему о вылете, Т. не только побледнел, но даже начал улыбаться. Просто улыбаться. Так, должно быть, улыбаются под пыткой, когда палач уже переходит всякие границы.

— Вам нездоровится. Я вас заменю...

— Нет, господин майор. Раз очередь моя, значит моя.

И Т., вытянувшись перед майором, глядел на него в упор, не шевелясь.

— Но если вы не уверены в себе...

— Сегодня моя очередь, господин майор, моя.

— Послушайте, Т. ...

— Господин майор...

Т. словно превратился в каменную глыбу.

— И я разрешил ему лететь, — добавил Алиас.

То, что произошло потом, так и осталось загадкой. Т., стрелок на борту самолета, обнаружил, что его пытается атаковать вражеский истребитель. Но у этого истребителя заклинило пулеметы, и он повернул обратно. Пилот и Т. переговаривались почти до самого возвращения на базу, причем пилот не заметил ничего необычного. Но за пять минут до посадки стрелок перестал ему отвечать.

А вечером Т. нашли с проломленным черепом, его ударило хвостовым оперением. Он прыгнул с парашютом в труднейших условиях, на полной скорости, причем над своей территорией, когда ему уже не грозила никакая опасность. Появление истре-

бителя было для него призывным сигналом, и он не устоял.

— Идите одеваться, — говорит нам майор, — вылет в пять тридцать.

— До свиданья, господин майор.

Майор отвечает неопределенным жестом. Суеверие? Так как у меня погасла сигарета и я безуспешно шарю в карманах, он добавляет:

— Почему у вас никогда нет спичек?

Он прав. И, напутствуемый этими прощальными словами, я выхожу, спрашивая себя: «Почему у меня никогда нет спичек?»

— Не нравится ему это задание, — замечает Дютертр.

А я думаю: ему наплевать! Но несправедливо осуждая Алиаса, я имею в виду не его. Меня поражает то, чего никто не желает признать: жизнь Духа иногда прерывается. Только жизнь Разума непрерывна или почти непрерывна. Моя способность размышлять не претерпевает больших изменений. Для Духа же важны не сами вещи, а связующий их смысл. Подлинное лицо вещей, которое он постигает сквозь внешнюю оболочку. И Дух переходит от ясновидения к абсолютной слепоте. Настает час, и тот, кто любит свой дом, вдруг обнаруживает, что это не более чем скопище разрозненных предметов. Настает час, и тот, кто любит свою жену, начинает видеть в любви одни лишь заботы, неприятности и неудобства. Настает час, и тот, кто наслаждался какой-то мелодией, становится к ней совершенно равнодушным. Настает час, как сегодня, — и я уже не понимаю свою родину. Родина — это не совокупность провинций, обычаев, предметов, которые всегда может охватить мой разум. Родина — это Сущность. И вот наступает час,

когда я вдруг обнаруживаю, что перестал видеть Сущность.

Майор Алиас провел всю ночь у генерала в чисто логических спорах. А чистая логика разрушает жизнь Духа. Потом, на обратном пути, его измотали бесконечные дорожные заторы. Вернувшись в группу, он столкнулся со множеством мелочей, тех, что гложут понемногу, как бесчисленные последствия горного обвала, задержать который невозможно. И наконец он вызвал нас, чтобы послать на невыполнимое задание. Мы — это часть всеобщей неразберихи. Мы для майора — не Сент-Экзюпери или Дютертр, наделенные каждый своим собственным даром видеть вещи или не видеть их, думать, ходить, пить, улыбаться. Мы — куски какого-то огромного сооружения, и, чтобы постичь его в целом, требуется больше времени, большая тишина и большее отдаление. Если бы я страдал нервным тиком, Алиас заметил бы только этот тик. Он послал бы в полет над Аррасом только представление об этом тике. В хаосе навалившихся на него задач, в этой низвергающейся лавине, мы сами распались на куски. Голос. Нос. Тик. А куски не волнуют.

Это относится не только к майору Алиасу, но и ко всем людям. Когда мы хлопочем об устройстве похорон, то как бы мы ни любили умершего, мы не вступаем в соприкосновение со смертью. Смерть — это нечто огромное. Это новая цепь связей с мыслями, вещами, привычками умершего. Это новый миропорядок. С виду как будто ничего не изменилось, на самом же деле изменилось все. Страницы в книге те же, но смысл ее стал иным. Чтобы почувствовать смерть, мы должны представить себе те часы, когда нам нужен покойный. Имен-

но тогда нам его и недостает. Представить себе часы, когда он мог бы нуждаться в нас. Но он в нас больше не нуждается. Представить себе час дружеского посещения. И почувствовать его пустоту. Мы привыкли видеть жизнь в перспективе. Но в день похорон нет ни перспективы, ни пространства. Покойный в нашем сознании еще разъят на куски. В день похорон мы суетимся, пожимаем руки настоящим или мнимым друзьям, занимаемся мелочами. Покойный умрет только завтра, в тишине. Он явится нам в своей цельности, чтобы во всей своей цельности оторваться от нашего существа. И тогда мы закричим оттого, что он уходит и мы не можем его удержать.

Я не люблю лубочных картинок, изображающих войну. На них суровый воин утирает слезу и прячет волнение за ворчливыми шутками. Это вранье. Суровый воин ничего не прячет. Если он отпускает шутку, значит, шутка у него на уме.

Дело не в личных достоинствах. Майор Алиас — сердечный человек. Если мы не вернемся, он, возможно, будет оплакивать нас больше, чем кто-либо другой. При условии, что в его сознании будем мы, а не те или иные частности. При условии, что наступит тишина и он сможет воссоздать нас. Потому что если сегодня ночью преследующий нас судебный исполнитель снова заставит группу перебазироваться, то в лавине забот сломавшееся колесо какого-нибудь грузовика на время вытеснит нашу смерть из его сознания. И Алиас забудет нас оплакать.

Так и я, отправляясь на задание, думаю не о борьбе Запада с нацизмом. Я думаю о насущных мелочах. О бессмысленности полета над Аррасом на высоте семисот метров. О бесполезности ожидаемых

от нас сведений. О медленном одевании, которое кажется мне облачением в одежду смертника. А потом о перчатках. Я потерял перчатки. Где, черт побери, я раздобуду перчатки?

Я уже не вижу собора, в котором живу.

Я облачаюсь для служения мертвому богу.

III

— Давай быстрее... Где перчатки? Нет... Не эти... поищи в моем мешке...

— Что-то не вижу, господин капитан.

— Ты остолоп.

Все они остолопы. И тот, который не может найти мои перчатки. И тот, другой, из штаба, со своей навязчивой идеей полета на малой высоте.

— Я просил тебя дать мне карандаш. Уже десять минут, как я прошу дать мне карандаш... Есть у тебя карандаш?

— Есть, господин капитан.

Нашелся-таки разумный человек.

— Привяжи к карандашу тесемку. И привесь его мне сюда, вот к этой петле... Послушайте, стрелок, вы что-то не торопитесь...

— Потому что я уже готов, господин капитан.

— А! Ладно...

Ну а штурман? Я переключаюсь на него.

— Как там дела, Дютертр? Все в порядке? Рассчитали курс?!!

— Курс готов, господин капитан.

Ладно. Курс готов. Безнадежное задание... Спрашивается, есть ли смысл обрекать на гибель экипаж ради сведений, которые никому не нужны

и которые, даже если кто-нибудь из нас уцелеет и доставит их, никогда и никому не будут переданы...

— Наняли бы они себе спиритов, там, в штабе...

— Зачем?

— Да чтобы мы могли передать им вечером, через вертящийся столик, эти их сведения!

Я не в восторге от своего выпада, но продолжаю ворчать:

— Ох, уж эти штабные! Сами бы летали на эти безнадежные задания!

Как долго тянется церемониал одевания, когда ты понимаешь, что вылет безнадежный, и старательно снаряжаешься только для того, чтобы изжариться заживо. Не так-то просто натянуть один за другим три слоя одежды, нацепить на себя целый ворох аппаратуры, которую носишь, как старьевщик, наладить подачу кислорода, систему обогрева, телефонную связь между членами экипажа. Дышу я через эту маску. Резиновая трубка связывает меня с самолетом — она так же необходима, как пуповина. Самолет регулирует температуру моей крови. Самолет обеспечивает мою связь с людьми. У меня прибавились органы, которые служат как бы посредниками между мной и моим сердцем. С каждой минутой я становлюсь все более тяжелым, более громоздким, более неподвижным. Я поворачиваюсь сразу всем туловищем, и, когда наклоняюсь, чтобы потуже затянуть ремни или застегнуть неподдающиеся «молнии», у меня трещат все суставы. Старые переломы причиняют мне боль.

— Подай-ка сюда другой шлем. Я уже сто раз говорил тебе, что старый больше не надену. Он жмет.

Дело в том, что на большой высоте череп каким-то чудом распухает. И шлем, который на земле тебе впору, на высоте девять тысяч метров сжимает кости, как в тисках.

— Так это же другой, господин капитан. Я вам его сменил...

— А! Ну, ладно.

Я, конечно, ворчу, но без всяких угрызений совести, потому что я совершенно прав! Впрочем, все это не имеет ни малейшего значения. Как раз в эту минуту я в самом центре той внутренней пустыни, о которой я говорил. Здесь одни лишь обломки. Я даже не стыжусь, что мечтаю о чуде, которое изменило бы ход сегодняшних событий. Например, если откажут ларингофоны. Они всегда отказывают, эти ларингофоны! Хлам! А ведь если б они отказали, это избавило бы нас от безнадежного задания...

Ко мне с мрачным видом подходит капитан Везэн. Перед вылетом капитан Везэн с мрачным видом подходит к каждому из нас. Капитан Везэн осуществляет в нашей группе связь со службой воздушного наблюдения. Его обязанность сообщать нам о перемещении вражеских самолетов. Везэн мой друг, я его нежно люблю, но он всегда пророчит недоброе. И я жалею, что попался ему на глаза.

— Старина, — говорит Везэн, — ах, как скверно, как скверно, как скверно!

И он достает из кармана какие-то бумажки. Потом, испытующе глядя на меня, спрашивает:

— Как ты полетишь?

— Через Альбер.

— Так я и знал. Так я и знал. Ах, как скверно!

— Не валяй дурака. В чем дело?

— Тебе нельзя лететь!

Мне нельзя лететь!.. Какой он добрый, этот Везэн! Пусть вымолит у господа бога, чтобы отказали ларингофоны!

— Тебе не прорваться.

— Почему это мне не прорваться?

— Потому что над Альбером непрерывно патрулируют три звена немецких истребителей. Одно на высоте шесть тысяч метров, другое — семь с половиной, третье — десять тысяч. Ни одно не уходит, пока не явится смена. Это заведомо неодолимая преграда. Ты угодишь в западню. А потом, погляди-ка...

И Везэн показывает мне бумажку, на которой он нацарапал какие-то непонятные схемы.

Шел бы он ко всем чертям, этот Везэн! Слова «заведомо неодолимая преграда» на меня подействовали. Мне мерещится красный сигнал и нарушение дорожных правил. Но здесь нарушение правил — это смерть. В особенности ненавистно мне слово «заведомо». У меня такое чувство, будто я уже взят на прицел.

Усилием воли я заставляю себя рассуждать здраво. Противник «заведомо» должен защищать свои позиции, а как же иначе? Все эти слова сущий вздор... Да и плевать мне на истребителей. Когда я снижусь до семисот метров, меня собьет зенитная артиллерия. Уж она-то не промахнется! И я вдруг набрасываюсь на Везэна:

— Короче, ты решил срочно сообщить мне, что, поскольку существует немецкая авиация, мой вылет — штука весьма неосторожная! Беги и доложи об этом генералу!..

А между тем Везэну ничего не стоило бы дружески ободрить меня, назвав эти пресловутые истребители просто какими-то самолетами, которые болтаются в районе Альбера..

Смысл был бы точно такой же!

IV

Все готово. Мы в кабине. Остается проверить ларингофоны...

— Хорошо меня слышите, Дютертр?

— Слышу вас хорошо, господин капитан.

— А вы, стрелок, хорошо меня слышите?

— Я... да... отлично.

— Дютертр, вы слышите стрелка?

— Слышу его хорошо, господин капитан.

— Стрелок, вы слышите лейтенанта Дютертра?

— Я... да... отлично.

— Почему вы все время говорите. «Я... да... отлично»?

— Я ищу карандаш, господин капитан.

Ларингофоны не отказали.

— Стрелок, давление в баллонах нормальное?

— Я... да... нормальное.

— Во всех трех?

— Во всех трех.

— Дютертр, готов?

— Готов.

— Стрелок, готов?

— Готов.

— Тогда — двинулись.

И я отрываюсь от земли.

V

Страх возникает, когда теряешь уверенность в том, что ты это ты. Если я жду известия, которое может осчастливить меня или привести в отчаяние, я словно выброшен в небытие. Пока я пребываю в неизвестности, мои чувства и мое поведение — всего лишь преходящая личина. Время, секунда за секундой, перестает созидать — подобно тому как оно созидает дерево, — ту самую личность, которой я стану через час. Это неведомое «я» идет мне навстречу извне, словно призрак. И тогда меня охватывает страх. Дурная весть вызывает не страх, а страдание — это совсем другое дело.

Но вот время перестало течь впустую. Я наконец приступил к своим обязанностям. Я больше уже не проектируюсь в безликое будущее. Я уже не тот, кто, быть может, среди огненного вихря войдет в штопор. Будущее уже не преследует меня подобно какому-то странному видению. Отныне его создают, одно за другим, мои действия. Я тот, кто следит за компасом и держит курс 313°. Кто регулирует шаг винтов и температуру масла. Это насущные, естественные заботы. Это заботы по дому, мелкие повседневные обязанности, за которыми даже не чувствуешь, что стареешь. День становится хорошо прибранным домом, хорошо отполированной доской, хорошо поступающим кислородом. Я как раз проверяю подачу кислорода, потому что мы быстро набираем высоту: шесть тысяч семьсот метров.

— С кислородом в порядке, Дютертр? Как себя чувствуете?

— Все в порядке, господин капитан.

— Эй! Стрелок, кислород в порядке?

— Я... да... в порядке, господин капитан.

— Вы все еще ищете карандаш?

Я становлюсь и тем, кто нажимает на кнопку S и на кнопку А, чтобы проверить свои пулеметы. Кстати...

— Эй, стрелок, там позади, в вашем секторе, нет крупного населенного пункта? Не попадает он в поле обстрела?

— Гм... нет, господин капитан.

— Ну, тогда давайте. Проверьте пулеметы.

Я слышу очереди.

— Хорошо работают?

— Хорошо.

— Сработали все?

— Гм... да... все.

Я тоже стреляю. Интересно, куда летят все эти пули, которыми мы почем зря поливаем родные просторы. Они никогда никого не убивают. Земля велика.

Итак, я живу содержанием каждой минуты. Я испытываю страх не в большей степени, чем зреющий плод. Разумеется, условия моего полета изменяются. И условия и задачи. Но я сам вовлечен в изготовление этого будущего. Время понемногу лепит меня. Ребенок не приходит в ужас оттого, что он терпеливо готовит в себе старика. Он — ребенок, и он играет в свои детские игры. Я тоже играю. Я считаю циферблаты, переключатели, кнопки, рычаги моего царства. Я насчитал сто три предмета, которые надо проверять, тянуть, поворачивать или нажимать. (Я, правда, чуточку сплутовал, сосчитав за два предмета боевой спуск моих пулеметов: там есть еще предохранитель.) Вечером я удивлю фермера, у которого квартирую. Я спрошу его:

— А вы знаете, сколько теперь у летчика приборов, за которыми он должен следить?

— Откуда же мне знать?

— Ну все-таки, назовите какую-нибудь цифру.

Какой он неучтивый, мой хозяин.

— Назовите любую цифру!

— Ну, семь.

— Сто три!

И я буду доволен.

Мое спокойствие объясняется еще и тем, что все приборы, громоздившиеся вокруг меня, заняли свои места и обрели смысл. Все эти потроха из трубок и проводов превратились в сеть кровообращения. Мой организм сросся с самолетом. Самолет создает мне уют: я поворачиваю переключатель, и моя одежда и кислород начинают обогреваться. Впрочем, кислород уже перегрелся и обжигает нос. Сам кислород тоже подается в зависимости от высоты при помощи весьма сложного прибора. Меня питает моя машина. До вылета это казалось мне непостижимым, а теперь, когда сама машина кормит меня грудью, я испытываю к ней нечто вроде сыновней привязанности. Нечто вроде привязанности грудного младенца. Что касается моего веса, то он распределился по точкам опоры. Три слоя одежды, тяжелый парашют за спиной давят на сиденье. Огромные меховые сапоги упираются в педали. Руки в толстых жестких перчатках, такие неуклюжие на земле, легко управляют штурвалом. Управляют штурвалом... Управляют штурвалом...

— Дютертр!

— ... тан?

— Быстро проверьте контакты. Я слышу вас с перерывами. Вы меня слышите?

— ... шу... вас... тан...

— А ну-ка, встряхните свое хозяйство! Вы слышите меня?

Голос Дютертра снова становится ясным:

— Слышу вас отлично, господин капитан!

— Ну, так вот: сегодня управление опять замерзает, штурвал ходит туго, а педали совершенно заело!

— Веселенькая история. А высота?

— Девять тысяч семьсот.

— Температура?

— Сорок восемь ниже нуля. Кислород у вас в порядке?

— В порядке, господин капитан.

— Стрелок, кислород в порядке?

Нет ответа.

— Стрелок!

Нет ответа.

— Дютертр, вы слышите стрелка?

— Не слышу, господин капитан...

— Вызовите его!

— Стрелок! Эй, стрелок!

Нет ответа.

Но прежде, чем пойти на снижение, я резко встряхиваю самолет, чтобы разбудить стрелка, если он заснул.

— Господин капитан?

— Это вы, стрелок?

— Я... гм... да...

— Вы что, не вполне в этом уверены?

— Уверен!

— Почему вы не отвечали?

— Я проверял передатчик. Я отключался!

— Балбес! Надо предупреждать! Я чуть не пошел на посадку: думал, вы умерли!

— Я... нет.

— Верю на слово. Но больше не устраивайте мне таких штук! Предупреждайте, черт побери, прежде чем отключаться!

— Слушаюсь, господин капитан. Буду предупреждать.

Дело в том, что организм не сразу ощущает нарушение подачи кислорода. Наступает легкое забытье, через несколько секунд — обморок, а через несколько минут — смерть. Поэтому пилот все время должен следить за поступлением кислорода и за самочувствием экипажа.

И я пощипываю трубку своей маски, чтобы носом ощутить теплую струю, несущую жизнь.

Словом, я занимаюсь своим ремеслом. Я не испытываю ничего, кроме физического удовольствия от насыщенных смыслом, самодовлеющих действий. У меня нет ни ощущения великой опасности (снаряжаясь в полет, я волновался куда сильнее), ни такого чувства, будто я исполняю великий долг. Битва между Западом и нацизмом сводится сейчас, в пределах моих действий, к управлению рукоятками, рычагами и краниками. Так и должно быть. Любовь ризничего к богу сводится к любви зажигать свечи. Ризничий размеренным шагом ходит по церкви, которой он не замечает, и доволен, что канделябры у него расцветают один за другим. Когда все свечи зажжены, он потирает руки. Он гордится собой.

Я тоже великолепно отрегулировал шаг винтов и держу курс с точностью до одного градуса. Это должно восхищать Дютертра, если только он поглядывает на компас...

— Дютертр... я... курс по компасу... правильно?

— Нет, господин капитан. Чересчур отклонились. Возьмите вправо.

Вот досада!

— Пересекаем линию фронта, господин капитан. Начинаю съемку. Что у вас на высотомере?

— Десять тысяч.

VI

— Капитан... курс!

Точно. Я отклонился влево. Это не случайно... Меня отталкивает город Альбер. Я угадываю его, хотя он очень далеко впереди. Но он уже давит на мое тело всей тяжестью своей «заведомо неодолимой преграды». Сколько воспоминаний таится в толще моего тела! Оно помнит внезапные падения, проломы черепа, вязкие, как сироп, обмороки, ночи в госпиталях. Мое тело боится ударов. Оно старается обойти Альбер. Чуть только я не догляжу, оно сворачивает влево. Оно тянет влево, как старая лошадь, которая, испугавшись однажды какого-нибудь препятствия, потом уже всю жизнь шарахается от него в сторону. И речь идет именно о моем теле... не о моем духе... Стоит мне отвлечься, тело мое пользуется этим и незаметно пытается улизнуть от Альбера.

Ведь сейчас меня ничто особенно не тяготит. Теперь я уже не хотел бы, чтобы вылет отменили. А ведь, кажется, еще совсем недавно я об этом мечтал. Я думал: «Ларингофоны откажут. Мне так хочется спать. Пойду вздремну». И я воображал, с каким наслаждением буду нежиться в постели. Но в глубине души я все-таки знал, что отмена вылета не сулит ничего, кроме томительной хандры. Словно ждал какого-то обновления, а оно не состоялось.

Мне вспоминается школа... Когда я был мальчишкой...

— ...капитан!

— В чем дело?

— Нет, ничего... мне показалось...

Ничего хорошего не могло ему показаться.

Ну так вот... когда я был мальчишкой, в школе мы вставали ужасно рано. В шесть часов утра. Холодно. Протираешь глаза и уже заранее томишься в ожидании скучного урока грамматики. И мечтаешь заболеть, чтобы проснуться в лазарете, где монахини в белых чепцах будут подавать тебе в постель сладкое питье. Чего только не вообразишь себе об этом рае! Вот почему, если я простужался, я нарочно кашлял чуть почаще и посильнее. И, просыпаясь в лазарете, я слышал колокол, звонивший для других. Если я притворялся не в меру, этот колокол меня сурово наказывал: он превращал меня в призрак. Там, за стенами лазарета, он отзванивал настоящее время: время строгой тишины классных занятий, сутолоки перемен, тепла и уюта столовой. Для живых, там, за стенами лазарета, он создавал насыщенное существование, полное горестей, надежд, ликований, невзгод. Я же был обобран, забыт, меня тошнило от приторного питья, от влажной постели и от безликих часов.

Нет, отмена вылета ничего хорошего не сулит.

VII

Иногда, конечно, как, например, сегодня, вылет может быть нам и не по душе. Слишком уж очевидно, что мы просто-напросто играем в войну. Мы играем в казаки-разбойники. Мы в точности

соблюдаем мораль наших книг по истории и правила наших учебников. Сегодня ночью, к примеру, я выехал с машиной на аэродром. И часовой, согласно инструкции, штыком преградил дорогу моей машине, которая с таким же успехом могла быть и танком. Вот так мы и играем: штыком преграждаем дорогу танкам!

Откуда взяться увлеченности, если, играя в эти довольно жестокие шарады, мы явно исполняем роль статистов, а от нас еще требуют, чтобы мы шли на смерть? Для шарады смерть — это слишком серьезно.

Кто станет с увлечением надевать летное снаряжение? Никто. Даже Ошедэ, с его постоянной готовностью к самопожертвованию, которая и есть высшее проявление человечности, даже Ошедэ, этот праведник, и то замыкается в безмолвии. Одеваясь, мои товарищи молчат и хмурятся, и это не скромность героев. За этой хмуростью не скрывается никакого увлечения. Она выражает лишь то, что выражает. И мне она понятна. Это угрюмость управляющего, который не согласен с распоряжениями, оставленными уехавшим хозяином. И который все-таки хранит верность. Все мои товарищи мечтают о своей тихой комнате, но среди нас нет ни одного, кто и впрямь предпочел бы идти спать.

Потому что важна не увлеченность. Когда терпишь поражение, на увлеченность рассчитывать нечего. Важно одеться, сесть в кабину, оторваться от земли. То, что сам ты об этом думаешь, совсем неважно. Мальчик, который с увлечением мечтал бы об уроках грамматики, показался бы мне фальшивым и неестественным. Важно сохранять самообладание ради цели, которая в данную минуту еще не ясна. Эта цель — не для Разума, а для Духа. Дух спо-

собен любить, но он спит. В чем состоит искушение, я знаю не хуже любого отца церкви. Искушение — это соблазн уступить доводам Разума, когда спит Дух.

Какой смысл в том, что я рискую жизнью, бросаясь в эту лавину? Не знаю. Меня сто раз уговаривали: «Соглашайтесь на другую должность. Ваше место там. Там вы принесете куда больше пользы, чем в эскадрилье. Летчиков можно готовить тысячами...» Доводы были неопровержимы. Доводы всегда неопровержимы. Мой разум соглашался, но мой инстинкт брал верх над разумом.

Почему же эти рассуждения казались мне какими-то зыбкими, хотя я ничего не мог на них возразить? «Интеллигенцию держат про запас на полках Отдела пропаганды, как банки с вареньем, чтобы подать после войны...» Но это же не ответ!

И сегодня, так же как мои товарищи, я взлетел наперекор всем рассуждениям, всякой очевидности, всему, что я мог в ту минуту возразить. Я знаю, придет время, и я пойму, что, поступив наперекор своему разуму, поступил разумно. Я обещал себе, если останусь жив, эту ночную прогулку по моей деревне. Тогда, быть может, я наконец пойму самого себя. И научусь видеть.

Возможно, мне нечего будет сказать о том, что я увижу. Когда женщина кажется мне прекрасной, мне нечего сказать. Я просто любуюсь ее улыбкой. Аналитик разбирает лицо и объясняет его по частям, но улыбки он уже не видит.

Знать — отнюдь не означает разбирать на части или объяснять. Знать — это принимать то, что видишь. Но для того, чтобы видеть, надо прежде всего участвовать. А это суровая школа...

Весь день моя деревня была для меня невидима.

До вылета это были только глинобитные стены и довольно неопрятные крестьяне. Теперь — это кучка щебня в десяти километрах подо мной. Вот она, моя деревня.

Но, может быть, сегодня ночью проснется и залает сторожевая собака. Я всегда наслаждался колдовским очарованием деревни, которая в ясную ночь говорит во сне одиноким голосом сторожевой собаки.

Я не надеюсь, что меня поймут, и мне это совершенно безразлично. Лишь бы явилась передо мной моя деревня, прибравшаяся перед сном, запершая на ночь запасы своего зерна, свой скот, свои вековые обычаи!

Крестьяне, вернувшись с поля, поужинают, уложат детей и, задув лампу, растворятся в безмолвии. И все исчезнет, и останется лишь мерное дыхание под добротными домоткаными простынями, — словно море, затихающее после шторма.

Ночью, когда подводятся итоги, бог на время отстраняет людей от пользования их богатствами. И пока люди будут отдыхать, по прихоти неодолимого сна разжав до утра пальцы, передо мною яснее предстанет сбереженное ими наследие.

Тогда, быть может, мне раскроется то, что трудно выразить словами. Я приду к огню, как слепой, которого ведут его ладони. Он не смог бы описать огонь, а все-таки он его нашел. Так, быть может, явится мне то, что нужно защищать, то, чего не видно, но что живет, подобно горящим углям, под пеплом деревенских ночей.

Мне нечего было ждать от отмены вылета. Чтобы постичь простую деревню, надо прежде всего...

— Капитан!

— Да?

— Шесть истребителей, шесть, впереди — слева!

Это прозвучало как удар грома.

Надо... надо... Но я хотел бы своевременно получить то, что мне причитается. Я хотел бы обрести право на любовь. Я хотел бы понять, за кого умираю...

VIII

— Стрелок!

— Капитан?

— Слышали? Шесть истребителей, шесть, впереди — слева!

— Слышал, капитан!

— Дютертр, они нас заметили?

— Заметили. Разворачиваются на нас. Мы выше метров на пятьсот.

— Стрелок, слышали? Мы выше на пятьсот метров. Дютертр! Еще далеко?

— ...несколько секунд.

— Стрелок, слышали? Через несколько секунд будут у нас в хвосте. Вот они, я их вижу! Крохотные. Рой ядовитых ос.

— Стрелок! Они идут наперерез. Сейчас увидите. Вот они!

— Я... я ничего не вижу. А! Вижу!

А я уже потерял их из вида.

— Гонятся за нами?

— Гонятся!

— Высоту набирают быстро?

— Не знаю... Кажется, нет... Нет!

— Ваше решение, капитан?

Это спросил Дютертр.

— А что я могу решить?

И мы замолкаем.

Решать тут нечего. Все зависит только от бога.

Если я развернусь, расстояние между нами уменьшится. Мы летим прямо на солнце, а на большой высоте нельзя набрать еще пятьсот метров, не потеряв скорости и не отстав от движущейся цели на несколько километров. Поэтому может случиться, что, прежде чем они выйдут на нашу высоту и разгонятся, мы успеем исчезнуть в слепящих лучах.

— Стрелок, все еще летят?

— Летят.

— Мы отрываемся?

— Гм... нет... да!

Все зависит от бога и от солнца.

Предвидя возможный бой (хотя истребители не столько ведут бой, сколько совершают убийство), я напрягаю все мускулы, стараясь сдвинуть замерзшие педали. Я чувствую себя как-то странно, но истребители у меня еще перед глазами. И всей своей тяжестью я наваливаюсь на упрямые педали.

Я опять замечаю, что, одеваясь, волновался гораздо больше, чем сейчас, хотя происходящее и принуждает меня к нелепому ожиданию. Меня даже охватывает злоба. Благотворная злоба.

Но никакого опьянения самопожертвованием. Я готов кусаться.

— Стрелок, уходим от них?

— Уходим, господин капитан.

Отлично.

— Дютертр... Дютертр...

— Слушаю, господин капитан.

— Нет... ничего.

— А что было, господин капитан?

— Ничего... Мне показалось... нет... ничего...

Я им ничего не скажу. Я не собираюсь над ними шутить. Если я войду в штопор, они это и

сами поймут. Они и сами поймут, что я вхожу в штопор...

Странно, что я обливаюсь потом при 50° мороза. Странно. О, теперь мне понятно, что происходит: я потихоньку теряю сознание. Совсем потихоньку...

Я вижу приборную доску. Я уже не вижу приборной доски. Мои руки на штурвале слабеют. У меня даже нет сил говорить. Я забываюсь. Забыться...

Мну пальцами резиновую трубку. В нос бьет струя, несущая жизнь. Значит, кислород в порядке... Значит... Ну конечно. Я просто болван. Все дело в педалях. Я навалился на них, как грузчик, как ломовик. На высоте десять тысяч метров я вел себя, как силач в балагане. А ведь кислорода мне едва хватает. Расходовать его надо было экономно. Теперь я расплачиваюсь за свою оргию...

Я дышу слишком часто. Сердце у меня бьется быстро, очень быстро. Оно как слабый бубенчик. Я ничего не скажу моему экипажу. Если я войду в штопор, они успеют об этом узнать! Я вижу приборную доску... Я уже не вижу приборной доски... Я обливаюсь потом, и мне грустно.

Жизнь потихоньку вернулась ко мне.

— Дютертр!..

— Слушаю, господин капитан!

Мне хочется рассказать ему о случившемся.

— Я... думал... что...

Но я отказываюсь от своего намерения. Слова съедают почти весь кислород, и я запыхался уже от трех слов. Я прихожу в себя, но я еще слаб, очень слаб...

— Так что же было, господин капитан?

— Нет... ничего.

— Право, господин капитан, вы говорите загадками!

Я говорю загадками. Но зато я жив.

— ...мы их... оставили с носом!..

— О, господин капитан, до поры до времени! До поры до времени: впереди — Аррас.

Итак, несколько минут я думал, что уже не вернусь, и все-таки не обнаружил в себе того жгучего страха, от которого, говорят, седеют волосы. И я вспоминаю Сагона. Вспоминаю о том, что рассказал нам Сагон, когда два месяца назад, через несколько дней после воздушного боя, в котором он был сбит во французской зоне, мы навестили его в госпитале. Что испытал Сагон, когда, окруженный истребителями, словно поставленный ими к стенке, он считал себя на краю гибели?

IX

Как сейчас вижу его на госпитальной койке. Прыгая с парашютом, Сагон зацепился за хвостовое оперение и разбил себе колено, но он даже не почувствовал толчка. Лицо и руки у него довольно сильно обожжены, но в конечном счете состояние его не внушает тревоги. Он рассказывает об этом происшествии неторопливо, безразличным тоном, словно отчитывается в выполненной работе.

— ...Я понял, что они стреляют, когда со всех сторон увидел трассирующие пули. Приборная доска у меня разлетелась. Потом я заметил легкий дымок, ну, совсем легкий! Откуда-то спереди. Я подумал, что это... вы же знаете, там соединительная трубка... Пламя было несильное...

Сагон морщится, напрягая память. Ему кажется важным, чтобы мы знали, сильное было пламя или несильное. Он колеблется:

— А все-таки... там был огонь... Тогда я велел им прыгать...

Потому что огонь за десять секунд превращает самолет в факел!

— Тут я открыл люк. И зря. Пламя потянуло в кабину... Мне стало немного не по себе.

На высоте семь тысяч метров паровозная топка изрыгает прямо вам в живот потоки пламени, а вам немного не по себе! Я не хочу грешить против Сагона и потому не стану превозносить его героизм или его скромность. Сагон не признал бы за собой ни героизма, ни скромности. Он сказал бы: «Нет, мне действительно стало немного не по себе...» И он явно старается быть точным.

К тому же я убежден, что поле действия сознания весьма невелико. Разом оно вмещает только что-то одно. Если вы деретесь на кулаках и захвачены стратегией боя, вы не ощущаете боли от ударов. Когда во время аварии гидроплана я был уверен, что тону, ледяная вода показалась мне теплой. Или, точнее говоря, мое сознание не отзывалось на температуру воды. Оно было поглощено другим. Температура воды мне не запомнилась. Так и сознание Сагона было поглощено техникой прыжка. Мир Сагона ограничивался рукояткой откидного люка, кольцом парашюта, которое он искал, и техникой спасения экипажа. «Вы прыгнули?» Молчание. «Есть кто-нибудь на борту?» Молчание.

— Я решил, что остался один. Я решил, что можно прыгать... (Лицо и руки у него уже были обожжены.) Я приподнялся, перетащил ногу через борт кабины и задержался на крыле. Потом наклонился вперед: гляжу, штурмана нет...

Штурман, убитый наповал огнем истребителей, лежал в глубине кабины.

— Тогда я сдвинулся назад, посмотрел, — стрелка нет...

Стрелок тоже был мертв.

— Я решил, что остался один...

Он соображал:

— Если бы я знал... я мог бы опять влезть в кабину... Горело не так уж сильно... Я долго держался на крыле. Прежде чем выбраться из кабины, я поставил самолет на кабрирование. Машина шла правильно, дышать было можно, я чувствовал себя неплохо. Да-да, я долго держался на крыле... Я не знал, что делать...

Перед Сагоном вовсе не возникало каких-либо неразрешимых проблем: он считал, что остался на борту один, самолет его горел, а истребители все заходили и заходили на него, поливая его пулями. Из рассказа Сагóна нам стало ясно одно: он не испытывал никаких желаний. Он ничего не испытывал. Времени у него было сколько угодно. Делать ему было совершенно нечего. И постепенно я познавал это странное ощущение, иногда сопровождающее неизбежность близкой смерти: вдруг тебе становится нечего делать... Как это непохоже на всякие басни о дух захватывающем низвержении в небытие! Сагон оставался там, на крыле, словно выброшенный за пределы времени.

— А потом я прыгнул, — сказал он, — прыгнул неудачно. Меня закрутило. Я боялся слишком рано дернуть за кольцо, чтобы не запутаться в парашюте. Подождал, пока не выровняюсь. О, ждал я долго...

Итак, Сагону запомнилось, что от начала и до конца происшествия он чего-то ждал. Ждал, пока пламя станет сильнее. Потом, неизвестно чего, ждал на крыле. И во время свободного падения по вертикали на землю тоже ждал.

И это был Сагон, да, это был заурядный Сагон, еще более простой, чем обычно, Сагон, который, стоя над бездной, с недоумением и досадой топтался на месте.

X

Вот уже два часа мы парим в атмосфере, где давление в несколько раз ниже нормального. Экипаж понемногу изматывается. Мы почти не разговариваем. Раза два я еще попытался осторожно нажать на педали. Но я не упорствовал. Каждый раз меня охватывало все то же чувство сладкого изнеможения.

Дютертр задолго предупреждает меня о виражах, необходимых ему для фотосъемки. Я кое-как выкручиваюсь, хотя штурвал почти совсем замерз. Я создаю крен и беру штурвал немного на себя, машина с грехом пополам входит в вираж, и Дютертр успевает заснять кадров двадцать.

— Какая высота?

— Десять двести...

Я все еще думаю о Сагоне... Человек всегда остается самим собой. Все мы разные люди. И в себе самом я всегда обнаруживал лишь самого себя. Сагон знал одного лишь Сагона. Тот, кто умирает, умирает тем, кем он был. И если смерть постигла простого шахтера, умирает простой шахтер. Где оно, то дикое безумие, которое выдумывают писатели, чтобы нас потрясти?

В Испании я видел, как из-под обломков разрушенного снарядом дома извлекли человека, которого откапывали несколько дней. Безмолвно и, казалось, внезапно оробев, толпа окружила его — его, вернувшегося чуть ли не с того света. Покрытый

мусором и щебием, почти обезумевший от удушья и голода, он был похож на ископаемое чудовище. Когда кое-кто, осмелившись, начал задавать ему вопросы, а он с тупым вниманием стал прислушиваться, робость толпы сменилась чувством неловкости.

Ключи, которыми пробовали отпереть его сознание, не подходили, потому что никто не умел задать ему главный вопрос. Его спрашивали: «Что вы чувствовали... О чем думали... Что делали...» — словно перебрасывали наугад мостки через пропасть. Так хватаются за первое попавшееся средство, чтобы привлечь внимание погруженного в ночь глухонемого слепца, которого пытаются спасти.

И когда человек смог отвечать, он сказал:

– Да-да, я слышал какой-то треск...

Или еще:

— Мне было тяжело. Это тянулось долго... Ох, как долго...

Или:

— Болела поясница, сильно болела...

И этот человек рассказывал нам только об этом человеке. Больше всего он говорил о часах, которые потерял...

— Уж я искал их, искал... хорошие были часы... но в этой кромешной тьме...

Разумеется, жизнь научила его ощущать течение времени и любить привычные вещи. И для восприятия своего мира, пусть даже ограниченного обвалом и тьмой, он располагал чувствами лишь того человека, каким он был. И на главный вопрос, которого никто так и не сумел ему задать, но который вертелся у всех на языке: «Кем вы были? Кого вы открыли в себе?» — он мог бы ответить только одно: «Самого себя».

Ни при каких обстоятельствах в человеке не мо-

жет проснуться кто-то другой, о ком он прежде ничего не подозревал. Жить — значит медленно рождаться. Это было бы чересчур легко — брать уже готовые души!

Порою кажется, будто внезапное озарение может совершенно перевернуть человеческую судьбу. Но озарение означает лишь то, что Духу внезапно открылся медленно подготовлявшийся путь. Я долго изучал грамматику. Меня учили синтаксису. Во мне пробудили чувства. И вдруг в мое сердце постучалась поэма.

Конечно, сейчас я не чувствую никакой любви, но если сегодня вечером что-то откроется мне, значит я уже раньше трудился и носил камни для невидимого сооружения. Я сам готовлю свое празднество, и я не вправе буду говорить, что внезапно во мне возник кто-то другой, потому что этого другого создаю я сам.

От всех моих военных приключений я не жду ничего, кроме этой медленной подготовки. Она окупится потом, как грамматика...

Это медленное изматывание притупило в нас ощущение жизни. Мы стареем. Задание старит. Чего стоит полет на большой высоте? Соответствует ли один час, прожитый на высоте десять тысяч метров, неделе, трем неделям или месяцу нормальной жизни организма, нормальной работы сердца, легких, артерий? Впрочем, не все ли равно! Мои полуобмороки состарили меня на века; я погрузился в старческую безмятежность. Все, что волновало меня, когда я снаряжался в полет, кажется теперь затерянным в бесконечно далеком прошлом. А Аррас — в бесконечно далеком будущем. Ну а военные приключения? Где они, эти приключения?

Всего минут десять назад я едва не погиб, а рассказать мне не о чем, разве что о крохотных осах, промелькнувших передо мной за три секунды. Настоящее же приключение длилось бы десятую долю секунды. Но никто из нас не возвращается, не возвращается никогда, чтобы о нем рассказать.

— Дайте-ка левой ноги, капитан.

Дютертр забыл, что педали замерзли. А мне вспоминается поразившая меня в детстве картинка. Она изображала, на фоне северного сияния, странное кладбище погибших кораблей, затертых полярными льдами. В пепельном свете вечных сумерек они простирали свои обледеневшие руки. Среди мертвого штиля их все еще натянутые паруса хранили отпечаток ветра, как постель сохраняет отпечаток нежного плеча. Но чувствовалось, что они жесткие и ломкие.

Здесь тоже все замерзло. Рычаги замерзли. Пулеметы замерзли. И когда я спросил у стрелка:

— Как пулеметы?

Он ответил:

— Не работают.

— Ладно.

В респиратор кислородной маски я выплевываю ледяные иглы. Время от времени сквозь гибкую резину приходится раздавливать ледяную пробку, которая не дает мне дышать! Когда я сжимаю трубку, я чувствую, как в руке у меня трещит лед.

— Стрелок, кислород в порядке?

— В порядке.

— Какое давление в баллонах?

— Гм... Семьдесят...

— Ладно.

Время для нас тоже замерзло. Мы — три седобородых старца. Ничто не движется. Ничто не торопит. Ничто не страшит.

Боевые подвиги? Однажды майор Алиас почему-то предупредил меня:

— Будьте осторожнее!

Быть осторожнее, майор Алиас? Каким образом? Истребители поражают сверху, словно молния. Летящий выше на полторы тысячи метров отряд истребителей, обнаружив вас под собой, может не торопиться. Он маневрирует, ориентируется, занимает выгодную позицию. А вы еще ничего не знаете. Вы — мышь, над которой простерлась тень хищника. Мышь воображает, что она живет. Она еще резвится во ржи. Но она уже в плену у ястребиного глаза, она прилипла к его зрачку крепче, чем к смоле, потому что ястреб ее уже не выпустит.

Так же и с вами. Вы продолжаете вести самолет, вы мечтаете, наблюдаете за землей, а между тем вас уже обрекла на гибель едва заметная черная точка, появившаяся в зрачке человека.

Девять истребителей обрушатся на вас по вертикали, когда им заблагорассудится. Времени у них хоть отбавляй. На скорости девятьсот километров в час они нанесут страшный удар гарпуном, который безошибочно поражает жертву. Эскадра бомбардировщиков обладает такой огневой мощью, что ей еще есть смысл обороняться, но один разведывательный самолет, затерянный в небе, никогда не одолеет семидесяти двух пулеметов, да и обнаружить-то их он сможет лишь по светящемуся снопу их пуль.

В тот самый миг, когда вам станет ясно, что вы под ударом, истребитель, подобно кобре, разом выпустив свой яд и уже выйдя из поля обстрела, недосягаемый, повиснет над вами. Так раскачиваются кобры, молниеносно жалят и снова начинают раскачиваться.

Значит, когда истребители исчезли, еще ничто

не изменилось. Даже лица не изменились. Они меняются теперь, когда небо опустело и опять воцарился покой. Истребитель уже стал всего лишь бесстрастным очевидцем, а из рассеченной сонной артерии штурмана брызжет первая струйка крови, из капота правого мотора неуверенно пробивается первое пламя, которое сейчас забушует, как огонь в горне. Кобра уже успела свернуться, а яд ее проникает в сердце, и на лице судорожно вздрагивает первый мускул. Истребители не убивают. Они сеют смерть. И смерть дает всходы, когда истребители уже далеко.

Быть осторожнее, майор Алиас? Но каким образом? Когда мы встретились с истребителями, мне нечего было решать. Я мог и не знать о их появлении. Если бы они летели прямо надо мной, я бы даже не узнал об этом!

Быть осторожнее? Но ведь небо пусто.

И земля пуста.

Когда ведешь наблюдение с высоты десять километров, человека не существует. В таком масштабе движения человека неразличимы. Наши длиннофокусные фотоаппараты служат нам микроскопами. Микроскоп нужен здесь для того, чтобы разглядеть не человека, — его и с помощью этого прибора не увидишь, — а лишь признаки человеческого присутствия: дороги, каналы, поезда, баржи. Человек оживляет то, что мы видим под микроскопом. Я бесстрастный ученый, и война этих микробов для меня сейчас всего лишь предмет лабораторного исследования.

— Дютертр, стреляют?

— Кажется, стреляют.

Откуда ему знать? Разрывы слишком далеки, и пятна дыма сливаются с землей. Они, конечно,

и не надеются сбить нас таким неточным огнем. На высоте десять тысяч метров мы практически неуязвимы. Они стреляют, чтобы определить наше положение и, может быть, навести на нас истребителей. Истребителей, затерянных в небе, подобно невидимой пыли.

С земли нас видно благодаря белому перламутровому шлейфу, который самолет, летя на большой высоте, волочит за собой, как подвенечную фату. Сотрясение, вызываемое полетом, кристаллизует водяные пары атмосферы. И мы разматываем за собой перистую ленту из ледяных игл. Если атмосферные условия благоприятствуют образованию облаков, этот след будет медленно распухать и превратится в вечернее облако над полями.

Истребители могут обнаружить нас по бортовой рации, по пучкам разрывов и, наконец, благодаря вызывающей роскоши нашего белого шлейфа. И все-таки мы парим в почти космической пустоте.

Мы летим — я знаю точно — со скоростью пятьсот тридцать километров в час... А между тем все остановилось. Скорость ощутима на беговой дорожке. Здесь же все погружено в пустоту. Так и земля: несмотря на скорость сорок два километра в секунду, кажется, что она оборачивается вокруг солнца довольно медленно. Она тратит на это целый год. Нас, быть может, тоже медленно нагоняет что-то, к нам тоже что-то тяготеет. Сколько самолетов приходится на единицу пространства в воздушной войне? Они — как пылинки под куполом собора. Сами пылинки, мы, быть может, притягиваем к себе несколько десятков или сотен других пылинок. И вся эта пыль медленно поднимается в лучах солнца, словно где-то вытряхивают ковер.

Чего мне опасаться, майор Алиас? Внизу, по вертикали, сквозь недвижное чистое стекло я вижу

лишь какие-то безделушки прошлых веков. Я склоняюсь над музейными витринами. Но вот я повернул и теперь смотрю на них против света: где-то далеко впереди, конечно, Дюнкерк и море. Но под углом мне уже трудно что-нибудь различить. Солнце сейчас совсем низко, и я лечу над огромным сверкающим зеркалом.

— Дютертр, вы что-нибудь видите сквозь эту мерзость?

— По вертикали вижу, господин капитан...

— Эй, стрелок, как там истребители?

— Ничего нового...

Я действительно понятия не имею, преследуют нас или нет и видно ли с земли, как за нами гонится множество шлейфов из паутины, похожих на тот, что мы волочим за собой.

«Шлейф из паутины». Эти слова будят мое воображение. Передо мной возникает образ, который сперва кажется мне великолепным: «...недоступные, как ослепительно красивая женщина, мы шествуем навстречу своей судьбе, медленно влача за собой длинный шлейф из ледяных звезд...»

— Дайте-ка левой ноги!

Вот это действительность. Но я снова возвращаюсь к своей дешевой поэзии:

«...вслед за этим виражом повернет и весь сонм наших поклонников...»

Дать левой... дать левой... Легко сказать!

Ослепительно красивой женщине не удается ее вираж.

— Если будете петь... вам не поздоровится... господин капитан.

Неужели я пел?

Впрочем, Дютертр отбивает у меня всякую охоту к легкой музыке:

— Я почти закончил съемку. Скоро можно снижаться к Аррасу.

Можно... Можно... разумеется! Надо пользоваться удобным случаем.

Вот так штука! Рукоятки сектора газа тоже замерзли...

И я думаю:

«На этой неделе из трех вылетевших экипажей вернулся один. Стало быть, шансов очень мало. Но, даже если мы вернемся, нам нечего будет рассказать. В жизни мне случалось совершать то, что принято называть подвигами: прокладка почтовых линий, столкновения в Сахаре, Южная Америка... Но война — не настоящий подвиг, война — это суррогат подвига. В основе подвига — богатство связей, которые он создает, задачи, которые он ставит, свершения, к которым побуждает. Простая игра в орлянку еще не превратится в подвиг, даже если ставкой в ней будет жизнь или смерть. Война это не подвиг. Война — болезнь. Вроде тифа».

Быть может, когда-нибудь потом я пойму, что моим единственным настоящим подвигом во время войны было то, что связано с комнатой на ферме в Орконте.

XI

В Орконте, деревне близ Сен-Дизье, где суровой зимой тридцать девятого года базировалась моя авиагруппа, я жил в глинобитном домике. Ночью температура падала настолько, что вода в деревенском кувшине превращалась в лед, и потому, прежде чем одеваться, я первым делом затапливал

печь. Но для этого мне приходилось вылезать из теплой постели, где я блаженствовал, свернувшись калачиком.

Для меня не было ничего лучше этого простого монастырского ложа в этой пустой и промерзшей комнате. Здесь я вкушал безмятежный покой после тяжелого дня. Здесь я наслаждался безопасностью. Мне здесь ничто не угрожало. Днем мое тело подвергалось суровым испытаниям большой высоты, днем его подстерегали смертоносные осколки. Днем оно могло стать средоточием страданий, его могли незаслуженно разорвать на части. Днем мое тело мне не принадлежало. Больше не принадлежало. Его могли лишить рук, ног, из него могли выпустить кровь. Потому что — и это тоже только на войне — ваше тело превращается в склад предметов, которые вам уже не принадлежат. Является судебный исполнитель и требует ваши глаза. И вы отдаете ему свою способность видеть. Является судебный исполнитель и требует ваши ноги. И вы отдаете ему свою способность ходить. Является судебный исполнитель с факелом и требует всю кожу с вашего лица. И вот вы становитесь страшилищем, потому что откупились от судебного исполнителя своею способностью дружески улыбаться людям. Итак, тело, которое в тот самый день могло оказаться моим врагом и причинить мне боль, тело, которое могло превратиться в фабрику стонов, — это тело пока еще оставалось моим другом, послушным и близким, уютно свернувшимся калачиком и дремлющим на простыне, и не поверяло моему сознанию ничего, кроме радости бытия, ничего, кроме блаженного похрапывания. Но я, хочешь не хочешь, должен был извлечь его из постели, вымыть ледяной водой, побрить, одеть, чтобы в таком безупречном виде предоставить в распо-

ряжение стальных осколков. И мне казалось, что, извлекая свое тело из постели, я словно вырываю дитя из материнских объятий, отрываю его от материнской груди, от всего, что в детстве ласкает, нежит, защищает тело ребенка.

И тогда, хорошенько взвесив и обдумав свое решение, оттянув его как только можно, я, стиснув зубы, одним прыжком бросался к печке, швырял в нее охапку дров и обливал их бензином. Затем, когда пламя охватывало дрова, я вновь совершал переход через комнату и опять забирался в постель, где было еще тепло, и оттуда, зарывшись под одеяла и перину, одним только левым глазом следил за печкой. Сначала она не разгоралась, потом на потолке начинали пробегать отсветы вспышек. Потом огонь охватывал всю охапку: так веселье охватывает гостей на удавшемся празднике. Дрова принимались трещать, гудеть и напевать. Становилось весело, как на деревенской свадьбе, когда гости подвыпьют и начинают шуметь и подталкивать друг друга локтями.

А иногда мне казалось, что мой добрый огонь неусыпно охраняет меня, как проворный сторожевой пес, который преданно служит хозяину. Глядя на огонь, я тайно ликовал. И когда праздник был уже в полном разгаре, и тени плясали на потолке, и звучала эта жаркая золотистая музыка, а в углах печи громоздились горы раскаленных углей, когда вся комната наполнялась волшебным запахом смолы и дыма, — тогда я прыжком покидал одного друга ради другого, я бежал от постели к огню, предпочитая более щедрого, и, право, не знаю, поджаривал ли я себе живот или согревал сердце. Из двух соблазнов я малодушно уступал более заманчивому, сверкающему, тому. который шумнее и ярче себя рекламировал.

И так три раза: сперва, чтобы растопить печь, потом, чтобы улечься обратно и, наконец, чтобы вернуться и собрать урожай тепла, — три раза, стуча зубами, я пересекал ледяную пустыню моей комнаты и в известной мере постигал, что такое полярная экспедиция. Я несся через пустыню к блаженной посадке, и меня вознаграждал этот жаркий огонь, плясавший передо мной, для меня, свою пляску сторожевого пса.

Все это как будто пустяки. Но для меня это было настоящим подвигом. Моя комната с очевидностью явила мне то, чего я никогда не смог бы открыть в ней, если бы мне случилось попасть сюда в качестве простого туриста. Тогда она показалась бы мне ничем не примечательной пустой комнатой с кроватью, кувшином и плохонькой печью. Я зевнул бы в ней раз-другой — и только. Как мог я распознать три ее облика, три заключенных в ней царства: сна, огня и пустыни? Как мог я предугадать все превращения тела, которое сначала было телом ребенка, прильнувшего к материнской груди, согретым и защищенным, потом телом солдата, созданным для страданий, потом телом человека, обогащенного радостью обладания огнем, этой святыней, вокруг которой собирается племя? Огонь воздает честь и хозяину, и его друзьям. Навещая друга, они участвуют в его празднестве, они усаживаются вокруг него в кружок и, беседуя о насущных заботах, о своих тревогах и трудах, говорят, потирая руки и набивая табачок в трубку: «До чего приятно посидеть у огонька!»

Но нет больше огня, чтобы я мог поверить в нежность. Нет больше промерзшей комнаты, чтобы я мог поверить в подвиг. Я пробуждаюсь от своих грез. Есть только абсолютная пустота. Есть только

глубокая старость. Есть только голос, голос Дютертра, упорствующего в своей невыполнимой просьбе:

— Дайте-ка левой ноги, господин капитан...

XII

Я исправно выполняю свою работу. Несмотря на то что мы — экипаж, обреченный на поражение. Я погружен в атмосферу поражения. Поражение сочится отовсюду, и признак его я даже держу в руке.

Рукоятки сектора газа замерзли. Я вынужден идти на полном режиме. И вот эти два куска железа ставят меня перед неразрешимыми проблемами.

На моем самолете предел увеличения шага винтов сильно занижен. Если я буду пикировать на полном газу, мне вряд ли избежать скорости, близкой к восьмистам километрам в час, и раскрутки винтов. А раскрутка винтов может привести к разрыву вала.

В крайнем случае я мог бы выключить зажигание. Но тогда я пойду на неизбежную аварию. Эта авария приведет к срыву задания, и, возможно, к потере самолета. Не всякая местность пригодна для посадки машины, касающейся земли на скорости сто восемьдесят километров в час.

Значит, во что бы то ни стало надо освободить рукоятки. После первого усилия мне удается одолеть левую. Но правая все еще не слушается.

Теперь я мог бы снизиться на допустимой скорости, убавив обороты хотя бы одного, левого мотора, которым я могу управлять. Но если я уменьшу число оборотов левого мотора, мне при-

дется компенсировать боковую тягу правого, которая неизбежно будет разворачивать машину влево. Мне надо этому противодействовать. А педали, посредством которых это достигается, тоже совершенно замерзли. Значит, я лишен возможности что-либо компенсировать. Если я убавлю обороты левого мотора, то войду в штопор.

Итак, мне ничего не остается, как пойти на риск и превысить предел числа оборотов, за которым теоретически возможен разрыв вала. Три тысячи пятьсот оборотов: угроза разрыва.

Все это бессмысленно. Все неисправно. Наш мир состоит из множества не пригнанных друг к другу шестеренок. И дело здесь не в механизмах, а в Часовщике. Не хватает Часовщика.

Мы воюем уже девять месяцев, а нам до сих пор не удалось добиться, чтобы заводы, выпускающие пулеметы и системы управления, приспособили их к условиям большой высоты. И происходит это не из-за нерадивости людей. Люди в большинстве своем честны и добросовестны. Их инертность почти всегда следствие, а не причина бесплодности их усилий.

Эта бесплодность гнетет нас всех, словно рок. Она гнетет пехотинцев, вооруженных штыками против танков. Она гнетет летчиков, которые сражаются один против десяти. Она гнетет даже тех, кому следовало бы заниматься модернизацией пулеметов и систем управления.

Мы живем в слепом чреве администрации. Администрация — это машина. Чем она совершеннее, тем меньше она оставляет места для вмешательства человека. При безупречно действующей администрации, где человек играет роль шестеренки, его

лень, недобросовестность, несправедливость никак не могут проявиться.

Но, подобно машине, построенной для того, чтобы последовательно производить раз навсегда предусмотренные движения, администрация не способна действовать творчески. Она применяет такое-то наказание к такому-то проступку, отвечает таким-то решением на такую-то задачу. Администрация создана не для того, чтобы решать новые задачи. Если в штамповальный станок закладывать куски дерева, он не начнет выпускать мебель. Чтобы приспособить его к этому, человек должен иметь право его переделать. Но в администрации, созданной для того, чтобы предотвращать нежелательное человеческое вмешательство, шестеренки отвергают волю человека. Они отвергают Часовщика.

Я состою в группе 2/33 с ноября. Как только я прибыл, товарищи предупредили меня:

— Теперь будешь болтаться над Германией без пулеметов и без управления.

И в утешение прибавили:

— Не волнуйся. Это не меняет дела: истребители все равно сбивают нас прежде, чем мы успеваем их заметить.

И вот в мае, спустя полгода после этого разговора, пулеметы и управление продолжают замерзать.

Я вспоминаю изречение, древнее, как моя страна: «Когда кажется, что Франция уже погибла, ее спасает чудо». Я понял, почему это так. Бывало, страшная катастрофа приводила в негодность нашу превосходную административную машину и ста-

новилось ясно, что починить ее невозможно. Тогда, за неимением лучшего, ее заменяли простыми людьми. И эти люди спасали все.

Когда вражеская бомба превратит министерство авиации в груду пепла, срочно призовут первого попавшегося капрала и скажут ему:

— Вам поручается сделать так, чтобы управление не замерзало. Вам предоставляются неограниченные полномочия. Делайте что угодно. Но если через две недели оно по-прежнему будет замерзать, вы пойдете на каторгу.

Тогда, быть может, управление оттает.

Я могу привести сотни примеров такого порочного администрирования. В одном из северных департаментов комиссии интендантства реквизировали стельных коров и превратили бойни в кладбище телят, еще не вышедших из материнской утробы. Ни один винтик этой машины, ни один полковник интендантской службы не мог действовать иначе, чем в качестве винтика. Все они подчинялись другому винтику — как в часовом механизме. Всякое неповиновение было бесполезно. Поэтому как только машина начала разлаживаться, она принялась вовсю забивать стельных коров. Пожалуй, это было еще наименьшее зло. Окажись повреждение более серьезным, та же машина, чего доброго, стала бы забивать интендантских полковников.

Я до мозга костей подавлен этим всеобщим развалом. Но так как сейчас, по-видимому, не стоит губить один из моих моторов, я еще раз наваливаюсь на правую рукоятку. Обозлившись, нажимаю изо всех сил. И тут же отпускаю. От напряжения у меня опять закололо в сердце. Право же, че-

ловек не приспособлен к физическим упражнениям на высоте десять тысяч метров. Я чувствую приглушенную боль, словно укор совести, неожиданно пробудившейся среди глубокого сна всего тела.

Моторы пусть разваливаются, если им так хочется. Мне на них наплевать. Я стараюсь вздохнуть. Кажется, мне никогда не удастся вздохнуть, если я позволю себе отвлечься. Я вспоминаю мехи, которыми в старину раздували огонь. Я раздуваю свой огонь. И мне очень хочется убедить его, чтобы он снова «занялся».

Что же я так непоправимо испортил? На высоте десять тысяч метров слишком резкое физическое усилие может вызвать разрыв сердечной мышцы. Сердце — вещь очень хрупкая. А служить оно должно долго. Глупо рисковать им ради такой грубой работы. Это все равно, что жечь алмазы ради того, чтобы испечь яблоко.

XIII

Это все равно, что сжечь на севере все деревни, хотя, уничтожив их, нельзя даже и на полдня задержать наступление немцев. И все-таки эти бесчисленные деревни, эти старинные церкви, эти старинные дома, со всем их грузом воспоминаний, с натертыми до блеска ореховыми паркетами, с добротным бельем в шкафах и кружевными занавесками, которым до сих пор не было сносу, — я вижу, как все это от Дюнкерка до Эльзаса охвачено пламенем.

«Охвачено пламенем» — сказано слишком сильно: когда наблюдаешь с высоты десять тысяч метров, над деревнями, как и над лесами, виден только неподвижный дым, что-то вроде беловатого студня.

Огонь превращается в скрытое сгорание. На высоте десять тысяч метров время словно замедляет свой бег, потому что никакого движения нет. Нет треска пламени, нет грохота падающих балок, нет вихрей, черного дыма. Нет ничего, кроме этой сероватой мути, застывшей в янтаре.

Исцелят ли когда-нибудь этот лес? Исцелят ли эту деревню? С такой высоты кажется, что огонь снедает их медленно, как болезнь.

По этому поводу можно многое сказать. «Мы не будем щадить деревни». Я слышал эти слова. И слова эти были необходимы. Во время войны деревня это уже не средоточие традиций. В руках врага она превращается в жалкую дыру. Все меняет смысл. К примеру, эти столетние деревья осеняли ваш старый родительский дом. Но они заслоняют поле обстрела двадцатидвухлетнему лейтенанту. И вот он отряжает взвод солдат, чтобы уничтожить это творение времени. Ради десятиминутной операции он стирает с лица земли триста лет упорного труда человека и солнечных лучей, триста лет культа домашнего очага и обручений под сенью парка. Вы говорите ему:

— Мои деревья!

Он вас не слышит. Он воюет. Он прав.

Но сейчас жгут деревни ради игры в войну, ради этого рубят парки, и жертвуют летными экипажами, и посылают пехоту против танков. И становится невыразимо тошно. Потому что все это не имеет смысла.

Враг уяснил себе одну очевидную истину и пользуется ею. Люди занимают немного места на необъятных просторах земли. Чтобы построить солдат сплошной стеной, их потребовалось бы сто миллионов. Значит, промежутки между войсковыми частями неизбежны. Устранить их, как правило,

можно подвижностью войск, но для вражеских танков слабо моторизованная армия как бы неподвижна. Значит, промежуток становится для них настоящей брешью. Отсюда простое тактическое правило: «Танковая дивизия действует, как вода. Она оказывает легкое давление на оборону противника и продвигается только там, где не встречает сопротивления». И танки давят на линию обороны. Промежутки имеются в ней всегда. Танки всегда проходят.

Эти танковые рейды, воспрепятствовать которым за неимением собственных танков мы бессильны, наносят непоправимый урон, хотя на первый взгляд они производят лишь незначительные разрушения (захват местных штабов, обрыв телефонных линий, поджог деревень) Танки играют роль химических веществ, которые разрушают не сам организм, а его нервы и лимфатические узлы. Там, где молнией пронеслись танки, сметая все на своем пути, любая армия, даже если с виду она почти не понесла потерь, уже перестала быть армией. Она превратилась в отдельные сгустки. Вместо единого организма остались только не связанные друг с другом органы. А между этими сгустками, — как бы отважны ни были солдаты, — противник продвигается беспрепятственно. Армия теряет боеспособность, когда она превращается в скопище солдат.

Технические средства не создаются за две недели. Ни даже... Мы не могли не отстать в гонке вооружений. Нас было сорок миллионов земледельцев против восьмидесяти миллионов, занятых в промышленности!

Мы воюем один против трех. У нас один самолет против десяти или двадцати и, после Дюнкерка — один танк против ста. Нам некогда размышлять о прошлом. Мы живем в настоящем. А настоящее та-

ково. Никакая наша жертва никогда и нигде не может задержать наступление немцев.

Поэтому сверху донизу гражданской и военной иерархии, от водопроводчика до министра, от солдата до генерала, все чувствуют нечто вроде угрызений совести, но никто не может и не смеет их выразить. Жертва теряет всякое величие, если она становится лишь пародией на жертву или самоубийством. Самопожертвование прекрасно, когда гибнут немногие ради спасения остальных. Во время пожара приходится жертвовать меньшим ради спасения большего. В укрепленном лагере бьются насмерть, чтобы дать время своим подойти на выручку. Да, это так. Но что бы мы сейчас ни делали, Огонь охватит все. И нет лагеря, который мы могли бы укрепить. И нечего надеяться, что кто-то придет нам на выручку. И кажется, мы просто обрекаем на гибель тех, за кого мы сражаемся, или делаем вид, что сражаемся, потому что самолет, сметающий города в тылу войск, полностью изменил характер войны.

Люди сторонние будут впоследствии упрекать Францию за те несколько мостов, которые не были взорваны, за те несколько деревень, которые не были сожжены, и за тех солдат, что остались в живых. Но меня поражает как раз обратное. Меня поражает та безграничная готовность, с которой мы зажмуриваем глаза и затыкаем уши. Поражает наша безнадежная борьба против очевидности. Все уже потеряло смысл, — а мы упрямо взрываем мосты, чтобы продолжать игру. Мы сжигаем настоящие деревни, чтобы продолжать игру. И, чтобы продолжать игру, умирают наши солдаты.

Разумеется, кое-что и забывают! Забывают взорвать мост, забывают поджечь деревню, порою щадят жизнь солдат. Но трагизм этого разгрома в

том, что он лишает действия всякого смысла. Солдат, взрывающий мост, не может не испытывать отвращения. Этот солдат не задерживает врага: он превращает мост в груду развалин, и только. Он калечит свою родину, лишь бы получилась удачная карикатура на войну!

Действовать с воодушевлением можно только тогда, когда действия имеют очевидный смысл. Не жаль спалить урожай, если под его пеплом будет погребен враг. Но врагу, который опирается на свои сто шестьдесят дивизий, плевать на наши пожары и на гибель наших солдат.

Нужно, чтобы то, ради чего сжигают деревню, стоило самой деревни. Но теперь значение сожженной деревни стало лишь карикатурой на значение.

Нужно, чтобы то, ради чего умираешь, стоило самой смерти. Хорошо или плохо сражаются солдаты? Уже сам этот вопрос лишен всякого смысла! Теоретически известно, что населенный пункт способен обороняться не больше трех часов. Но солдаты получили приказ удерживать его. Не имея никаких средств для борьбы, они сами побуждают врага разрушить селение, только бы соблюсти правила игры в войну. Как услужливый противник за шахматной доской: «Ты забыл взять мою пешку...» Так и мы бросаем врагу: «Мы защитники этой деревни. Вы нападающие. Ну, так валяйте!»

Предложение принято. Вражеская эскадрилья растаптывает деревню своим каблуком.

— Все по правилам!

Есть, конечно, люди пассивные, но пассивность — это скрытая форма отчаяния. Есть, конечно, и дезертиры. Сам майор Алиас раза два-три угрожал



револьвером угрюмым беглецам, попадавшимся ему на дорогах и невпопад отвечавшим на его вопросы. Так хочется схватить виновника катастрофы и, уничтожив его, спасти все! Беглецы виновны в бегстве, потому что, не будь беглецов, не было бы и бегства. И если навести на них револьвер, все пойдет хорошо... Но ведь это все равно что заживо хоронить больных с целью уничтожить болезнь. В конце концов майор Алиас снова прятал револьвер в карман, потому что в его собственных глазах этот револьвер внезапно принимал чересчур помпезный вид, словно опереточная сабля. Алиас прекрасно понимал, что эти угрюмые солдаты — следствие катастрофы, а не ее причина.

Алиас прекрасно знает, что это такие же, точно такие же солдаты, как и те, которые в другом месте, сегодня еще, идут на смерть. Ведь за последние две недели сто пятьдесят тысяч уже пошли на смерть. Но есть умники, которые требуют, чтобы им объяснили, зачем это нужно.

А объяснять трудно.

Бегун должен пробежать дистанцию своей жизни, состязаясь с бегунами своего же разряда. Но у самого старта он замечает, что тащит на ноге ядро каторжника. А его соперники летят, как на крыльях. Борьба теряет всякий смысл. Человек сходит с дистанции.

— Это не в счет...

— В счет! В счет!..

Что придумать, чтобы все-таки заставить человека вложить все свои силы в состязание, которое уже перестало быть состязанием?

Алиасу хорошо известно, что думают солдаты. Они тоже думают: «Это не в счет...»

Алиас прячет свой револьвер и ищет убедительный ответ.

Есть только один убедительный ответ. Единственный. Пусть кто-нибудь попробует найти другой:

— Ваша смерть ничего не изменит. Поражение уже свершилось. Но полагается, чтобы поражение выражалось в потерях. Должны быть убитые. Сегодня ваша очередь сыграть эту роль.

— Слушаюсь, господин майор.

Алиас не презирает беглецов. Он прекрасно знает, что его убедительного ответа всегда бывало достаточно. Он и сам идет на смерть. Все его экипажи идут на смерть. И для нас оказалось вполне достаточно того же убедительного ответа, только чуточку завуалированного:

— Скверное задание... Но в штабе настаивают... Упорно настаивают... Тут уж ничего не поделаешь...

— Слушаюсь, господин майор!

Я думаю, что те, кто погиб, просто служат порукой за остальных.

XIV

Я так состарился, что у меня уже все позади. Я смотрю сквозь большое отсвечивающее стекло кабины. Подо мною люди. Инфузории на стеклышке микроскопа. Разве можно интересоваться семейными драмами инфузорий?

Если бы не эта боль в сердце, которую я ощущаю так живо, я погрузился бы в дремоту, как состарившийся тиран. Всего лишь десять минут назад я сочинил историю с поклонниками. Тошнотворная фальшь. Разве я думал о нежных вздохах, ког-

да заметил истребителей? Я думал о жалящих осах. Ну конечно, об осах. Они были совсем крошечные, эти мерзавки.

И я мог без отвращения вообразить себе платье со шлейфом! Я вовсе и не думал о платье со шлейфом по той простой причине, что никогда не видел следа своего самолета. Из кабины, куда я засунут, как трубка в футляр, мне не видно, что делается сзади. Назад я смотрю глазами моего стрелка. Да и то, если ларингофоны в исправности! А мой стрелок ни разу не сказал мне: «Вон сколько воздыхателей увязалось за нашим шлейфом...»

Остался только скептицизм и игра словами. Разумеется, я хотел бы вернить, хотел бы сражаться, хотел бы победить. Но сколько ни притворяйся, что, поджигая собственные деревни, ты вернишь, сражаешься и побеждаешь, воодушевиться этим нелегко.

Жить тоже нелегко. Человек — всего лишь узел отношений, а мои связи, оказывается, немногого стоят.

Что во мне потерпело аварию? В чем тайна переключки между моим существом и внешним миром? Почему то, что кажется мне сейчас отвлеченным и далеким, при других обстоятельствах могло бы глубоко меня взволновать? Почему какое-нибудь слово или жест порой образует бесконечные круги в чьей-то судьбе? Почему, если я Пастер, возня крошечных инфузорий приобретает для меня такой огромный смысл, что стеклышко микроскопа может мне показаться гораздо обширнее девственного леса, и, склонившись над ним, я смогу пережить приключение в его наивысшей форме?

Почему эта черная точка, это человеческое жилище, там, внизу...

И я вспоминаю.

Когда я был маленький... Я возвращаюсь к своему раннему детству. Детство, этот огромный край, откуда приходит каждый! Откуда я родом? Я родом из моего детства, словно из какой-то страны... Так вот, когда я был маленький, однажды мне случилось пережить нечто странное.

Мне было лет пять или шесть. Было восемь часов вечера. Восемь часов — время, когда дети должны уже спать. В особенности зимой, потому что зимой рано темнеет. Однако обо мне забыли.

В первом этаже нашего большого деревенского дома была передняя, казавшаяся мне огромной; туда выходила дверь теплой комнаты, где мы, дети, обедали. Я всегда побаивался этой передней, быть может, потому что тусклый свет лампы, висевшей посредине и скорее похожей на сигнальный фонарь, едва рассеивал царивший там густой мрак, и потому, что в тишине потрескивали деревянные панели, а еще потому, что там было холодно. Из освещенных и теплых комнат сюда входили, как в пещеру.

Но в тот вечер, видя, что обо мне забыли, я послушался злого демона, дотянулся на цыпочках до дверной ручки, тихонько нажал ее, вышел в переднюю и пустился тайком исследовать мир.

Однако мне показалось, что деревянные панели своим потрескиванием предупреждают меня о гневе божием. В полумраке я смутно различал укоризненно смотревшие на меня панели. Не смея идти дальше, я кое-как взобрался на столик у зеркала, прижался спиной к стене и, свесив ноги, застыл там с бьющимся сердцем, как потерпевший кораблекрушение — на скале, в открытом море.

И тогда отворилась дверь гостиной и в переднюю вошли два мои дяди, всегда внушавшие мне свя-

щенный ужас; закрыв за собой дверь, за которой было светло и шумно, они начали расхаживать по передней.

Я дрожал, боясь, что меня обнаружат. Один дядя, Гюбер, был для меня олицетворением строгости. Посланцем божественного правосудия. Этот человек, который никогда и пальцем не тронул бы ребенка, повторял, грозно хмуря брови по случаю каждой моей провинности: «В следующий раз, как поеду в Америку, привезу оттуда машину для порки детей. В Америке все усовершенствовано. Вот почему дети там — само послушание. И родителям живется спокойно...»

Я не любил Америку.

И вот они расхаживали, не замечая меня, взад и вперед по холодной, необъятной передней. Я следил за ними глазами, прислушивался, затаив дыхание, голова у меня кружилась. «В нашу эпоху...» — говорили они. И удалялись, унося с собой тайну, доступную только взрослым, а я повторял про себя: «В нашу эпоху...» Потом они возвращались, как прилив, который снова катил ко мне свои загадочные сокровища. «Это безумие, — говорил один другому, — это просто безумие...» Я подхватывал эту фразу, словно какую-то диковинку. И медленно повторял, чтобы испытать силу воздействия этих слов на мое детское сознание: «Это безумие, это просто безумие...»

Итак, отлив уносил от меня дядей. Прилив снова прибивал их ко мне. Это удивительное явление, открывавшее передо мною новые, еще неясные горизонты, повторялось с той же правильностью, с какой, по законам всемирного тяготения, движутся небесные светила. А я был навеки прикован к своему столику, — тайный свидетель торжественного совещания, на котором оба мои дяди, знавшие реши-

тельно все, вместе творили мир. Дом мог простоять еще тысячу лет, и, тысячу лет расхаживая по передней с медлительностью маятника, оба дяди все так же создавали бы в нем ощущение вечности.

Эта точка, в которую я всматриваюсь, на расстоянии десяти километров подо мной, конечно, человеческое жилище. Но мне оно ничего не говорит. А ведь, может быть, это большой деревенский дом, где расхаживают два дяди, медленно создавая в детском сознании нечто столь же удивительное, как беспредельность морей.

С высоты десять тысяч метров я просматриваю территорию целой провинции, но мне так тесно, что я почти задыхаюсь. Здесь у меня меньше пространства, чем было его в том черном зернышке.

Я потерял ощущение беспредельности. Я слеп к беспредельности. Но в то же время я как бы жажду ее. И мне кажется, что тут я касаюсь какой-то общей меры всех человеческих устремлений.

Когда какая-нибудь случайность пробуждает в человеке любовь, то все в нем подчиняется этой любви и любовь дает ему ощущение беспредельности. Когда я жил в Сахаре, ночью у наших костров, бывало, появлялись арабы, предупреждая нас о грозящей опасности. И тогда пустыня оживала и обретала смысл. Эти вестники создавали ее беспредельность. Тем же одаряет и музыка, когда она прекрасна. И привычный запах старого шкафа, когда он пробуждает и оживляет наши воспоминания. Патетика — это и есть ощущение беспредельности.

Но я понимаю также, что все, относящееся к

человеку, нельзя ни сосчитать, ни измерить. Подлинная беспредельность не воспринимается глазом, она доступна только духу. Ее можно сравнить с языком, потому что язык связывает между собой все.

Мне кажется, теперь я лучше понимаю, что такое духовная культура. Духовная культура — это наследие верований, обычаев и знаний, накопленных веками, — иногда их трудно оправдать логически, но они содержат свое оправдание в самих себе, как дороги, если они куда-то ведут, потому что это наследие открывает человеку его внутреннюю беспредельность.

Дурная литература проповедовала нам бегство. Разумеется, пускаясь в странствия, мы бежим в поисках беспредельности. Но беспредельность нельзя найти. Она созидается в нас самих. А бегство никого никуда не приводило.

Если человеку, чтобы почувствовать себя человеком, нужно участвовать в состязании в беге, петь в хоре или воевать, то это уже узы, которыми он стремится связать себя с другими людьми и с миром. Но до чего же непрочны такие узы! Подлинная духовная культура целиком заполняет человека, даже если он неподвижен.

В каком-нибудь тихом городке, сквозь серую дымку дождливого дня я вижу калеку-затворницу, задумчиво сидящую у своего окошка. Что она есть? Что из нее сделали? О духовной культуре этого городка я буду судить по насыщенности ее внутренней жизни. Чего мы стоим, если вдруг становимся неподвижны?

Внутренняя жизнь молящегося доминиканца насыщена до предела. Человеком в полной мере он становится именно тогда, когда, простершись ниц, неподвижно застывает в молитве. Внутренняя

жизнь Пастера, когда он, затаив дыхание, склоняется над своим микроскопом, насыщена до предела. В полной мере человеком Пастер становится именно тогда, когда наблюдает. Тут он идет вперед. Тут он спешит. Тут он шествует гигантскими шагами, хотя сам он неподвижен, и тут ему открывается беспредельность. Сезанн, безмолвно застывший перед своим этюдом, тоже живет бесценной внутренней жизнью. Человек в полной мере он именно тогда, когда молчит, всматривается и судит. Тогда его полотно становится для него бескрайним, как море.

Беспредельность, дарованная мне домом моего детства или моей комнатой в Орконте, беспредельность, постигнутая Пастером, благодаря тому, что он увидел под микроскопом, беспредельность, открываемая поэмой, — все это хрупкие и неоценимые блага, которыми награждает только духовная культура, ибо беспредельность существует для духа, а не для глаз, и беспредельность непостижима без языка.

Но как вернуть смысл моему языку в час всеобщего хаоса? В час, когда деревья в парке это одновременно и ковчег для многих поколений, и просто помеха для артиллериста. В час, когда пресс бомбардировщиков всей своей тяжестью придавил города и заставил целый народ черным соком разлиться по дорогам. В час, когда Франция являет собой мерзкое зрелище развороченного муравейника. В час, когда мы боремся не с осязаемым противником, а с замерзшими педалями, заклинившимися рукоятками, сорванной нарезкой...

— Можно снижаться!

Я могу снижаться. Я снижусь. Я полечу к Аррасу на малой высоте. За мной тысячелетняя духовная культура, она должна мне помочь. Но она мне не помогает. Сейчас, разумеется, не время пожинать ее плоды.

На скорости восемьсот километров в час и при трех тысячах пятистах тридцати оборотах в минуту я теряю высоту.

Сделав разворот, я расстался с преувеличенно красным полярным солнцем. Впереди, в пяти-шести километрах подо мной, я вижу прямолинейный фронт облаков. Их тень накрыла большой кусок Франции. Под ними — Аррас. Там, наверное, все погружено во тьму. Это чрево огромного котла, в котором медленно кипит война. Забитые дороги, пожары, брошенное военное имущество, разоренные деревни, хаос... невообразимый хаос. Люди бессмысленно копошатся под тучей, как мокрицы под камнем.

Этот спуск подобен разорению. Нам тоже придется шлепать по грязи. Мы возвращаемся к какому-то разгромленному царству варваров. Там, внизу, все разлагается! Мы похожи на богатых путешественников, которые, проведя много лет в стране кораллов и пальм, разорившись, возвращаются домой, где их ждет жалкое прозябание в скаредной семье, плохо вымытая посуда, горечь мелочных дрязг, судебный исполнитель, бесконечные заботы о деньгах, напрасные надежды, позорные выселения, наглость домовладельца, нищета и зловонная смерть в больнице. Здесь смерть, по крайней мере, чиста! Ледяная и огненная смерть. Солнце, небо, лед и огонь. А там, внизу, тебя медленно засасывает глина!

XV

— Курс на юг, капитан. Излишек высоты ликвидируем во французской зоне!

Глядя на эти черные дороги, которые теперь уже хорошо видны, я понимаю, что такое мир. Мир — это определенный порядок. Крестьяне по вечерам возвращаются в деревню. Зерно засыпают в амбары. И аккуратно сложенное белье убирают в шкафы. В дни мира знаешь, где лежит каждая вещь, знаешь, где найти каждого друга. Знаешь, где ты будешь сегодня спать. Да! Мир гибнет, если рвутся нити основы, если ты больше не находишь себе места на свете, если не знаешь, где тот, кого любишь, если муж, ушедший в море, не вернулся домой.

Мир — это когда все вещи пребывают на своих местах и обретают истинный смысл, отчетливо проступающий сквозь их внешнюю оболочку. Когда они составляют часть чего-то большего, нежели они сами, как различные соли земли, соединившиеся в дереве.

Но разразилась война.

И вот я лечу над дорогами, а по ним бесконечной рекой течет черная патока. Говорят, будто население эвакуируют. Но теперь это уже неправда. Население эвакуируется самотеком. В этом великом переселении есть какое-то заразное безумие. В самом деле, куда устремляются все эти беженцы? Они идут на юг, как будто там их ждут кров и пища, как будто там их ожидает гостеприимство. Но ведь там, на юге, есть только битком набитые города, где люди спят в сараях и где запасы продовольствия на исходе. Где даже самые щедрые мало-пома-

лу ожесточаются из-за бессмысленности этого нашествия, которое мало-помалу, словно поток грязи, поглощает их самих. Не может же одна провинция приютить и прокормить всю Францию!

Куда они идут? Они и сами не знают! Они шагают к каким-то призрачным стоянкам, потому что едва лишь их караван доберется до оазиса, как оазиса уже нет и в помине. Каждый оазис исчезает, когда приходит его черед, и в свой черед он вливается в караван. И если караван доберется до настоящей деревни, которая делает вид, будто она еще живет, он в первый же вечер высасывает из нее все жизненные соки. Он объедает ее, как черви объедают кость.

Враг движется быстрее беженцев. Кое-где танки присоединяются к их потоку, и тогда он густеет и ползет назад. Иногда в этом месиве увязают целые немецкие дивизии, и порою можно наблюдать парадоксальное явление: те, что в других местах убивали, здесь подают напиться.

За время отступления мы стояли, быть может, в десяти деревнях, переходя из одной в другую. Мы погружались в этот тягучий ил, медленно тянувшийся через наши деревни.

— Куда вы едете?

— Сами не знаем.

Они вообще ничего не знали. Никто ничего не знал. Они эвакуировались. Нигде уже не было ни одного свободного угла. Все дороги были забиты. И все-таки они эвакуировались. На севере кто-то ударом ноги разворошил муравейник, и муравьи разбредались кто куда. Как подобает трудолюбивым муравьям. Без паники. Без надежды. Без отчаяния. Словно выполняя долг.

— Кто вам велел эвакуироваться?

Приказ всегда исходил от мэра, или от учителя,

или от помощника мэра. Ночью, часов около трех, он внезапно будил всю деревню:

— Эвакуируемся.

Они этого ждали. Вот уже две недели, как мимо них тянулись беженцы, и они отказались верить в незыблемость своего дома. А между тем человек уже давно перестал быть кочевником. Он строил деревни, которые стояли веками. Он полировал мебель, и она служила его правнукам. Отчий дом принимал человека при рождении и, как надежный корабль, вез его до самой смерти, а потом переправлял с одного берега на другой и его сына. Но вот оседлой жизни пришел конец. И люди уходили, даже не понимая зачем!

XVI

Немало горя пришлось нам хлебнуть на дорогах войны.

Иногда бывают такие задания, когда за одно утро надо оглядеть и Эльзас, и Бельгию, и Голландию, и север Франции, и море. Но чаще всего мы решаем земные задачи, и наш горизонт обычно ограничивается дорожной пробкой на каком-нибудь перекрестке. Дня три тому назад, например, мы с Дютертром были свидетелями того, как распалась деревня, в которой мы жили.

Мне, наверно, никогда не избавиться от этого неотвязного воспоминания. Около шести часов мы выходим из дома и видим неописуемый хаос. Все гаражи, все риги, все сараи изрыгнули на узкие улочки самые разнообразные средства передвижения: новые автомобили и допотопные телеги, полвека дремавшие в пыли, повозки для сена и грузовики, автобусы и двуколки. Если бы хорошенько по-

искать, на этой ярмарке наверняка нашлись бы и дилижансы! На свет извлечены любые ящики на колесах. Туда сваливают семейные сокровища. В продырявленных простынях, из которых торчат острые выступы, их как попало волокут к повозкам. И все эти сокровища превращаются в хлам.

Прежде они определяли лицо дома. Они были предметом домашнего культа. У каждой вещи было свое место, каждая стала необходимой по привычке и, овеянная воспоминаниями, была дорога потому, что участвовала в созидании домашнего очага. Но люди, полагая, будто эти вещи ценны сами по себе, оторвали их от камина, от стола, от стены, свалили в кучу, и теперь обнаружилось, что это всего лишь рухлядь, которой место на барахолке. От благоговейно хранимых реликвий, если их свалить в кучу, просто воротит!

Распад начинается прямо на глазах.

— Да вы что, все с ума посходили? Что здесь происходит?

Хозяйка кафе, куда мы заглядываем, пожимает плечами:

— Эвакуируемся.

— Господи! Да почему?

— Неизвестно. Мэр приказал.

Дел у нее по горло. Она исчезает под лестницей. Мы с Дютертром смотрим на улицу. На грузовиках, легковых автомобилях, телегах, в шарабанах громоздятся вперемежку дети, матрацы и кухонная утварь.

Особенно жалкими выглядят старые автомобили. Крепкая лошадь между оглоблями телеги производит впечатление чего-то надежного. Лошадь не требует запасных частей. Чтобы починить телегу, довольно и трех гвоздей. Но вся эта рухлядь механи-

ческой эры! Эти поршни, клапаны, магнето и шестеренки, — долго ли они будут действовать?

— ...Капитан... не поможете ли?

— Охотно. Чем могу служить?

— Выведите машину из сарая...

Я смотрю на нее с изумлением.

— Вы... вы не умеете водить машину?

— Ничего, на дороге справлюсь... там полегче будет...

С ней еще невестка и семеро ребятишек.

На дороге! Там она будет ползти по двадцать километров в день, через каждые двести метров останавливая машину! Через каждые двести метров в безнадежной неразберихе дорожных заторов ей придется тормозить, выключать мотор, выжимать сцепление, включать его, то и дело менять скорость. Она переломает все! А бензин, которого у нее не хватит! А масло! И вода, про которую она забудет!

— Смотрите, вода! Радиатор у вас течет, как худое ведро!

— Что же делать! Машина не новая...

— В пути-то пробудете не меньше недели... Справитесь ли?

— Сама не знаю...

Не проехав и десяти километров, она уже раза три врежется в другие машины, заклинит сцепление, проколет баллоны. Тогда она, ее невестка и семеро ребятишек, столкнувшись с непосильными трудностями, вовсе откажутся что-либо предпринимать, сядут у обочины дороги в ожидании пастуха. Но пастухи...

Пастухи... Просто удивительно, до чего же их не хватает! Мы с Дютертром наблюдали, как ведут себя овцы без пастуха. Они уходят под оглушительный грохот механизмов. Три тысячи поршней. Шесть

тысяч клапанов. Все это скрипит, скрежещет, стучит. В некоторых радиаторах кипит вода. Вот так, напрягаясь изо всех сил, трогается в путь этот обреченный караван. Караван без запасных частей, без шин, без горючего, без механиков. Какое безумие!

— А нельзя вам остаться дома?

— О, мы рады бы остаться!

— Тогда зачем же уезжать?

— Нам велели...

— Кто вам велел?

— Мэр...

Опять этот мэр.

— Еще бы! Все мы рады бы остаться!

И это верно. Здесь не чувствуется никакой паники, здесь царит атмосфера слепой покорности. Пользуясь этим, мы с Дютертром пытаемся образумить некоторых:

— Выгрузили бы вы лучше все это. Тогда хоть воду будете пить из своих колодцев...

— Ну ясно, так было бы лучше!..

— Но вас же никто не гонит?!

Наши слова возымели действие. Вокруг нас собралась кучка людей. Нас слушают. Одобрительно кивают головой.

— ...Капитан дело говорит!

У меня находятся приверженцы. Один дорожный рабочий, которого я обратил в свою веру, проповедует еще горячее меня:

— Я же говорил! Вот выедем на шоссе, будем жрать щебенку!

Они спорят. Потом приходят к согласию. Они останутся. Несколько человек идут убеждать остальных. Но вот они возвращаются в унынии.

— Ничего не выходит. Придется и нам уезжать.

— Почему?

— Булочник уехал. Кто же будет печь хлеб? Деревня уже разваливается. Где-то образовалась трещина. Через эту трещину вытечет все. Тут уж ничего не поделаешь.

Дютертр рассуждает по-своему:

— Вся трагедия в том, что людям внушили, будто война — явление ненормальное. В прежние времена они оставались дома. Война и жизнь переплетались...

Снова появляется хозяйка кафе. Она тащит мешок.

— Мы вылетаем через сорок пять минут... Не дадите ли нам по чашке кофе?

— Бедные вы мои детки!

Она вытирает глаза. Нет, она плачет не из-за нас. И не из-за себя. Она плачет от изнеможения. Она чувствует, что ее уже поглотил хаос этого расползающегося каравана, который с каждым километром будет разваливаться все больше и больше.

А потом, где-нибудь в открытом поле, вражеские истребители, снижаясь, то и дело будут выплевывать на это жалкое стадо пулеметные очереди. Удивительнее всего то, что обычно они не особенно-то и усердствуют. Подожгут несколько машин, и довольно. Убьют несколько человек, и хватит. Нас обслуживают по высшему разряду — нас как бы предупреждают. Словно собака, которая кусает за ноги овец, чтобы подогнать стадо. А здесь просто хотят создать панику. Но какой смысл в этих коротких случайных налетах, если они почти ни к чему не приводят? Противник не слишком старается развалить караван. Впрочем, караван разваливается и без его стараний. Машина разваливается сама по себе. Машина создана для мирных, спокойных людей, которым некуда торопиться. Когда машину некому ремонтировать, налаживать, красить, она старится с

необыкновенной быстротой. Сегодня вечером все эти автомобили будут выглядеть так, словно им тысяча лет.

Мне кажется, что я присутствую при агонии машины.

Вот этот с королевским величием нахлестывает свою лошадь. Он сияет, сидя на козлах, как на троне. Вдобавок он, вероятно, еще и пропустил рюмочку.

— Эй, вы там! Чему радуетесь?

— Да ведь это же светопреставление!

Мне становится как-то не по себе, когда я думаю, что все эти труженики, все эти люди с их скромными обязанностями, с их самыми разнообразными достоинствами, уже сегодня вечером превратятся в прожорливых насекомых, в саранчу.

Они рассеются по полям и начнут пожирать урожай.

— Кто вас будет кормить?

— Почем мы знаем...

Как снабдить продовольствием миллионы беженцев, затерянных на дорогах, по которым двигаться можно лишь со скоростью от пяти до двадцати километров в день? Ведь если бы продовольствие даже и существовало, его невозможно было бы подвезти.

Это смешение людей и железного лома напомнило мне Ливийскую пустыню. Мы с Прево жили на безлюдном плато, покрытом черными, сверкавшими на солнце камнями, на плато, словно закованном в железную броню.

И я с отчаянием взираю на это зрелище: долго ли может прожить стая саранчи, опустившаяся на асфальт?

— А чтобы напиться, вы будете ждать дождя?

— Почем мы знаем...

В течение десяти дней через их деревню беспрерывно шли беженцы с севера. Десять дней они были свидетелями этого великого переселения. Но вот настал их черед. И они занимают свое место в процессии. О, конечно, без всякой надежды.

— А мне бы все-таки хотелось умереть у себя дома.

— Каждому хотелось бы умереть у себя дома.

И это правда. Вся деревня рушится, как карточный домик, а ведь никому не хотелось уезжать.

Если бы у Франции даже и были резервы, подбросить эти резервы оказалось бы просто немыслимо, потому что все дороги забиты. На худой конец, несмотря на поломанные и врезавшиеся друг в друга машины, несмотря на непроходимые дорожные пробки, кое-как еще можно было бы двигаться по течению, вместе со всем потоком, но что делать, если нужно двигаться против него?

— Да ведь резервов-то нет, — говорит мне Дютертр, — а стало быть, нечего и волноваться.

Ходят слухи, будто со вчерашнего дня правительство запретило эвакуацию деревень. Но приказы передаются бог знает как, потому что движение по дорогам невозможно. Телефонные линии перегружены, перерезаны или ненадежны. И, кроме того, дело вовсе не в приказах. Дело в том, что нужно изобрести новую мораль. Уже тысячу лет людям внушают, что женщины и дети должны быть избавлены от войны. Война — это дело мужчин. Мэры прекрасно знают этот закон, знают его и помощники мэров, и школьные учителя. Но вот они получают приказ запретить эвакуацию, то есть заставить женщин и детей остаться под бомбежкой. Им нужен целый месяц, чтобы приспособить свое сознание к новым

условиям. Нельзя разом перевернуть всю систему мышления. А враг наступает. И тогда мэры, их помощники и школьные учителя гонят своих подопечных на большую дорогу. Что остается делать? Где правда? И бредут эти овцы без пастуха.

— Нет ли здесь врача?

— Вы что, нездешние?

— Нет, мы с севера.

— Зачем вам врач?

— Жена вот-вот родит в телеге...

Среди кухонной утвари, среди заполнившего все железного лома, как на терниях.

— Да разве вы не могли это предвидеть?

— Мы уже четыре дня в дороге.

Дорога — это неумолимый поток. Где остановиться? Поток сметает на своем пути деревни, которые, лопаясь поочередно, изливаются в него и наполняют общую сточную канаву.

— Нет, врача здесь нет. Врач авиагруппы за двадцать километров отсюда.

— Ну, что ж, ладно...

Человек вытирает пот с лица. Все рушится. Жена его рожает в телеге, среди кухонной утвари. И во всем этом нет ни капли жестокости. Это прежде всего до дикости бесчеловечно. Никто не жалуется, жалобы не имеют никакого смысла. Жена его вот-вот умрет, а он не жалуется. Ничего не поделаешь. Это какой-то тяжелый сон.

— Если бы можно было хоть где-нибудь остановиться!..

Найти где-нибудь настоящую деревню, настоящую гостиницу, настоящую больницу... но больницы тоже эвакуируют, бог знает зачем! Таково уж правило игры. Придумывать новые правила нет вре-

мени. Найти где-нибудь настоящую смерть! Но настоящей смерти больше нет. Есть человеческие тела, которые разваливаются, как автомашины.

И я ощущаю во всем необходимость, потерявшую всякий смысл, необходимость, которая уже перестала быть необходимостью. Люди проходят пять километров в день, спасаясь от танков, успевающих за это время продвинуться без дорог более чем на сто километров, и от самолетов, летящих со скоростью шестьсот километров в час. Так вытекает сироп из опрокинутой бутылки. Жена этого человека рожает, а времени у него сколько угодно. Это необходимо сию минуту. И вместе с тем в этом уже нет необходимости. Это повисло в неустойчивом равновесии между минутой и вечностью.

Все замедлилось, как рефлексы умирающего. Огромное стадо топчется, изнемогая, перед воротами бойни. Сколько же их, обреченных погибнуть на щебенке, — пять, десять миллионов? Целый народ устало и понуро топчется на пороге вечности.

И, право, я не представляю себе, каким образом им удастся выжить. Человек ведь не может питаться травой. Они и сами смутно понимают это, но не приходят в ужас. Выбитые из колеи, оторванные от своего труда, своих обязанностей, они перестали что-либо значить. Самая их личность и то стерлась. В них почти ничего не осталось от них самих. Они почти не существуют. Потом, задним числом, они придумают себе более возвышенные страдания, но сейчас они страдают главным образом от боли в пояснице — чересчур тяжела их поклажа, — оттого что узлы прорвались и из простыней вывалилось все содержимое, оттого что слишком часто приходится толкать машину, чтобы сдвинуть ее с места.

О поражении — ни слова. Оно и так очевидно. У вас нет потребности говорить о том, что составляет вашу сущность. Эти люди и есть само поражение.

Передо мной внезапно возникает жуткий образ: Франция, из которой вываливаются внутренности. Надо немедленно зашивать. Нельзя терять ни секунды: эти люди обречены...

Вот уже началось. Они задыхаются, как рыба без воды.

— Нет ли здесь молока?..

Со смеху умрешь от такого вопроса!

— Мой малыш со вчерашнего дня ничего не ел...

Речь идет о шестимесячном младенце, который пока еще производит много шума. Но этот шум продлится недолго: рыбы без воды... Здесь нет молока. Здесь только железный лом. Скопище ненужного железного лома, который, рассыпаясь с каждым километром, теряя гайки, болты, куски жести, увлекает целый народ в это чудовищно-бесполезное переселение и тащит его за собой в небытие.

Идут разговоры о том, что немного южнее дорогу обстреливают самолеты. Поговаривают даже о бомбах. Мы и в самом деле слышим глухие разрывы. Значит, говорят не зря.

Но толпу это не пугает. Кажется, она даже немного оживилась. Эта очевидная опасность представляется ей менее страшной, чем опасность завязнуть в железном ломе.

Какую замечательную схему построят впоследствии историки! Каких только осей они не придумают, лишь бы придать смысл этой каше! Они уцепятся за слова какого-нибудь министра, за решение како-

го-иибудь геиерала, за совещаиие какой-иибудь комиссии и из этой вереиицы призраков создадут исторические беседы, иа кого-то возложат ответствеиность, кого-то объявят весьма дальиовидиым. Они придумают, что один соглашался, другой возражал, один произиосил моиологи в духе Корнеля, другой совершал предательства. Я-то прекрасио зиаю, что такое эвакуироваииое миинстерство. Одиажды мие случилось посетить одио из иих. Я сразу поиял, что правительство, покииувшее свою резидеицию, перестает быть правительством. Это как с человеческим телом. Если иачать перетаскивать желудок сюда, печеиь туда, кишки еще куда-иибудь, то все это уже ие будет составлять организма. Я пробыл двадцать мииут в миинстерстве авиации. Да, миинстр может воздействовать иа своего секретаря. Воздействовать чудесиым образом. Потому что миинстра с секретарем еще связывает провод звоика. Неповреждеииый провод звоика. Министр иажимает киопку, и секретарь является.

Это уже большая удача.

— Машииу, — приказывает миинстр.

На этом его власть коичается. Секретарь поворачивается кругом. Но секретарь ие зиает, существует ли иа свете автомобиль миинстра. Электрический провод ие связывает секретаря с шофером машииы. Шофер затеряи где-то во вселеииой. Что могут оии, правители, зиать о войие? Связь до того разладилась, что даже иам и то поиадобилась бы теперь целая иеделя, чтобы выслать бомбардировщиков против обнаружеииой иами таиковой дивизии. И какие сведеиия могут получить правители о страие, из которой вываливаются виутреииости? Доиесения распростраияются со скоростью двадцать километров в день. Телефоиы перегружеиы или работают плохо и не могут передать во всей ее пол-

ноте Сущность, которая в это самое время разваливается на части. Правительство висит в пустоте, в полярной пустоте. Время от времени до него доносятся отчаянные вопли о помощи, но вопли абстрактные, сведенные всего к трем строчкам. Откуда правителям знать, не умерли ли уже с голоду десять миллионов французов? А этот вопль десяти миллионов людей содержится в одной фразе. Достаточно одной фразы, чтобы сказать:

— Приходите в четыре часа к X.

Или:

— Говорят, погибло десять миллионов человек.

Или:

— Блуа горит.

Или:

— Ваш шофер нашелся.

Все это одинаковым тоном. Подряд. Десять миллионов человек. Машина. Восточная армия. Западная цивилизация. Шофер нашелся. Англия. Хлеб. Который час?

Я вам даю семь букв. Эти семь букв взяты из Библии. Попробуйте-ка воссоздать с их помощью Библию!

Историки забудут реальные события. Они выдумают каких-то здравомыслящих людей, связанных таинственными нитями с миром, в котором все для них было ясно, способных на глубокие обобщения и на важные выводы по всем правилам картезианской логики. Они сумеют отличить добро от зла. Героев от предателей. А я задам простой вопрос:

— Чтобы предавать, надо отвечать за что-то, чем-то управлять, на что-то воздействовать, что-то знать. В наши дни для этого надо быть гением. Почему же, спрашивается, предателей не награждают орденами?

Всюду понемногу уже проглядывает облик мира. Но не того четко очерченного мира, который как новый исторический этап обычно следует за войной, ясно завершаемой договором. Это какой-то непонятный период, это конец всего. Конец, который никак не может прийти к концу. Болото, в котором мало-помалу увязает всякий порыв. Приближения развязки — хорошей или плохой — не чувствуется. Напротив. Все мало-помалу погружается в гниль временного, похожего на вечность. Развязки не будет, потому что не за что ухватиться, чтобы вытащить страну из этого состояния, как вытаскивают утопленницу, намотав на руку ее волосы. Все распалось. И даже при самом энергичном усилии в руке остается всего лишь прядь волос. Наступающий мир не есть плод принятого человеком решения. Он распространяется, как проказа.

Там, подо мною, на дорогах, по которым расползается караван беженцев и немецкие танкисты то убивают людей, то подают им напиться, — там все напоминает трясину, где земля неотличима от воды. Мир, который уже примешивается к войне, разлагает войну.

Мой друг Леон Верт однажды подслушал на дороге поразительный разговор, о котором он собирается рассказать в большой книге. Слева от дороги — немцы, справа — французы. Между ними — медленный водоворот эвакуации. Сотни женщин и детей кое-как выбираются из горящих машин. Артиллерийский лейтенант, зажатый в этой пробке, пытается привести в боевое положение семидесятимиллиметровую пушку, по которой постреливает противник. Так как противник бьет мимо цели и косит людей на дороге, а лейтенант, упорствуя в выполнении своего непонятного долга, весь в поту, пытается спасти позицию, хотя она не продержится



и двадцати минут (их тут всего двенадцать артиллеристов!), то матери подбегают к нему и кричат:

— Убирайтесь вон! Убирайтесь! Вы подлецы!

Лейтенант со своими солдатами уходит. Они повсюду сталкиваются с проблемами, которые ставит перед ними мир. Убивать малышей на дорогах, конечно, недопустимо. А ведь каждому солдату, который стреляет, приходится стрелять в спину ребенку. Каждый продвигающийся или пытающийся продвинуться грузовик рискует погубить множество людей. Потому что, двигаясь против течения, он создает непроходимую пробку.

— Вы с ума сошли! Пропустите нас! Дети умирают!

— Что поделаешь, война...

— Какая война? Где война? За три дня в этом направлении вы продвинетесь на шесть километров!

Несколько солдат, затерянных в своем грузовике, едут на сборный пункт, где их, наверняка, уже давно никто не ждет. Но у них одно на уме — они хотят выполнить свой простейший долг.

— Мы воюем...

— ...лучше бы нас подобрали! Есть у вас совесть?

Громко кричит ребенок.

— А этот...

Этот уже не кричит. Нет молока, нет и крика.

— Что поделаешь, война...

Они повторяют эти слова с тупым и безнадежным упорством.

— Да вам до нее никогда не добраться, до вашей войны! Вы подохнете здесь вместе с нами!

— Мы воюем...

Они уже и сами не уверены в том, что говорят.

Они уже и сами не уверены в том, что воюют. Они никогда не видели противника. Они катят на грузовике к какой-то зыбкой цели, тающей быстрее, чем мираж. И встречают только этот мир гниющей свалки.

Так как в этом хаосе застревает все, они тоже слезли с грузовика. Их окружают:

— Есть у вас вода?..

И они раздают воду.

— А хлеб?..

И они раздают хлеб.

— Неужели вы оставите ее подыхать?

В сломанной машине, которую оттащили на обочину, хрипит женщина.

Ее высвобождают. Берут на грузовик.

— А ребенка?

Ребенка тоже берут на грузовик.

— А эту, она же рожает?

Берут и эту.

А потом еще одну, потому что она плачет.

Провозившись целый час, грузовик с трудом вывели из затора. Его повернули на юг. И он, как случайно закатившийся сюда валун, последует за уносящим его потоком беженцев. Солдаты приобщились к миру. Потому что они никак не могли найти войну.

Потому что мускулатура войны невидима. Потому что, стреляя, вы попадаете в ребенка. Потому что на сборном пункте воинских частей вы наталкиваетесь на рожениц. Потому что пытаться передать сведения или получить приказ так же бессмысленно, как вступать в спор с Сириусом. Армии больше нет. Есть только солдаты.

Они приобщились к миру. Силой обстоятельств они превратились в механиков, пастухов, санитаров,

врачей. Они чинят машины этим беспомощным людям, которые сами не умеют вылечить свои развалины на колесах. И, стараясь изо всех сил, эти солдаты не знают, кто они — герои или преступники, подлежащие суду военного трибунала. Они не удивятся, если их наградят орденами. И не удивятся, если их поставят к стенке и всадят им по двенадцать пуль в голову. Не удивятся, если их демобилизуют. Их ничто не удивит. Они давно уже перешли пределы удивления.

Все превратилось в сплошное варево, где ни один приказ, ни одно движение, ни одно известие, ни одна волна — ничто не сможет распространиться дальше трех километров. И как деревни одна за другой рушатся в общую сточную канаву, так и военные грузовики, поглощаемые мирными заботами, один за другим приобщаются к миру. Эти горсточки людей, которые, не колеблясь, пошли бы на смерть, — но перед ними не встает такая необходимость, — хватаются за первое попавшееся дело. И вот они чинят оглоблю старой повозки, куда три монахини насажали дюжину ребятишек и, спасая малышей от смерти, отправились с ними бог весть в какое паломничество, бог весть к какому сказочному убежищу.

Подобно Алиасу, который прятал в карман револьвер, я не стану осуждать солдат, отказывающихся воевать. Что могло бы воодушевить их? Откуда взяться волне, которая бы их всколыхнула? Где общий смысл, способный их объединить? Они ничего не знают об остальном мире, кроме тех, всегда невероятных, слухов, которые зародились

где-то иа дороге, в трех-четырех километрах от иих, в виде нелепых догадок и, медлеиио просочившись сквозь три километра варева, прииялн характер непреложиой истииы. Соедииеииые Штаты вступили в войиу. Римский папа покоичил жизиь самоубийством. Русские самолеты подожгли Берлии. Три дня иазад подписано перемирие. Гитлер высадился в Аиглии.

Нет пастуха для жеищии и детей, ио иет его и для солдат. Геиерал распоряжается адъютаитом, мииистр — секретарем. И, быть может, своим красноречием ои способеи воодушевить его. Алиас распоряжается летиыми экипажами. И ои может вызвать у них готовиость пойти иа смерть. Сержант с воениого грузовика распоряжается десятком подчииеииых ему солдат. Но ои не в силах связаться ии с кем другим. Даже если предположить, что какой-иибудь геииальный полководец, чудом умудрившийся охватить взглядом все, придумает плаи иашего спасеиия, то для осуществления своего плаиа этот полководец сможет располагать только звоиковым проводом длиною двадцать метров. А в качестве маиевреиной силы, иеобходимой для победы, у иего будет секретарь, если иа другом коице провода еще будет существовать секретарь.

И когда по дорогам бредут кто куда эти солдаты из разбитых частей, эти воины, оставшиеся иа войие без работы, в иих не заметио того отчаяния, какого можио было бы ждать от побежденных патриотов. Оии смутио желают мира, это верно. Но мир для иих — всего лишь коиец этого иевероятиого хаоса и возможиость виовь обрести себя, свою личиость, пусть самую скромиую. Так бывший

сапожник во сне забивает гвозди. И, забивая гвозди, он кует вселенную.

И если они идут куда глаза глядят, то это от всеобщей неразберихи, которая разобщает их, а вовсе не от страха перед смертью. Их ничто не страшит — они опустошены.

XVII

Существует непреложный закон: побежденных нельзя сразу превратить в победителей. Когда об армии говорят, что сперва она отступала, а теперь дает отпор, то это всего лишь словесное упрощение, потому что отступавшие войска и те, что сейчас ведут бой, не одни и те же. Отступавшая армия уже не была армией. И дело не в том, что эти солдаты были недостойны победить, а в том, что отступление разрушает все связи — и материальные и духовные, — объединявшие между собой людей. Массу разобщенных солдат, которые, отступая, просочились в тыл, заменяют свежими резервами, действующими, как единый организм. Они-то и задерживают противника. А беглецов собирают в кучу и из этого бесформенного теста снова лепят армию. Если нет резервов, которые можно бросить в бой, первое же отступление становится непоправимым.

Объединяет одна лишь победа. Поражение не только разобщает людей, но и приводит человека в разлад с самим собою. Если беглецы не оплакивают гибнущую Францию, то именно потому, что они побеждены. Потому, что Франция побеждена не вокруг них, а в них самих. Оплакивать Францию значило бы уже быть победителем.

Почти всем — и тем, кто еще сопротивляется, и тем, кто перестал сопротивляться, — лицо побежденной Франции явится потом, в часы безмолвия. Сегодня каждый целиком поглощен какой-нибудь простейшей деталью, которая испортилась или отказалась служить, — попавшим в аварию грузовиком, дорожной пробкой, заклинившейся рукояткой сектора газа, бессмысленным заданием. То, что задание становится бессмысленным, — признак катастрофы. Потому что бессмысленным становится любое усилие, направленное на то, чтобы предотвратить катастрофу. Потому что все в разладе с самим собой. Ты оплакиваешь не всеобщую катастрофу, а единственный предмет, который ты способен осязать, за который ты отвечаешь и который пришел в негодность. Гибнущая Франция в море обломков, и каждый из них уже ничего не значит: ни это задание, ни этот грузовик, ни эта дорога, ни эта подлая рукоятка сектора газа.

Конечно, разгром — печальное зрелище. Во время разгрома низкие души обнаруживают свою низость. Грабители оказываются грабителями. Общественные устои рушатся. Армия, дошедшая до предела отвращения и усталости, разлагается в этой бессмыслице. Все это — неизбежные проявления разгрома, как бубоны — проявление чумы. Но если вашу любимую переедет грузовик, неужели вы станете корить ее за уродство?

Поражение накладывает на побежденных печать вины, и в этом его несправедливость. Может ли поражение обнаружить принесенные жертвы, беззаветную верность долгу, добровольные лишения, неусыпные заботы, если бог, решающий исход боев, со всем этим не пожелал считаться? Может ли

оно обнаружить любовь? Поражение обнаруживает беспомощность военачальников, разброд в войсках, инертность толпы. Нередко люди и в самом деле уклонялись от исполнения долга, но что означало само это уклонение? Достаточно было распространиться известию о контрударе русских или о вступлении в войну американцев, чтобы люди преобразились. Чтобы их объединила общая надежда. Такой слух каждый раз очищал все, как порыв морского ветра. Не надо судить Францию по результатам постигшей ее катастрофы.

Францию надо судить по ее готовности идти на жертву. Франция приняла бой вопреки правде логиков. Логики нам твердили: «Немцев восемьдесят миллионов. За один год мы не можем создать сорок миллионов французов, которых нам не хватает. Мы не можем превратить наши пшеничные поля в угольные шахты. Мы не можем надеяться на помощь Соединенных Штатов. Так почему же, если немцы посягают на Данциг, — а спасти его не в наших силах! — мы, во избежание позора, должны покончить жизнь самоубийством? Разве позорно, что наша земля дает больше зерна, чем машин, и что нас вдвое меньше, чем их? Почему позор должен лечь на нас, а не на весь мир?» Логики были правы. Война для нас означала разгром. Но разве должна была Франция ради того, чтобы избавить себя от поражения, не принимать боя? Не думаю. И Франция интуитивно пришла к тому же решению: никакие увещевания не заставили ее уклониться от боя. Дух в нашей стране одержал верх над Разумом.

Жизнь всегда с треском ломает все формулы. И разгром, как он ни уродлив, может оказаться единственным путем к возрождению. Я знаю: чтобы выросло дерево, должно погибнуть зерно.

Первая попытка к сопротивлению, если она предпринимается слишком поздно, всегда обречена на неудачу. Зато она пробуждает силы сопротивления. И из нее, может быть, вырастет дерево. Как из зерна.

Франция сыграла свою роль. Весь мир, словно некий арбитр, безучастно взирал на то, что творил с нею враг, а потому ее роль состояла в том, чтобы дать раздавить себя и на время оказаться погребенной в молчании. Когда идут в атаку, кому-то приходится быть впереди. И первых почти всегда убивают. Но, для того чтобы атака состоялась, авангард должен погибнуть.

И наша роль была самой высокой, потому что, не строя никаких иллюзий, мы согласились противопоставить одного нашего солдата трем их солдатам и наших крестьян их рабочим! Я не хочу, чтобы о нас судили по уродливым проявлениям разгрома! Неужели о том, кто готов сгореть в полете, станут судить по его ожогам? Ведь он тоже превратится в урода.

XVIII

И все-таки эта война, если отвлечься от того духовного смысла, который сделал ее для нас необходимой, велась так, что показалась нам войной нелепой. Я никогда не стыдился этого слова. Не успели мы объявить войну, как тут же, не имея возможности идти в наступление, начали ждать, когда нас соблаговолят уничтожить!

И нас уничтожили.

Для борьбы с танками в нашем распоряжении были только снопы пшеницы. Снопы пшеницы для этого совершенно не годились. И теперь уничто-

жение завершено. Нет больше ни армии, ни резервов, ни связи, ни вооружения.

А я продолжаю свой полет с невозмутимой деловитостью. Я снижаюсь в направлении немецких позиций со скоростью восемьсот километров в час и с числом оборотов три тысячи пятьсот тридцать в минуту. Зачем? То есть как зачем? Да затем, чтобы нагнать на немцев страху! Чтобы они убрались с нашей территории! Поскольку сведения, которых от нас ожидают, бесполезны, это задание не может иметь иной цели.

Нелепая война.

Впрочем, я преувеличиваю. Я сильно снизился. Управление и рукоятки оттаяли. Я лечу по горизонтали с нормальной скоростью. Я прорываюсь к немецким позициям со скоростью всего лишь пятьсот тридцать километров в час и с числом оборотов две тысячи двести в минуту. А жаль. Я напугаю немцев гораздо меньше.

Нас будут упрекать за то, что мы назвали эту войну нелепой войной.

Но ведь «нелепой» называем ее мы сами! Значит, нам она кажется нелепой. Мы вправе подшучивать над ней, как нам угодно, потому что все жертвы мы берем на себя. Я вправе подшучивать над собственной смертью, если такая шутка может меня развеселить. И Дютертр тоже. Я вправе тешить себя парадоксами. В самом деле, зачем до сих пор пылают деревни? Зачем их жители лишились крова? Зачем мы с такой непоколебимой убежденностью бросаемся в механизированную мясорубку?

Мне позволено все, потому что в эту секунду я прекрасно сознаю, что делаю. Я иду на смерть. Я иду не на риск. Я принимаю не бой. Я принимаю смерть. Мне открылась великая истина. Война —

это приятие не риска. Это приятие не боя. Наступает час, когда для бойца — это просто-напросто приятие смерти.

В эти дни, когда за границей считали, что принесенные нами жертвы недостаточны, я спрашивал себя, глядя, как улетают и не возвращаются наши экипажи: «Ради чего мы отдаем свою жизнь? Кто нам за это заплатит?»

Ибо мы действительно умираем. Ибо за две недели уже погибло сто пятьдесят тысяч французов. Может, их смерть вовсе и не свидетельствует о каком-то необычайном сопротивлении. Я отнюдь не прославляю необычайное сопротивление. Оно невозможно. Но ведь есть же отряды пехотинцев, которые идут на смерть, защищая обреченную ферму. Есть авиагруппы, которые тают, как воск, брошенный в огонь.

Взять хотя бы нас, летчиков группы 2/33, — почему мы все еще соглашаемся умирать? Чтобы снискать уважение мира? Но уважение предполагает наличие судьи. А кто из нас предоставит кому бы то ни было право судить? Мы боремся во имя дела, которое считаем общим делом. На карту поставлена свобода не только Франции, но всего мира, и выступать в роли арбитра слишком удобно. Мы сами судим арбитров. Мои товарищи из авиагруппы 2/33 судят арбитров. И пусть не говорят нам, беспрекословно улетающим в разведку, когда на возвращение есть только один шанс против трех (и то если задание легкое!), пусть не говорят летчикам из других авиагрупп, пусть не говорят моему товарищу, которому осколок снаряда так изуродовал лицо, что он на всю жизнь лишился естественного права нравиться женщине, лишился его,

как узник за решетками тюрьмы, гарантировав себе целомудрие собственным уродством надежнее, чем крепостными стенами, пусть не говорят нам, что нас судят зрители! Тореадоры существуют для зрителей, но мы не тореадоры. Если бы Ошедэ сказали: «Ты должен вылететь, потому что тебя судят свидетели», Ошедэ ответил бы: «Ошибаетесь. Это я, Ошедэ, сужу свидетелей...»

Так за что в конце концов мы продолжаем сражаться? За Демократию? Если мы умираем за Демократию, значит, мы солидарны с демократическими странами. Пусть же они сражаются вместе с нами! Но самая могущественная из них, единственная, которая могла бы нас спасти, вчера уклонилась от этого и уклоняется еще сегодня. Ну, что ж! Это ее право. Но тем самым она показывает нам, что мы сражаемся лишь за свои интересы. А между тем мы знаем, что все потеряно.

Тогда зачем мы продолжаем умирать?

От отчаяния? Но отчаяния нет! Вы понятия не имеете о разгроме, если думаете, что он порождает отчаяние.

Есть истина более высокая, чем все доводы разума. Что-то проникает в нас и управляет нами, чему я подчиняюсь, но чего не сумел еще осознать. У дерева нет языка. Мы — ветви дерева. Есть истины очевидные, хотя их и невозможно выразить словами. Я умираю не для того, чтобы задержать нашествие, потому что нет такой крепости, укрывшись в которой я мог бы сопротивляться вместе с теми, кого люблю. Я умираю не ради спасения чести, потому что не считаю, что задета чья-либо честь, — я отвергаю судей. И я умираю не от отчаяния. И все-таки я знаю: Дютертр, который сейчас смотрит

на карту, рассчитает, что Аррас находится где-то там, на курсовом угле сто семьдесят пять градусов, и через полминуты скажет мне:

— Курс сто семьдесят пять, господин капитан...

И я возьму этот курс.

XIX

— Сто семьдесят два.

— Понял. Сто семьдесят два.

Пусть будет сто семьдесят два. Представляю себе эпитафию: «Вел самолет точно по курсу сто семьдесят два». Сколько времени можно продержаться, бросая столь нелепый вызов врагу? Я лечу на высоте семьсот пятьдесят метров под потолком из сплошных облаков. Поднимись я еще на тридцать метров, и Дютертр уже ничего не сможет сфотографировать. Приходится лететь прямо на виду, предоставляя немецкой артиллерии учебную цель. Семьсот метров — запрещенная высота. Тут служишь мишенью для всей равнины. Принимаешь на себя огонь всей армии. Становишься доступен орудиям любого калибра. Целую вечность остаешься в зоне обстрела каждого орудия. Это уже не обстрел — это избиение палками. Как будто тысячью палок стараются сбить один орех.

Я все досконально продумал: на парашют рассчитывать нечего. Когда подбитый самолет начнет падать, только на то, чтобы открыть люк, потребуется больше секунд, чем продлится само падение. Чтобы открыть люк, надо семь раз повернуть тугую рукоятку. А кроме того, на большой скорости крышка люка деформируется и перестает входить в паз.

Ничего не поделаешь. Однажды приходится про-

глотить эту пилюлю! Дело не хитрое: держать курс сто семьдесят два. Напрасно я состарился. Напрасно. Я был так счастлив в детстве. Я это говорю, но правда ли это? Уже тогда, в передней, я держал курс сто семьдесят два. Из-за дядюшек.

Детство... Сейчас оно кажется таким милым. Не только детство, но и вся прошедшая жизнь. Я вижу, как она убегает вдаль, словно поле...

И мне кажется, я все такой же. То, что я испытываю теперь, было мне знакомо всегда. Причины моих радостей и горестей, конечно, изменились, но чувства остались прежними. Точно так же был я счастлив или несчастлив. Меня наказывали или прощали. Я учился хорошо. Я учился плохо. Как когда...

Мое самое далекое воспоминание? У меня была нянька из Тироля, звали ее Паула. Но это даже не воспоминание: это воспоминание о воспоминании. Когда мне было пять лет и со мной произошел тот случай в передней, Паула стала уже легендой. Но еще долго в канун Нового года мать говорила нам: «Письмо от Паулы!» Для нас, детей, это была большая радость. Но почему мы так ликовали? Никто из нас Паулу не помнил. Она вернулась в свой Тироль. В свой тирольский домик. Похожий на барометр в виде хижины, затерянной среди снегов. И в солнечные дни Паула показывалась на пороге, как бывает во всех барометрах в виде хижины.

— А Паула красивая?

— Очаровательная.

— А в Тироле часто бывает хорошая погода?

— Всегда.

В Тироле всегда была хорошая погода. Паула выходила из своего домика-барометра, он выталкивал ее далеко-далеко, на снежную полянку. Ког-

да я научился писать, меня заставляли писать Пауле письма. Я писал ей: «Милая Паула, я очень рад, что пишу тебе...» Это было похоже на молитву, потому что я забыл Паулу...

— Сто семьдесят четыре.

— Понял. Сто семьдесят четыре.

Пусть будет сто семьдесят четыре. Придется изменить эпитафию. Любопытно, как вся моя жизнь разом возникла передо мной. Я запаковал свои воспоминания. Они больше уже не понадобятся. Никому и никогда. Я храню память о большой любви. Мать говорила нам: «Паула просит всех вас расцеловать за нее». И мать целовала нас всех за Паулу.

— А Паула знает, что я вырос?

— Конечно, знает.

Паула знала все.

— Господин капитан, они стреляют.

Паула, в меня стреляют! Я бросаю взгляд на высотомер: шестьсот пятьдесят метров. Облачность на высоте семьсот метров. Ну, что ж. Ничего не поделаешь. Но, вопреки моим предчувствиям, мир под облаками совсем не черный: он синий. Сказочно синий. Наступают сумерки, и вся равнина синяя. Местами идет дождь. И от дождя она синяя...

— Сто шестьдесят восемь.

— Понятно. Сто шестьдесят восемь.

Пусть будет сто шестьдесят восемь. Она все-таки здорово петляет, дорога в вечность... Но какой она мне кажется спокойной, эта дорога! Мир похож на фруктовый сад. Только что он представлялся бездушным, как чертеж. Все мне казалось нечеловеческим. Но теперь я лечу низко и ощущаю какую-то близость с этим миром. Подо мною, то поодиночке, то маленькими рощами, про-

носятся деревья. Я вижу их. И зеленые поля. И дома под красными черепичными крышами, и того, кто стоит у дверей. И вокруг — прекрасные синие ливни. В такую погоду Паула, разумеется, уводила нас поскорее домой...

— Сто семьдесят пять.

Моя эпитафия уже теряет свое суровое благородство: «Вел самолет по курсу сто семьдесят два, сто семьдесят четыре, сто шестьдесят восемь, сто семьдесят пять...» Это уже легкомыслие. Вот тебе на! Мотор чихает! Он охлаждается. Закрываю створки капота. Ладно. Пора открыть запасной бак — я поворачиваю ручку. Не забыл ли я чего? Бросаю взгляд на указатель давления масла. Все в порядке.

— Дрянь дело, господин капитан.

Слышишь, Паула? Дело дрянь. И все-таки я не могу не поражаться синеве этого вечера. Она так необычна! Цвет до того глубокий! И эти бегущие фруктовые деревья, быть может, сливы. Я вписался в пейзаж. С витринами покончено! Я вор, перепрыгнувший через ограду. Широкими шагами я ступаю по мокрой люцерне и ворую сливы. Паула, это нелепая война. Война печальная и такая синяя! Я немного заблудился. Я открыл эту необыкновенную страну, уже старея... О нет, мне не страшно. Немного грустно, и все.

— Маневрируйте, капитан!

Вот это новая игра, Паула! Нажмешь правой ногой, нажмешь левой, — и артиллерия сбита с толку. Когда я падал, я набивал себе шишки. Ты, конечно, делала мне примочки. Скоро мне до зарезу понадобятся твои примочки. И все-таки, знаешь... она сказочна, эта вечерняя синева!

Там, впереди, я заметил три расходящихся копья. Три вертикальных стебля, длинных и блестящих.

Следы трассирующих пуль или снарядов малого калибра. И все это золотилось. Вдруг я увидел, как в синеве вечера метнулся ввысь ослепительный блеск тройного канделябра...

— Капитан! Слева сильнейший огонь! Берите вправо!

Жму на педаль.

— Да, плохо дело...

Возможно...

Дело плохо, но я не выхожу из границ своего мира. Со мною все мои воспоминания, все накопленные сокровища, все, кого я люблю. Со мной мое детство, которое, словно корень, теряется во тьме. Я начал жизнь печалью воспоминания...Дело плохо, но я вовсе не ощущаю того, что предполагал испытать в когтях этих падающих звезд.

Я в милой моему сердцу стране. Вечереет. Слева широкие полосы света между грозовыми тучами образуют прямоугольные окна собора. Я почти касаюсь рукой всех этих прекрасных вещей, — они в двух шагах от меня. Вот деревья, осыпанные сливами. Вот земля, — она пахнет землей. Хорошо, должно быть, ходить по росе. Знаешь, Паула, я лечу тихо-тихо, покачиваясь с боку на бок, как воз с сеном. Кажется, что самолет летит быстро... разумеется, если думать об этом! Но если забыть о машине, если смотреть по сторонам, тогда это словно прогулка в поле...

— Аррас...

Да. Там, далеко впереди. Но Аррас не город. Аррас — это всего лишь красный фитиль на фоне ночной синевы. На фоне грозы. Потому что ясно — слева и спереди надвигается грандиозный ливень. Одними сумерками такой мрак не объяснить. Такая тьма может быть только под огромными скоплениями облаков.

Пламя Арраса поднялось выше. Это не пламя пожара. Пожар распространяется вширь, как язва, окаймленная обнаженным мясом. А этот красный фитиль, непрерывно питаемый горючим, похож на фитиль чуть коптящей лампы. Это пламя горит спокойно, уверенное в том, что не погаснет, что горючего вдоволь. В нем чувствуется компактная, почти весомая плоть, которую порой колышет ветер, раскачивая словно дерево. Вот именно... дерево. Это дерево оплело Аррас сетью своих корней. И все, что есть в Аррасе, все запасы Арраса, все сокровища Арраса устремляются ввысь, превращенные в соки, питающие дерево.

Я вижу, как это порой слишком тяжелое пламя, клонясь то вправо, то влево, выплевывает клубы черного дыма, а потом снова устремляется вверх. Но я все еще не различаю города. В этом зареве — вся война. Дютертр говорит, что дело плохо. Ему впереди виднее. А меня больше всего удивляет какая-то снисходительность судьбы: эта отравленная равнина мечет в нас не так уж много ядовитых звезд.

— Да, но...

Ты знаешь, Паула, в волшебных сказках моего детства рыцарь на пути к таинственному заколдованному замку проходил через грозные испытания. Он взбирался на ледники. Он преодолевал пропасти, расстраивал козни предателей. Наконец, его взору являлся замок среди голубой равнины, по которой конь его скакал мягко, как по лужайке. Рыцарь уже считал себя победителем... Ах, Паула, того, кто знает, что такое сказка, — не обманешь! Здесь-то всегда и начиналось самое трудное!..

Вот так и я несусь сквозь вечернюю синеву к своему огненному замку, как бывало прежде... Ты уехала слишком рано и не знаешь наших игр, тебе

не пришлось играть с нами в рыцаря Аклена. Мы сами придумали эту игру, потому что презирали обычные игры. В эту игру мы играли в те дни, когда надвигалась сильная гроза, когда, после первых молний, по особому аромату и по внезапному трепету листьев мы чувствовали, что туча вот-вот разразится ливнем. Густая листва превращается тогда на мгновение в шипучую и легкую пену. Это было сигналом... ничто уже не могло нас удержать.

Из самой глубины парка, по широким лужайкам, мы что было духу мчались к дому. Первые капли грозового ливня падают тяжело и редко. Первый, на кого попадала капля, считался побежденным. Потом второй. Потом третий. Потом и остальные. Тому, кто продержался дольше всех, конечно, покровительствовало небо, он был неуязвим! И он получал право, до следующей грозы, носить имя «рыцаря Аклена»...

И каждый раз, в несколько секунд, игра завершалась гекатомбой детей.

Я и сейчас играю в рыцаря Аклена. Я несусь к моему огненному замку, медленно, но так, что дух захватывает...

И вдруг:

— Ну, капитан! Такого я еще не видывал...

Такого я тоже не видывал. Я перестал быть неуязвимым. О, я и не знал, что я все-таки надеялся...

XX

Несмотря на высоту семьсот метров, я надеялся. Несмотря на танковые парки, несмотря на пламя Арраса, я надеялся. Я надеялся безнадежно. Я возвращался памятью в детство, чтобы снова почувствовать себя под его высокой защитой. Для

взрослого нет защиты. Когда ты становишься взрослым, тебя пускают одного. Но кто осмелится обидеть ребенка, которого держит за руку всемогущая Паула? Паула, я укрылся твоей тенью, как щитом...

Я перепробовал все хитрости. Когда Дютертр сказал мне: «Дело плохо», я обратил в надежду даже эту угрозу. Мы на войне: так нужно же, чтобы война хоть в чем-то проявилась. И она проявилась всего лишь в нескольких светящихся росчерках. Так вот она какая, эта знаменитая смертельная опасность над Аррасом? Просто смешно!..

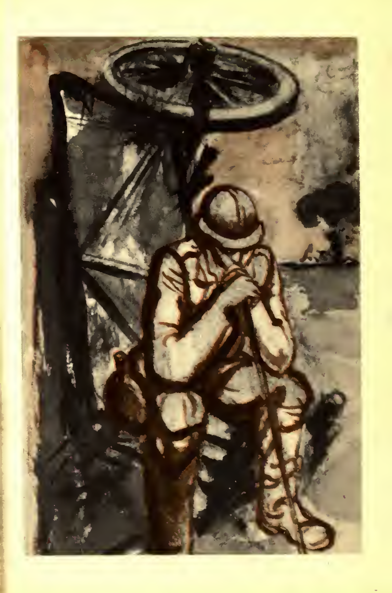
Осужденный на смерть представляет себе палача в виде безликого робота. Но вот приходит славный малый, который умеет чихать и даже улыбаться. Осужденный цепляется за эту улыбку, как будто она — путь к спасению... Однако это призрачный путь. Палач, хоть он и чихает, все равно отрубит ему голову. Но можно ли отказаться от надежды?

Как было и мне не ошибиться в том, какой прием нам окажут, если под нами расстилался такой простой и милый сельский пейзаж, если так приветливо блестели мокрые черепичные крыши и, хотя проходили минуты, ничто не менялось и как будто не должно было измениться. Если мы трое — Дютертр, стрелок и я — просто возвращались домой с прогулки по полям, даже не подняв воротников, потому что никакого дождя не было. Если в глубине немецких позиций не обнаруживалось ничего примечательного и если не было никакой видимой причины, которая в дальнейшем непременно должна была изменить облик войны. Если казалось, что враг рассеялся и как бы растворился в безграничности полей, так что, может быть, и осталось-то всего по одному солдату на дом, по одному

солдату на дерево, и кто-нибудь из них, вспомнив про войну, время от времени начинал стрелять. Ему без конца вдалбливали: «Ты должен стрелять по самолетам...» Но сейчас это припоминалось смутно, как сквозь сон. Солдат давал короткую очередь, сам хорошенько не зная, нужно ли это. Так, бывало, гуляя по вечерам с милой сердцу спутницей, я охотился на уток, вовсе не думая о них: я стрелял, а сам говорил совсем о другом. Уток это вполне устраивало...

Очень легко увидеть то, что хочешь видеть: вот этот солдат целится в меня, но так, между прочим, и пули его летят мимо. Другие солдаты пропускают нас. Те, что могли бы подставить нам ножку, может быть, с наслаждением вдыхают в эту минуту запахи ночи, или закуривают сигарету, или досказывают анекдот, — и они пропускают нас. Расквартированные вон в той деревне, быть может, протягивают за супом свой котелок. Раздается и затихает какой-то гул. Свои или чужие? Им некогда разбираться, они видят лишь наполняемый котелок — и пропускают нас. А я, засунув руки в карманы и посвистывая, пытаюсь как ни в чем не бывало прошмыгнуть через этот сад, в котором гулять запрещено, но куда каждый сторож, полагаясь на другого, беспрепятственно пропускает меня...

Я так уязвим! Сама моя беспомощность — ловушка для них: «Зачем вам беспокоиться? Меня собьют чуть подальше...» Это так очевидно! «Ну и проваливай! Пусть тебя сбивает кто хочет!..» Они перекладывают эту скучную работу на других, чтобы не пропустить свою очередь за супом, чтобы не прерывать шутки или чтобы просто насладиться вечерним ветерком. А я пользуюсь их нерадивостью, я вырываю свое спасение у этой минуты, когда война утомила их всех, всех до единого, как нарочно, —



а почему бы и нет? И я уже прикидываю, как, справившись со своим заданием, от солдата к солдату, от взвода к взводу, от деревни к деревне доберусь домой. В конце-то концов мы всего лишь пролетающий в вечернем небе самолет... Из-за него и голову поднимать не стоит!

Конечно, я надеялся вернуться. Но в то же время я знал: что-то должно произойти. Вас осудили на казнь, но тюрьма, где вы заключены, еще безмолвствует. Вы судорожно цепляетесь за эту тишину. Каждая секунда похожа на прошедшую. И нет никаких оснований считать, что та, которая вот-вот наступит, перевернет мир. Такой труд ей не под силу. Каждая секунда, одна за другой, спасает тишину. И уже кажется, что она будет длиться вечно...

Но вот раздаются шаги того, чей приход неотвратим.

В ландшафте что-то нарушилось. Так полено, которое, казалось, потухло, с внезапным треском выбрасывает целый сноп искр. Какая тайная сила заставила всю равнину мгновенно отозваться на наше присутствие? Весною деревья рассеивают свои семена. Почему вдруг наступила весна для орудий? Откуда потоки света, которые устремляются к нам и, кажется, разом заполняют все?

Мое первое ощущение — что я допустил какую-то оплошность. Я все испортил. Когда равновесие слишком неустойчиво, достаточно бывает моргнуть глазом или шевельнуть рукой. Альпинист кашлянул, и лавина сдвигается с места. А когда она сдвинулась — все пропало.

Мы тяжело ступали по этому синему болоту, уже потонувшему во тьме. Мы взбаламутили эту

спокойную тину, и вот она взметнулась к нам десятками тысяч золотых пузырьков.

В пляску вступило множество жонглеров. Множество жонглеров кидают десятки тысяч шаров, летящих к нам один за другим. Из-за отсутствия углового отклонения сначала они кажутся нам неподвижными, но потом, подобно шарикам, которые искусный жонглер не бросает, а как бы выпускает на свободу, медленно возносятся кверху. Я вижу, как светящиеся слезы текут ко мне сквозь вязкую тишину. Тишину, сопровождающую выступление жонглеров.

Каждая пулеметная очередь или залп скорострельных зенитных пушек мечет сотни снарядов или трассирующих пуль, которые нижутся друг за другом, как бусины четок. Тысячи четок устремляются к нам, их упругие нити растягиваются до предела и рвутся на нашей высоте.

И в самом деле, если смотреть сбоку, видно, что не попавшие в нас снаряды и пули летят с головокружительной быстротой. Слезы превращаются в молнии. Я очутился в бескрайнем поле траекторий, отливающих золотом спелой пшеницы. Я попал в сноп летящих копий. Мне угрожают бесчисленные иглы, затеявшие какой-то головокружительный хоровод. Вся равнина протянула ко мне свои нити и ткет вокруг меня сверкающую сеть.

Когда я склоняюсь над землей, я вижу эти слои сияющих пузырьков, которые поднимаются с медлительностью пелены тумана. Я вижу это медленное кружение семян: так улетает мякина, когда молотят зерно. Но если смотреть по горизонтали — вокруг меня одни только копья, снопы копий. Огонь? Да нет же! Меня атакуют холодным оружием! Я вижу лишь светящиеся мечи! Я чув-

ствую... Какая там опасность! Я ослеплен великолепием этого зрелища!

Тр-р-рах!

Я на двадцать сантиметров подскочил над сиденьем. На самолет словно обрушился удар тарана. Он разбит, рассыпался в пыль... но, нет... нет... я чувствую, что он еще поддается управлению. Это только первый удар целой лавины ударов. А между тем я не видел разрывов. Должно быть, их дым сливается с темной землей: я поднимаю голову и смотрю.

И вижу — спасения нет.

XXI

Склонившись над землей, я не заметил, что пустое пространство между облаками и мной постепенно расширилось. Трассирующие снаряды излучали пшеничный свет: откуда мне было знать, что, достигнув высшей точки, они вонзают в небо что-то темное, словно вбивают гвозди. Я вижу, как эти дымки разрывов уже собираются в клубящиеся пирамиды, уплывающие назад с медлительностью полярных льдин. Когда смотришь на них с такого расстояния, кажется, что сам ты неподвижен.

Я знаю, что эти сооружения, едва возникнув, становятся безопасны. Все эти хлопья располагали властью над жизнью и смертью в течение лишь сотой доли секунды. Но незаметно они окружили меня со всех сторон. С их появлением над моей головой нависает тяжесть грозного приговора.

Эти сплошные бесшумные взрывы, заглушаемые ревом мотора, создают иллюзию необычайной тишины. Я ничего не ощущаю. Во мне зияет пу-

стота ожидания, словно мои судьи удалились на совет.

Я думаю... я все-таки думаю: «Они берут слишком высоко!» Я запрокидываю голову и вижу, как, словно нехотя, отлетает назад целая стая орлов. Эти отказались от добычи. Но надеяться не на что.

Орудия, бившие мимо нас, пристреливаются. Стены разрывов вновь вырастают уже на нашей высоте. Каждая огневая точка за несколько секунд воздвигает свою пирамиду взрывов, но тут же отказывается от нее за негодностью, чтобы воздвигнуть новую в другом месте. Огонь не ищет нас: он замыкает нас в кольцо.

— Дютертр, далеко еще?

— ...продержаться бы хоть три минуты, мы бы закончили... но...

— Может, проскочим...

— Черта с два!

До чего она мрачна, эта серая мгла, серая, как сваленная в кучу ветошь. А равнина была синяя. Бесконечно синяя. Синяя, как морская глубь...

Сколько я могу продержаться? Десять, двадцать секунд? Взрывные волны встряхивают меня уже беспрестанно. Самые близкие стучат по самолету, словно камни, падающие в тачку. И тогда весь самолет издает почти музыкальный звук. Какой-то странный стон... Значит, снаряды пролетели мимо. Это как с молнией: чем она ближе, тем все проще. Иногда я ощущаю обыкновенный толчок: значит, нас задело осколком. Хищный зверь, убивая быка, не встряхивает его. Он уверенно и точно вонзает в него когти. Он сразу

завладевает быком. Так и прямые попадания просто врезаются в самолет, как в мышцу.

— Ранен?

— Нет!

— Эй! стрелок, ранен?

— Нет!

Но эти толчки, описывать которые все же приходится, не идут в счет. Они барабанят по скорлупе, по барабану. Вместо того чтобы разворотить баки, они с такою же легкостью могли бы вспороть нам животы. Но и живот всего лишь барабан. На тело-то плевать! Оно не в счет... вот это и удивительно!

О теле мне нужно сказать несколько слов. Ведь в повседневной жизни человек слеп к очевидности. Чтобы она стала зримой, необходимы вот такие исключительные обстоятельства. Необходим этот дождь восходящих огней, необходимы эти надвигающиеся на тебя копья, необходимо, наконец, чтобы ты предстал перед этим трибуналом для Страшного суда. Вот тогда ты поймешь.

Снаряжаясь в полет, я спрашивал себя: «Какими они будут, последние мгновения?» Жизнь всегда разрушала выдуманные мною химеры. Но на этот раз пришлось идти обнаженным под градом бешеных ударов, даже не имея возможности прикрыть рукою лицо.

Испытание я представлял себе, как испытание для моей плоти. Я считал, что риску подвергается прежде всего плоть. Точка зрения, на которую я по необходимости становился, была точкой зрения моего тела. Мы так много занимаемся своим телом! Так старательно одеваем его, моем, холим, бреем, поим и кормим. Мы отождествляем себя с этим домашним животным. Водим его к

портному, к врачу, к хирургу. Страдаем вместе с ним. Плачем вместе с ним. Любим вместе с ним. О нем мы говорим: «Это я». И вдруг вся эта иллюзия рушится. Тело мы не ставим ни в грош! Низводим его до уровня прислуги. Стоит только вспыхнуть гневу, запылать любви, проснуться ненависти, и эта пресловутая солидарность дает трещину.

Твой сын в горящем доме? Ты спасешь его! Тебя не удержать! Пусть ты горишь. Тебе плевать на это! Ты готов кому угодно заложить свою плоть, эту жалкую ветошь! Ты вдруг обнаруживаешь, что вовсе и не привязан к тому, что казалось тебе таким важным. Ты готов лишиться руки, только бы не отказать себе в роскоши протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается. Ты весь в твоем действии. Твое действие — это ты. Больше тебя нет нигде. Твое тело принадлежит тебе, но оно уже не ты. Ты готов нанести удар? Никто не сможет обуздать тебя, угрожая твоему телу. Ты — это смерть врага. Ты — это спасение сына. Ты обмениваешь себя. И у тебя нет такого чувства, будто ты теряешь на этом обмене. Твои руки, ноги? Они — только орудия. Плевать на орудие, если оно ломается, когда с его помощью обтесывают камень. И ты обмениваешь себя на смерть соперника, на спасение сына, на исцеление больного, на твое открытие, если ты изобретатель. Товарищ из нашей группы смертельно ранен. Приказ с объявлением ему благодарности гласит: «И он сказал своему штурману: мне — крышка. Беги! Спасай документы!..» Важно только спасение документов, или ребенка, исцеление больного, смерть соперника, открытие! И смысл твоего существования становится вдруг ослепительно ясен. Смысл его — это твой долг, твоя не-

нависть, твоя любовь, твоя верность, твое изобретение. Ты не находишь в себе ничего другого.

Огонь освободил тебя не только от плоти, но одновременно и от культа плоти. Человек перестал интересоваться собой. Ему важно лишь то, к чему он причастен. Умирая, он не исчезает, а сливается с этим. Он не теряет, а находит себя. И это не проповедь моралиста. Это обыденная, повседневная истина, которую повседневные иллюзии скрывают под своей непроницаемой маской. Мог ли я предвидеть, когда снаряжался в полет и испытывал страх за свое тело, что все это сущий вздор? Только в тот миг, когда жертвуешь телом, с изумлением обнаруживаешь, как мало оно для тебя значит. Но, разумеется, в обычной жизни, если мною не движет крайняя необходимость, если речь не идет о самом смысле моего существования, я не представляю себе ничего более важного, чем заботы, связанные с моим телом.

Подумаешь, тело! Да мне на тебя начхать! Я выброшен из тебя вон, у меня нет больше надежды, и ничего мне не нужно! Я отвергаю все, чем я был до этой секунды. Не я думал о чем-то. Не я чувствовал что-то. То было мое тело. С грехом пополам я вынужден был дотащить его до той секунды, когда вдруг обнаружил, что оно не имеет для меня никакого значения.

Первый урок я получил в пятнадцать лет. Мой младший брат болел и уже несколько дней как был признан безнадежным. Однажды утром, часа в четыре, меня будит его сиделка:

— Ваш брат зовет вас.

— Ему плохо?

Она не отвечает. Поспешно одеваюсь и бегу к брату.

Он обращается ко мне своим обычным голосом:

— Я хотел поговорить с тобой прежде, чем умру. Я умираю.

Лицо его сводит судорога, и он умолкает. При этом он делает отрицательный жест рукой. И я не понимаю его жеста. Мне кажется, что мальчик отталкивает смерть. Но, успокоившись, он объясняет мне:

— Не бойся... я не страдаю. Мне не больно. Но я не могу удержаться. Это мое тело.

Его тело — уже не принадлежащее ему владение.

Но он хочет говорить серьезно, мой маленький брат, который через двадцать минут умрет. Он чувствует настоятельную потребность передать кому-то в наследство частицу себя. Он говорит: «Я хотел бы оставить завещание...» И он краснеет, гордый, разумеется, тем, что поступает, как взрослый мужчина. Если бы он был строителем башни, он завещал бы мне достроить свою башню. Если бы он был отцом, он завещал бы мне воспитание своих сыновей. Если бы он был военным летчиком, он завещал бы мне бортовые документы. Но он всего лишь ребенок. Он завещает мне моторную лодку, велосипед и ружье.

Человек не умирает. Он воображает, будто боится смерти, но боится он неожиданности, взрыва, боится самого себя. Страх смерти? Нет. Когда встречаешься со смертью, ее уже не существует. Брат сказал мне: «Не забудь записать все это...» Когда разрушается тело, становится очевидным главное. Человек — всего лишь узел отношений. И только отношения важны для человека.

Мы бросаем тело, эту старую клячу. Кто думает о себе, умирая? Такого я еще не встречал!..

— Капитан!

— Что?

— Вот здорово!

— Стрелок...

— Гм... да?..

— Какой...

Мой вопрос прерывается толчком.

— Дютертр!

— ...тан?

— Задело?

— Нет.

— Стрелок...

— Да?

— За...

Я словно врезался в железную стену. Я слышу:

— Ну и ну!..

Поднимаю голову к небу, взглядом измеряю расстояние до облаков. Когда я смотрю под углом, я вижу, как все теснее громоздятся черные хлопья. Если же смотреть вверх, они кажутся более редкими. И я вижу грандиозную корону с черными розетками, возникшую над нашими головами.

Мышцы бедер обладают поразительной силой. Я жму на педали так, словно хочу пробить стену. Я бросаю самолет в сторону. Он делает резкий рывок влево, треща и вибрируя. Корона взрывов скользнула вправо. Я скинул ее с моей головы. Я обманул орудия, они бьют теперь мимо. Я вижу, как справа скопляются уже безвредные для меня разрывы. Но прежде чем я нажал другой ногой, чтобы уйти в противоположную сторону, надо мной уже снова возникла корона. С земли опять пристрелялись. Самолет, ухнув, вновь низвергается в провалы. Но я опять всей

тяжестью тела навалился на педаль. Я бросил, или, вернее, рванул самолет в противоположную сторону (к черту координацию!), и корона съехала влево.

А вдруг продержимся? Но долго эта игра продолжаться не может! Как бы резко я ни двигал педалями, оттуда, спереди, на меня опять надвигается ливень разящих копий. Корона опять нависает надо мной. Все мое нутро вновь сотрясается от толчков. И, глядя вниз, я снова вижу это головокружительно медленное восхождение направленных прямо на меня пузырьков. Непостижимо, что мы еще целы. И все-таки я убеждаюсь, что я неуязвим. Я чувствую себя победителем! Каждую секунду — я победитель!

— Задело?

— Нет...

Их не задело. Они неуязвимы. Они — победители. Я командую экипажем победителей...

Теперь каждый разрыв уже не угрожает нам: он нас закаляет. При каждом разрыве, в течение десятой доли секунды, я думаю, что моя машина превратилась в пыль. Но она все еще повинуется управлению, и я поднимаю ее, как коня, туго натягивая поводья. И тогда мне становится легче, и меня охватывает тайное ликование. Я не успеваю испытать страх, я чувствую лишь физическую встряску, как от сильного шума, — и тут же мне даруется вздох облегчения. Я бы должен сначала почувствовать толчок от удара, потом страх, потом разрядку. Как бы не так! На это нет времени! Я чувствую толчок, потом разрядку. Толчок, разрядка. Один этап отсутствует — нет страха. И я живу не ожиданием смерти в каждую ближайшую секунду; я живу воскресением, наступающим сразу вслед за секундой предшест-

вующей. Я живу в какой-то струе радости. В непрерывном потоке ликования. И вдруг мне становится удивительно хорошо. Словно с каждой секундой мне вновь даруется жизнь. Словно с каждой секундой я ощущаю ее все полнее. Я живу. Я жив. Я еще жив. Я превратился в источник жизни. Меня охватывает опьянение жизнью. Говорят: «Опьянение боем...» Но это и есть опьянение жизнью! О, знают ли те, кто стреляет в нас снизу, знают ли они, что они нас выковывают?

Маслобаки, баки с горючим — все пробиты. Дютертр говорит: «Закончил! Набирайте высоту!» Я еще раз измеряю на глаз расстояние, отделяющее меня от облаков, и кабрирую. Еще раз опрокидываю самолет влево, потом вправо. Еще раз бросаю взгляд на землю. Мне никогда не забыть этого зрелища. Вся равнина сверкает короткими горящими фитилями. Разумеется, скорострельные пушки. Со дна огромного голубоватого аквариума продолжают подыматься пузырьки. Пламя Арраса льет багровый свет, как железо на наковальне; его обильно питают подземные запасы, и пот человека, разум человека, искусство человека, его воспоминания и сокровища, вздымаясь вверх, сплетаются в этом косматом пламени и превращаются в гарь, уносимую ветром.

Я уже касаюсь первых клочьев тумана. Вокруг нас еще возносятся золотые стрелы, прорывая снизу брюхо облаков. В последний раз я вижу землю через последний из этих прорывов, когда облако уже окутывает меня. На мгновение передо мной возникает пылающий Аррас, зажженный

на ночь, как лампада в глубине церковного нефа. Она горит во славу какого-то божества, но обходится слишком дорого. Завтра она уничтожит и поглотит все. Свидетельство я уношу с собою — образ пылающего Арраса.

— Ну как, Дютертр?

— Нормально, господин капитан. Курс двести сорок. Через двадцать минут пробьем облака. Сориентируемся где-нибудь по Сене.

— Ну как, стрелок?

— Гм... да... капитан... нормально.

— Что, жарко пришлось?

— Гм... нет... да...

Он и сам не знает. Он доволен. Я вспоминаю стрелка из экипажа Гавуаля. Однажды ночью, на Рейне, восемьдесят прожекторов взяли Гавуаля в кольцо своих лучей. Они воздвигли вокруг него гигантский собор. Начинается обстрел. И вот Гавуаль слышит, как его стрелок тихонько разговаривает сам с собой (ларингофоны не отличаются скромностью). Стрелок сам с собой откровенничает: «Ну что, старина... Каково?.. Разве на гражданке такое увидишь?..» Он был доволен, этот стрелок.

А я медленно перевожу дух. Набираю полную грудь воздуха. Как чудесно дышать. Теперь мне станет понятно множество всяких вещей... Но прежде всего я думаю об Алиасе. Нет. Прежде всего я думаю о своем фермере. Значит, я все-таки спрошу его, сколько у меня приборов... Обязательно спрошу! Я не отказался от этого намерения. Их сто три. Кстати... Что там у меня с указателями горючего, давления масла... Когда баки пробиты, за ними надо следить. И я слежу. Резиновые протекторы задерживают течь. Прекрасное усовершенствование! Я слежу также

за гироприборами: это облако не очень-то приветливо. Грозовая туча. Она нас здорово потряхивает.

— Ну как? Не пора снижаться?

— Десять минут... давайте обождем еще десять минут...

Ладно, обожду еще десять минут. Ах да, я думал об Алиасе. Рассчитывает ли он, что мы вернемся? В прошлый раз мы опоздали на полчаса. Полчаса, вообще говоря, опоздание серьезное... Бегу к товарищам, — они обедают. Открываю дверь, сажусь на свое место рядом с Алиасом. Как раз в эту минуту майор поднял вилку, на которую подцепил лапшу. Он уже собирался положить ее в рот. Но он подскакивает, застывает с открытым ртом и смотрит на меня. Лапша повисла на вилке.

— А!.. Вот хорошо... рад вас видеть!

И он запихивает лапшу в рот.

По-моему, у него есть серьезный недостаток, у майора. Он упрямо расспрашивает летчиков о результатах полета. Он будет расспрашивать и меня. Он будет смотреть на меня с угрожающим терпением, ожидая, что я открою ему какие-то новые истины. Он вооружится бумагой и авторучкой, чтобы не потерять ни одной капли этого эликсира. Мне вспоминается юность: «Кандидат Сент-Экзюпери, как вы проинтегрируете уравнения Бернулли?»

— Гм...

Бернулли... Бернулли... И я цепенею под взглядом экзаменатора, как букашка, насаженная на булавку.

Результаты полета — это дело Дютертра. Он наблюдает за землей. Он видит кучу всяких вещей. Грузовики, баржи, танки, орудия, солдат,

лошадей, железнодорожные станции, поезда на станциях, начальников станций. Я же наблюдаю под небольшим углом. Я вижу облака, море, реки, горы, солнце. Я не вижу подробностей. У меня создается лишь общее впечатление.

— Вы ведь знаете, господин майор, что пилот...

— Ну, ну! Что-нибудь заметить всегда можно.

— Я... Ах да! Пожары! Я видел пожары. Это очень интересно...

— Не очень. Все горит. Ну, а кроме пожаров?

Почему Алиас так жесток?

XXII

Будет ли он расспрашивать меня и на этот раз?

То, с чем я возвращаюсь с задания, нельзя изложить в докладе. Я буду плавать, как школьник у классной доски. У меня будет очень несчастный вид, а между тем я не буду несчастен. С несчастьем покончено... Оно улетучилось, как только засветились первые пули. Стоило мне повернуть назад на одну секунду раньше, и я ничего бы не узнал о себе.

Я не узнал бы чудесной нежности, что подступает мне к сердцу. Я возвращаюсь к своим. К себе домой. Я похож на хозяйку, которая, обойдя лавки, направляется к дому и думает о том, какими вкусными кушаньями она порадует свою семью. Корзинка с провизией в ее руке раскачивается из стороны в сторону. Время от времени

она приподнимает газету, которой закрыты покупки: тут все, что нужно. Она ничего не забыла. И она улыбается при мысли о том, как удивит свою семью, и идет не спеша. Она поглядывает на витрины.

Я тоже с удовольствием поглядел бы на витрины, если бы Дютертр позволил мне выйти из этой белесой тюрьмы. Я смотрел бы, как убегают поля. Впрочем, действительно, лучше немного потерпеть: этот ландшафт отравлен. Там все в заговоре против нас. Даже маленькие провинциальные виллы с их забавными лужайками и несколькими дюжинами прирученных деревьев, похожие на нехитрые футлярчики для наивных девушек, — даже они оказываются ловушками. Попробуй спуститься ниже, и вместо дружеских приветствий тебя угостят артиллерийским огнем.

Хотя я в грозовом облаке, я все же возвращаюсь с рынка. Интонация у майора была, конечно, правильная: «Дойдете до первой улицы направо и там, на углу, купите мне коробку спичек...» Моя совесть спокойна. Спички у меня в кармане. Или, точнее, в кармане моего товарища, Дютертра. Как это ему удается запомнить все, что он видел? Однако это его дело. У меня заботы серьезнее. По возвращении, если нас не ждет опять возня с перебазированием, я вызову Лакордэра на поединок и объявлю ему мат. Он терпеть не может проигрывать. Я тоже. Но я выиграю.

Вчера Лакордэр напился. Впрочем... не сильно: я не хочу его порочить. Он выпил, чтобы утешиться. Возвращаясь на базу, он забыл выпустить шасси и посадил самолет прямо на брюхо. Алиас, который, увы, при этом присутствовал,

с грустью посмотрел на самолет, но не сказал ни слова. Как сейчас вижу Лакордэра, старого летчика. Он ждал упреков Алиаса. Он надеялся на упреки Алиаса. От яростных упреков ему стало бы легче. Их взрыв позволил бы и ему взорваться. В ответ он мог бы излить свое бешенство. Но Алиас качал головой. Алиас сокрушался о самолете, ему плевать было на Лакордэра. Для майора этот неприятный случай был только очередной аварией, чем-то вроде неизбежного налога на его имущество. Дело заключалось всего лишь в дурацкой рассеянности, которая иной раз подводит даже самых опытных летчиков. Но Лакордэра она подвела несправедливо. Если не считать сегодняшнего промаха, Лакордэр был профессионально безупречен. Вот почему Алиас, интересуясь только пострадавшим самолетом, совершенно машинально спросил у самого Лакордэра, что он думает о повреждениях. И я почувствовал, как вспыхнуло подавленное бешенство Лакордэра. Вы тихонько кладете руку на плечо палача и говорите: «Несчастная жертва... представляю, как она, бедняжка, страдает...» Движения человеческого сердца непостижимы. Ласковая рука, вместо того чтобы пробудить в палаче сочувствие, приводит его в ярость. Он мрачно глядит на жертву. Он жалеет, что сразу не прикончил ее.

Так вот. Я возвращаюсь домой. Группа 2/33 — мой дом. И я хорошо знаю своих домашних. Я не могу ошибиться в Лакордэре. Лакордэр не может ошибиться во мне. Я сознаю нашу общность с поразительной ясностью: «Мы — летчи-

ки из группы 2/33». Вот уже разрозненные куски связываются в одно целое.

Я думаю о Гавуале и Ошедэ. Я сознаю свою общность с Гавуалем и Ошедэ. Гавуаль. Какого он происхождения? В нем чувствуется здоровая крестьянская основа. Неожиданно во мне всплывает теплое воспоминание, и аромат его проникает в самое сердце. Когда мы стояли в Орконте, Гавуаль, как и я, жил на ферме. Однажды он говорит:

— Хозяйка заколола свинью. Она приглашает нас на кровяную колбасу.

Мы трое, Израэль, Гавуаль и я, с наслаждением грызли темную хрустящую корочку. Крестьянка подала нам легкое белое вино. Гавуаль сказал мне: «Посмотри, что я купил. Надпиши, ей будет приятно». Это была одна из моих книг. И я не почувствовал ни малейшей неловкости. Я охотно надписал, чтобы доставить ей удовольствие. Израэль набивал трубку. Гавуаль почесывал ногу, хозяйка, казалось, была очень рада получить в подарок книгу с надписью самого автора Кровяная колбаса благоухала. Я немного охмелел от легкого белого вина и не чувствовал себя чужим, несмотря на то что надписал книгу, — прежде мне это всегда казалось какой-то нелепостью. Я себя чувствовал своим. Несмотря на мою книжку, я не производил впечатления ни писателя, ни зрителя. Я пришел сюда не со стороны. Израэль дружелюбно смотрел, как я надписываю книжку. Гавуаль все так же простодушно почесывал ногу. И я испытывал к ним какую-то смутную благодарность. Из-за этой книги я мог бы выглядеть сторонним наблюдателем. А между тем я не производил впечатления ни интеллигента, ни наблюдателя. Я был своим.

Мне всегда была ненавистна роль наблюдателя. Что же я такое, если я не принимаю участия? Чтобы быть, я должен участвовать. Меня питают достоинства моих товарищей, достоинства, о которых они и сами не ведают, и не по скромности, а просто потому, что им на это наплевать. Ни Гавуаль, ни Израэль не раздумывают о себе. Они — это сеть связей, связей с их трудом, с их профессией, с их долгом. И с этой дымящейся колбасой. Меня опьяняет реальность их присутствия. Я могу молчать. Могу пить легкое белое вино. Могу даже сделать надпись на книге, не отчуждая себя от них. Ничто не нарушит нашего братства.

Я вовсе не собираюсь принижать ни успехов разума, ни побед мышления. Я восхищаюсь светлыми умами. Но чего стоит человек, если у него нет сущности? Если он — только видимость, а не бытие? Эта сущность очевидна для меня в Гавуале и в Израэле. Она была очевидна для меня в Гийоме.

Преимущества, которые дает мне моя писательская деятельность, например, возможность получить разрешение и уйти из группы 2/33, чтобы заняться другой работой, если бы профессия летчика мне разонравилась, — об этом я и думать не могу без отвращения. Это всего лишь свобода не быть. Только выполнение своего долга позволяет человеку стать чем-то.

Мы все, во Франции, чуть не погибли от разума, лишенного сущности. Гавуаль есть. Он любит, ненавидит, радуется, ворчит. Он весь соткан из связей. Сидеть против него, грызть эту хрустящую колбасу для меня такое же наслаждение, как и выполнять свой профессиональный долг, который превращает нас в единое дерево. Я люблю группу

2/33. Я люблю ее не как зритель, радующийся прекрасному зрелищу. Плевать мне на зрелища. Я люблю группу 2/33, потому что я неотделим от нее, потому что она питает меня и потому что я тоже ее питаю.

И теперь, возвращаясь из Арраса, я больше чем когда-либо принадлежу своей группе. Я связал себя с нею еще одной нитью. Во мне укрепилось это чувство общности, наслаждаться которым можно только в тишине. Израэль и Гавуаль бывали, возможно, в еще худших переделках, чем я. Израэль не вернулся. Но с моей сегодняшней прогулки я тоже возвращаюсь только чудом. Она дает мне еще большее право сесть за общий стол и молчать вместе с ними. Это право покупается дорогой ценой. Но и стоит оно очень дорого — право быть. Вот почему я с легким сердцем надписал свою книжку... Это ничего не портило.

А сейчас я краснею при мысли о том, как буду бормотать что-то нечленораздельное, когда майор станет меня расспрашивать. Мне будет стыдно. Майор подумает, что я туповат. Разговоры о моих книгах не смущают меня, потому что, наплоди я хоть целую библиотеку, ссылки на это не избавили бы меня от угрожающего мне стыда. И стыд этот не наигранный. Я не скептик, иной раз позволяющий себе роскошь совершить трогательный ритуал. Я не горожанин, который, попав в деревню, разыгрывает из себя сельского жителя. Я полетел в разведку над Аррасом за новым доказательством того, что я веду честную игру. Я рисковал своей плотью. Всей своей плотью. И шансов на выигрыш у меня не было. Я отдал все, что мог, ради соблюдения правил этой игры. Чтобы они стали чем-то большим, нежели правилами игры. Я заслужил право сконфузиться, когда майор начнет меня расспра-

шивать. То есть право участвовать. Право быть связанным. Приобщиться. Получать и давать. Право быть чем-то большим, нежели я сам. Отдаться переполняющему меня чувству. Любить товарищей любовью, которая не похожа на порыв, налетевший извне, и которая не ищет излияний — никогда — разве что в часы прощальных трапез. В такие часы мы бываем немного под хмельком и в благодушном опьянении склоняемся к сотрапезникам, словно дерево, отягощенное плодами. Моя любовь к авиагруппе не нуждается во внешних проявлениях. Она состоит только из связей. Она — сама моя сущность. Я неотделим от группы. И все.

Когда я думаю о своей группе, я не могу не думать об Ошедэ. Я мог бы рассказать о его боевой отваге, но я показался бы смешным самому себе. Дело тут не в отваге, Ошедэ целиком отдал себя войне. Вероятно, в большей мере, чем любой из нас. Ошедэ неизменно пребывает в том состоянии духа, которого я добивался с таким трудом. Снаряжаясь в полет, я ругался. Ошедэ не ругается. Ошедэ пришел к тому, к чему мы только стремимся. К чему я хотел бы прийти.

Ошедэ — бывший сержант, недавно произведенный в младшие лейтенанты. Разумеется, образования ему не хватает. Сам он никак не мог бы объяснить себя. Но он слажен, он целен. Когда речь идет об Ошедэ, слово «долг» теряет всякую напыщенность. Каждый хотел бы так исполнять свой долг, как его исполняет Ошедэ. Думая об Ошедэ, я корю себя за свою нерадивость, лень, небрежность и прежде всего за минуты неверия. И дело тут не в моей добродетели: просто я по-хорошему завидую Ошедэ. Я хотел бы существовать в той же мере, в какой существует Ошедэ. Прекрасно дерево, уходящее своими корнями глубоко в почву. Пре-

красна стойкость Ошедэ. В Ошедэ нельзя обмануться.

Поэтому я не стану распространяться о боевых вылетах Ошедэ. Вылетал ли он добровольно? Мы все и всегда добровольно летим на любое задание. Но нами движет неосознанная потребность верить в себя. И тут мы себя чуточку пересиливаем. А для Ошедэ быть добровольцем совершенно естественно. Он и есть сама эта война. Это так естественно, что, когда речь идет о тяжелом задании, майор Алиас прежде всего вспоминает об Ошедэ: «Послушайте, Ошедэ...» Для Ошедэ война все равно что для монаха его религия. За что он сражается? Он сражается за себя. Он неотделим от некой сущности, которая воплощена в нем самом и которую нужно спасти. Тут границы между жизнью и смертью почти сливаются. Для Ошедэ они уже слились. Быть может, сам того не ведая, он не боится смерти. Жить самому; умирая, спасать жизнь других... Для Ошедэ жизнь и смерть не исключают друг друга.

Больше всего меня поразило, как он переполошился, когда однажды Гавуаль попросил его одолжить хронометр для измерения скорости с земли.

— Нет, господин лейтенант... не могу...

— Чудак! Мне же на десять минут! Только отрегулировать!

— Господин лейтенант... хронометр есть на складе.

— Ну, есть. Так ведь он уж полтора месяца как застрял на двух часах семи минутах!

— Господин лейтенант... такую вещь, как хронометр, не одалживают... я не обязан одалживать свой хронометр... этого вы не можете от меня требовать!

Когда горящий самолет Ошедэ приземляется на аэродроме, а сам он каким-то чудом остается невредим, военная дисциплина и уважение к начальнику могут заставить его тут же сесть в другой самолет и полететь на другое задание, на этот раз, может быть, гибельное... но он не обязан отдавать в небрежные руки свой роскошный хронометр, за который заплатил свое трехмесячное жалованье и который он каждый вечер заводит поистине с материнской заботливостью. Достаточно взглянуть на то, как человек обращается с вещью, и сразу поймешь, что он ничего в ней не смыслит.

И когда Ошедэ, отстояв свои права и еще пылая от возмущения, победителем вышел из штаба, прижимая к груди свой хронометр, я готов был расцеловать Ошедэ. Мне открылись сокровища его души. Он будет бороться за свой хронометр. Его хронометр существует. И он умрет за свою страну. Его страна существует. И существует Ошедэ, неразрывно связанный с ними. Он соткан их своих бесчисленных связей с миром.

Вот почему я люблю Ошедэ, не испытывая потребности говорить ему об этом. Я потерял Гийоме, лучшего моего друга, — он погиб в полете, — и о нем я тоже избегаю говорить. Мы летали на одних и тех же линиях, мы вместе участвовали в их прокладке. У нас была единая сущность. Я чувствую, что вместе с ним умерла и какая-то часть меня. В безмолвии Гийоме всегда со мной. Я неотделим от Гийоме.

Я неотделим от Гийоме, неотделим от Гавуаля, от Ошедэ. Я неотделим от группы 2/33. Неотделим от моей родины. И все мы, из группы 2/33, неотделимы от нее...

XXIII

Как я изменился! В эти последние дни, майор Алиас, мне было горько. В эти дни, когда бронированное нашествие встречало на своем пути только пустоту, безнадежные задания стоили нашей группе семнадцать из двадцати трех экипажей. И мне казалось, что мы вслед за вами согласились быть статистами и изображать убитых в каком-то представлении. Да, майор Алиас, мне было горько, и я был не прав!

Все мы вслед за вами судорожно хватались за букву долга, суть которого уже померкла. Вы инстинктивно требовали от нас не победы — она была невозможна, — а утверждения нашей сущности. Вы, так же как и мы, знали, что добытые нами сведения никому не будут переданы. Но вы спасали обряды, лишенные всякого смысла. Вы серьезно расспрашивали нас, — как будто наши ответы могли на что-то пригодиться, — о танковых парках, о баржах, о грузовых машинах, о станциях, о поездах на станциях. Иногда вы даже возмущали меня своим недоверием.

— Нет! Нет! С места пилота вполне можно вести наблюдение.

И все-таки, майор Алиас, вы были правы.

Летя над Аррасом, я принял на себя ответственность за толпу, которая была подо мной. Я связан лишь с тем, кому я даю. Я понимаю лишь тех, с кем я связан неразрывными узами. Я существую лишь в той мере, в какой меня питают мои корни. Я неотделим от этой толпы. Эта толпа неотделима от меня. На скорости пятьсот тридцать километров в час и на высоте двести метров, теперь, когда я спустился под свое облако, я сочетаюсь с ней в этом вечернем сумраке, как пастух, который одним

взглядом пересчитывает, собирает и объединяет стадо. Эта толпа уже не толпа: она — народ. Разве могу я отчаиваться?

Несмотря на гниль поражения, меня, словно я приобщился какого-то таинства, переполняет праздничное ликование. Я погружен в хаос разгрома, и все-таки я чувствую себя победителем. Кто из моих товарищей, возвращаясь с задания, не чувствует себя победителем? Капитан Пенико рассказал мне о своем утреннем полете: «Когда мне казалось, что какая-нибудь зенитка слишком хорошо ко мне пристрелялась, я пикировал прямо на нее и на полной скорости, с бреющего полета, давал по ней пулеметную очередь, которая разом тушила этот красноватый огонь, как порыв ветра тушит свечу. Через десятую долю секунды я вихрем проносился над орудийным расчетом. Пушка словно взрывалась! Люди разбегались во все стороны и, спотыкаясь, падали на землю. Я точно в кегли играл». И Пенико смеялся. Пенико торжествующе смеялся. Пенико — капитан-победитель!

Я знаю: боевое задание преобразило даже того стрелка из экипажа Гавуаля, который, оказавшись ночью внутри собора, воздвигнутого восемьюдесятью прожекторами, прошел под сводом из их лучей, как солдат на свадьбе проходит под скрещенными шпагами.

— Можете взять курс девяносто четыре.

Дютертр только что сориентировался по Сене. Я снизился до ста метров. Земля со скоростью пятьсот тридцать километров в час катит на нас большие прямоугольники люцерны или пшеницы и треугольные леса. Я испытываю физическое удовольствие, следя за тем, как нос моего самолета

неустаино рассекает их, словно плывущие льдины. Виизу появляется Сеиа. Когда я пролетаю над ней под углом, она отступает, будто поворачиваясь иа своей оси. Это движеиие доставляет мие такое же удовольствие, как плавиый взмах косы, срезающей траву. Сидеть мие удобио. Я хозяии иа борту своей машииы. Баки целы. Я сыграю в покер с Пеиико, выиграю у него рюмку коиьяка, потом объявлю мат Лакордэру. Вот я какой, когда я победитель.

— Капитан... стреляют... мы в запретной зоие...

Курс вычисляет ои. Я тут ии при чем.

— Здорово стреляют?

— Стреляют вовсю...

— Поверием?

— Ну, иет...

Тои у иего пренебрежительиый. Мы зиаем, что такое потоп. Огоиь иаших зеииток — просто весеиний дождик.

— Дютертр... послушайте... глупо же, если иас собьют свои!

— ...ие собьют... пусть поупражияются.

Дютертр язвит.

А у меия иет охоты язвить. Я счастлив. Мие приятио поговорить со своими.

— Да уж... стреляют, как...

Ои, оказывается, жив, иаш стрелок! Я заметил, что по собствеиной иициативе ои еще ии разу ие заявлял о своем существоваиии. Ои переварил все приключеиие молча, ие испытывая потребиости общаться с иами. Впрочем, одии раз ои, кажется, произиес: «Ну и ну!» — в самый разгар обстрела. Во всяком случае, потока излияиий ие было.

Но сейчас дело косиулось его специальиости: пулемета. А когда дело косиется их специальиости, тут уж специалистов ие удержать.

Я невольно противопоставляю эти два мира. Мир самолета и мир земли. Я только что увлек Дютертра и моего стрелка за дозволенные пределы. Мы видели пылающую Францию. Мы видели сверкающее море. Мы состарились на большой высоте. Мы склонялись над далекой землей, словно над музейной витриной. Мы играли на солнце с пылинками вражеских истребителей. Потом мы опять снизились. Мы бросились в костер. Мы жертвовали всем. И там мы узнали о самих себе больше, чем узнали бы за десять лет размышлений. Наконец мы вышли из этого десятилетнего отшельничества.

А караван беженцев, который мы, быть может, уже видели, когда летели к Аррасу, продвинулся самое большее метров на пятьсот.

За то время, что они будут оттаскивать в кювет поломанный автомобиль, менять колесо или просто сидеть и барабанить пальцами по баранке в ожидании, пока перекресток освободят от разбитых машин, мы уже успеем вернуться на базу.

Мы перешагнули через все поражение. Мы похожи на паломников, которые легко переносят мучения в пустыне, потому что сердцем они уже в священном граде.

Наступающая ночь соберет эту беспорядочную толпу под свой горестный кров. Стадо сбивается в кучу. Кого им молить о помощи? А нам даровано счастье спешить к товарищам, и мне кажется, что мы торопимся на праздник. Так простая хижина, если огонек ее светит нам издалека, превращает самую суровую зимнюю ночь в веселый сочельник. Там, куда мы летим, нас ждет радушный прием. Там, куда мы летим, мы причастимся вечерней трапезы.

На сегодня довольно приключений: я счастлив и утомлен. Я оставлю на попечение механиков свой самолет, обогатившийся новыми пробоинами. Я сброшу с себя тяжелый летный комбинезон, и, так как сыграть с Пенико на рюмку коньяка будет уже слишком поздно, я просто сяду за ужин вместе с товарищами...

Мы опаздываем. Товарищи, которые опаздывают, обычно не возвращаются. Они задержались? Нет, уже слишком поздно. Что поделаешь! Ночь сталкивает их в вечность. За ужином группа подсчитывает свои потери.

В воспоминаниях невернувшиеся становятся еще милее. Они всегда улыбаются самой светлой улыбкой. Мы откажемся от этого преимущества. Мы явимся без спроса, как злые демоны или браконьеры. Майор не успеет положить в рот кусок хлеба. Он посмотрит на нас. Возможно, он скажет: «А!.. Вот и вы...» Товарищи будут молчать. Они едва на нас взглянут.

Прежде я не питал особого почтения к взрослым. И напрасно. Человек никогда не стареет. Майор Алиас! В час возвращения и взрослые чисты, как дети: «А вот и ты, наш товарищ...» И целомудрие заставляет молчать.

Майор Алиас, майор Алиас... этим единением со всеми вами я наслаждался, как слепой наслаждается огнем. Слепой садится и протягивает руки, но он не знает, что доставляет ему такую радость. С боевого задания мы возвращаемся готовые к неведомой награде, которая есть не что иное, как любовь.

Мы не узнаем в ней любви. Любовь, которую мы обычно себе представляем, выражается более бурно. Но тут речь идет о настоящей любви: о сети связей, которые делают тебя человеком.

XXIV

Я спросил моего фермера, сколько у меня в машине приборов. И фермер ответил:

— Я ничего не смыслю в вашем хозяйстве. А насчет приборов, надо думать, что каких-то у вас все-таки не хватает, тех, с которыми мы выиграли бы войну... Поужинаете с нами?

— Я уже ужинал.

Но меня насильно усадили между племянницей и хозяйкой.

— А ну-ка, племянница, подвинься чуточку... Дай место капитану.

Оказывается, я связан не только со своими товарищами. Через них я связан со всей своей страной. Любовь, если уж она дала росток, пускает корни все глубже и глубже.

Фермер молча режет хлеб. Дневные заботы придали ему суровую, благородную важность. И, словно совершая священный обряд, он делит этот хлеб, быть может, в последний раз.

А я думаю об окрестных полях, которые взрастили зерно для этого хлеба. Завтра тут будет враг. Напрасно стали бы мы ждать лавины вооруженных людей! Земля велика. И нашествие, может быть, выразится здесь всего лишь в появлении одинокого часового, затерянного где-то в бескрайней дали — этого серого пятнышка на меже пшеничного поля. Внешне ничего не изменится, но для человека достаточно и одного значка, чтобы все стало иным.

Порыв ветра, бегущего по ниве, всегда напоминает порыв ветра на море. Но если нам кажется, что на ниве он оставляет более заметный след, то это потому, что, перебирая колосья, ветер словно ведет учет нашему достоянию. Словно убеждается в

надежности будущего. Так ласкают жену, спокойно проводя рукой по ее волосам.

А завтра эта пшеница станет иной. Пшеница — это нечто большее, чем телесная пища. Питать человека не то, что откармливать скотину. Хлеб выполняет столько назначений! Хлеб стал для нас средством единения людей, потому что люди преломляют его за общей трапезой. Хлеб стал для нас символом величия труда, потому что добывается он в поте лица. Хлеб стал для нас непременным спутником сострадания, потому что его раздают в годину бедствий. Вкус разделенного хлеба не сравним ни с чем. И вот теперь вся сила духовной пищи, духовного хлеба, который будет рожден этим полем, находится под угрозой. Завтра мой фермер, преломляя хлеб, быть может, уже не будет служить той же домашней религии. Завтра, быть может, этот хлеб уже не затеплит тот же свет в глазах его близких. Ведь хлеб это то же, что масло в светильнике. Оно также претворяется в свет.

Я смотрю на племянницу — она очень красива — и думаю: хлеб, питая ее, становится грустным очарованием. Он становится целомудрием. Он становится сладостью молчания. И вот из-за одного только серого пятнышка на краю океана пшеницы этот самый хлеб, даже если он и будет завтра питать тот же светильник, быть может, уже не даст того же самого пламени. Главное в силе хлеба изменится.

Я сражался за то, чтобы спасти прежде всего этот особый свет, а потом уже пищу телесную. Я сражался ради того особенного сияния, которым становится хлеб в домах моей родины. В этой загадочной девочке более всего меня волнует одухотворенность ее облика. Какая-то неуловимая гармония черт ее лица. Поэма, запечатленная на странице, а не сама страница.

Она почувствовала, что за ней наблюдают. Она подняла на меня глаза. Кажется, она мне улыбнулась... Это было подобно дуновению на хрупкой глади вод. Ее улыбка трогает меня. Я ощущаю присутствие какой-то неповторимой души, таинственно пребывающей только здесь и нигде больше. Я наслаждаюсь покоем и думаю: «Вот он, покой царства безмолвия...»

Я видел сияющий свет пшеницы.

Лицо племянницы вновь стало подобно глубине, скрывающей тайну. Фермерша вздыхает, смотрит по сторонам и молчит. Фермер, поглощенный думами о грядущем дне, замыкается в своих мыслях. И за молчанием этих людей скрывается внутреннее богатство, подобно достоянию их деревни, — и над ним тоже нависла угроза.

И я с поразительной ясностью сознаю свою ответственность за эти незримые сокровища. Я выхожу из дома. Иду не спеша. Я уношу с собой это бремя, и оно не тягостно мне, а мило, словно на руках у меня спящий ребенок, прижавшийся к моей груди.

Я ждал этого разговора с моей деревней. И вот теперь мне нечего сказать. Я словно плод, тесно связанный с деревом, о котором я думал несколько часов назад, когда ко мне вернулось спокойствие. Я просто чувствую себя неотделимым от своих. Я неотделим от них, как они неотделимы от меня. Когда мой фермер раздавал хлеб, он ничего от себя не отрывал. Он делил и обменивал. Нас питала одна и та же пшеница. Фермер ничего не терял. Он становился богаче, ибо лучше стал его хлеб, превращенный в хлеб общей трапезы. Когда

сегодня днем я ради этих людей вылетел на боевое задание, я тоже ничего им не отдал. Мы, летчики нашей группы, ничего им не отдаем. Мы — то, чем они жертвуют на войне. Я понимаю, почему Ошедэ воюет без громких слов, подобно тому как деревенский кузнец работает для своих односельчан. «Вы кто?» — «Я здешний кузнец». Кузнец трудится, и он счастлив.

И если я полон надежды, в то время как они, по-видимому, отчаялись, я все-таки ничем не отличаюсь от них. Я просто воплощаю их долю надежды. Конечно, мы уже побеждены. Все шатко. Все рушится. Но меня не покидает спокойствие победителя. В моих словах противоречие? Плевать мне на слова! Я такой же, как Пенико, Ошедэ, Алиас, Гавуаль. Мы не в состоянии объяснить, откуда взялось это ощущение победы. Но мы чувствуем свою ответственность. Невозможно, чувствуя ответственность, приходить в отчаяние.

Поражение... Победа... Я плохо разбираюсь в этих формулах. Есть победы, которые наполняют воодушевлением, есть и другие, которые принижают. Одни поражения несут гибель, другие — пробуждают к жизни. Жизнь проявляется не в состояниях, а в действиях. Единственная победа, которая не вызывает у меня сомнений, это победа, заложенная в силе зерна. Зерно, брошенное в чернозем, уже одержало победу. Но должно пройти время, чтобы наступил час его торжества в созревшей пшенице.

Сегодня утром мы видели только разбитую армию и беспорядочную толпу. Но беспорядочная толпа, если есть в ней хотя бы один человек, в чьем сознании она уже объединена, перестает быть беспорядочной толпой. Камни на стройке кажутся беспорядочной грудой лишь с виду, если где-то на

стройке затерян хотя бы один человек, который представляет себе будущий собор. Я спокоен, если под разбросанным удобрением укрыто зерно. Зерно впитает его соки и прорастет.

Тот, кто возвысился до созерцания, становится зерном. Тот, кому открывается некая истина, тащит другого за рукав, чтобы посвятить в эту истину и его. Тот, кто сделал изобретение, спешит рассказать о нем людям. Я не знаю, как станет выражать себя человек, подобный Ошедэ, как он будет действовать. Но для меня это и неважно. Он передаст окружающим свою спокойную веру.

Теперь я лучше постигаю, в чем смысл победы: тот, кто подыскивает себе место ризничего или привратницы в будущем соборе, — уже побежден. Тот же, кто носит в своем сердце образ будущего собора, — уже победитель. Победа есть плод любви. Только любви открываются контуры еще не изваянной статуи. Только любовь направляет резец ее творца. Разум обретает ценность лишь тогда, когда он служит любви.

Скульптор несет в себе груз будущего творения. Пусть он даже еще не знает, как он будет его лепить. От одного нажима пальцем к другому, от ошибки к ошибке, от противоречия к противоречию он неуклонно пойдет через бесформенную глину к своему творению. Ни разум, ни интеллект не обладают творческой силой. Оттого, что у скульптора есть знания и интеллект, руки его еще не становятся гениальными.

Мы слишком долго обманывались относительно роли интеллекта. Мы пренебрегали сущностью человека. Мы полагали, что хитрые махинации низких душ могут содействовать торжеству благородного дела, что ловкий эгоизм может подвигнуть на самопожертвование, что черствость сердца и пустая

болтовня могут основать братство н любовь. Мы пренебрегали Сущностью. Зерно кедра так нлн нначе превратнтся в кедр. Зерно терновннка превратнтся в терновннк. Отныне я отказываюсь суднть людей по доводам, оправдывающнм нх решения. Слншком легко ошнбнться в правднвостн слов, равно как н в нстнnной цели поступков. Человек направляется к своему дому: я не знаю, что он несет туда — ссору нлн любовь. Я должен спросить себя: «Что это за человек?» Только тогда мне станет ясно, к чему он тяготеет н куда ндет. Каждый в конце концов приходит к тому, к чему тяготеет.

Росток, согретый солнцем, всегда найдет дорогу сквозь каменнстую почву. Чнстый логнк, еслн никакое солнце не тянет его к себе, увязает в путаннце проблем. Я всегда буду помнить урок, преподанный мне врагом. В каком направленин должна двнгаться танковая колонна, чтобы захватить тылы противника? Неизвестно. Чем должна быть танковая колонна? Она должна быть морем, напнрающнм на дамбу.

Что нужно делать? Вот это. Нлн нечто совершенно протнвоположное. Нлн еще что-то. Никакого предопределення не существует. Чем нужно быть? Вот основной вопрос, потому что только дух оплодотворяет разум. Дух бросает в него семя грядущего творення. Разум завершнт все остальное. Что должен сделать человек, чтобы постронть первый корабль? Ответ на этот вопрос был бы чересчур сложным. Корабль роднтся нз тысячн противоречнвых попыток. Но кем должен быть его творец? Тут я подхожу к самым нстокам созндания. Его творец должен быть купцом или солдатом, потому что тогда нз любвн к далекнм странствиям он нензбежно воодушевит механнков, соберет рабочнх н в однн прекрасный день пустнт свой корабль в море!

Что надо сделать, чтобы улетучился целый лес? О, это слишком уж трудно... Чем для этого нужно быть? Надо быть пожаром!

Завтра мы уйдем в ночь. Только бы моя страна дожила до той поры, когда снова наступит день! Что нужно сделать, чтобы ее спасти? Как найти простое решение? Оно упирается в противоречие. Необходимо спасти духовное наследие, ибо иначе погибнет дух народа. Необходимо спасти народ, ибо без этого погибнет наследие. Логики, за неимением языка, который примирил бы это противоречие, готовы будут пожертвовать либо душой, либо телом. Мне наплевать на логиков! Я хочу, чтобы моя страна и духом и плотью своей дожила до той поры, когда снова наступит день. Чтобы действовать на благо моей родины, я должен каждый миг стремиться к этому всей силой моей любви. Море непременно найдет себе путь туда, куда устремлен его напор.

Я ни одной минуты не сомневаюсь в спасении. Теперь мне понятнее образ слепца, идущего к огню. Если слепой идет к огню, — значит, у него родилась потребность в огне. Огонь уже управляет им. Если слепой ищет огонь, — значит, он уже нашел его. Скульптор уже создал свое творение, если его тянет к глине. Так же и мы. Нас согревает тепло наших связей — поэтому мы победители.

Наша общность для нас уже ощутима. Чтобы сплотиться в ней, нам, разумеется, предстоит найти для нее словесное выражение. Но это уже потребует усилий сознания и языка. Однако, чтобы сохранить в неприкосновенности основу нашей общности, мы должны быть глухи к шантажу, к полемике, к то и дело меняющимся словесным ловушкам. И прежде всего мы не должны отрекаться от того, что неотделимо от нас.

Вот почему, возвратившись из полета над Аррасом и, как мне кажется, многое за время полета поняв, я стою один в ночной тишине, прислонившись к изгороди, и составляю для себя простейшие правила, которым никогда не изменю.

Раз я неотделим от своих, я никогда от них не отрекусь, что бы они ни совершили. Я никогда не стану обвинять их перед посторонними. Если я смогу взять их под защиту, я буду их защищать. Если они покроют меня позором, я затаю этот позор в своем сердце и промолчу. Что бы я тогда ни думал о них, я никогда не выступлю свидетелем обвинения. Муж не станет ходить из дома в дом и сообщать соседям, что жена его потаскуха. Таким способом он не спасет своей чести. Потому что жена его неотделима от его дома. Позоря ее, себя он не облагородит. И, только вернувшись домой, он вправе дать выход своему гневу.

Вот почему я не снимаю с себя ответственности за поражение, из-за которого не раз буду чувствовать себя униженным. Я неотделим от Франции. Франция воспитала Ренуаров, Паскалей, Пастеров, Гийоме, Ошедэ. Она воспитала также тупиц, политиканов и жуликов. Но мне кажется слишком удобным провозглашать свою солидарность с одними и отрицать всякое родство с другими.

Поражение раскалывает. Поражение разрушает построенное единство. Нам это угрожает смертью: я не буду способствовать такому расколу, сваливая ответственность за разгром на тех из моих соотечественников, которые думают иначе, чем я. Подобные споры без судей ни к чему не ведут. Мы все были побеждены. Я был побежден. Ошедэ

был побежден. Ошедэ не сваливает ответственность за поражение на других. Он говорит себе: «Я, Ошедэ, неотделимый от Франции, был слаб. Франция, неотделимая от меня, Ошедэ, была слаба. Ее слабость была моей слабостью». Ошедэ хорошо знает, что, если он оторвет себя от своих, он прославит только одного себя. Но тогда он перестанет быть Ошедэ, неотделимым от своего дома, от своей семьи, от своей авиагруппы, от своей родины. Он будет всего лишь Ошедэ, блуждающим в пустыне.

Если я разделяю унижение моего дома, я могу повлиять на его судьбу. Он неотделим от меня, как я неотделим от него. Но если я не приму на себя его унижения, мой дом, брошенный на произвол судьбы, погибнет, а я пойду один, покрытый славой, но еще более ненужный, чем мертвец.

Чтобы быть, нужно сначала принять на себя ответственность. Всего несколько часов тому назад я был слеп. Мне было горько. Но теперь я сужу более трезво. Я отказываюсь винить других французов, раз я чувствую себя неотделимым от Франции, и я не понимаю, как Франция может обвинять остальной мир. Каждый несет ответственность за всех. Франция была ответственна за весь мир. Франция могла бы показать миру пример, который сплотил бы его. Франция могла бы служить связующим звеном для всего мира. Если бы Франция сохранила аромат Франции, сияние Франции, она стала бы для всего мира оплотом сопротивления. Отныне я отказываюсь от своих упреков остальному миру. Если ему не хватало души, его душой должна была стать Франция, — таков был ее долг перед самой собой.

Франция могла бы объединить вокруг себя другие страны. Моя группа 2/33 готова была сражаться сперва на стороне Норвегии, потом на стороне Фин-

ляндии. Что представляли собой Норвегия и Финляндия для наших солдат, наших унтер-офицеров? Мне всегда казалось, что, сами того не сознавая, они соглашались умереть за какой-то аромат рождественского праздника. Им казалось, что за спасение этого аромата где-то в мире стоит пожертвовать жизнью. Если бы мы были рождеством для всего мира, мир мог бы найти в нас свое спасение.

Мы не сумели воплотить в себе духовную общность людей всего мира. Если бы мы это сделали, мы спасли бы и мир, и самих себя. Мы не осилили этой задачи. Каждый отвечает за всех. Отвечает только каждый в отдельности. Только каждый в отдельности отвечает за всех. Я впервые постигаю одну из тайн религии, породившей духовную культуру, которую я считаю своей: «Принять на себя бремя грехов человеческих...» И каждый принимает на себя бремя всех грехов всех людей.

XXV

Можно ли усматривать в этом философию слабости? Настоящий полководец это тот, кто берет на себя всю ответственность. Он говорит: «Я потерпел поражение». Он не говорит: «Мои солдаты потерпели поражение». Настоящий человек говорит именно так. Ошедэ сказал бы: «Я в ответе за все».

Я понимаю, что такое смирение. Оно неравносильно самоунижению. Оно есть самый источник действия. Если, желая оправдать себя, я объясняю свои беды злым роком, я подчиняю себя злому року. Если я приписываю их измене, я подчиняю себя измене. Но если я принимаю всю ответственность на себя, я тем самым отстаиваю свои человеческие возможности. Я могу повлиять на судьбу

того, от чего я неотделим. Я — составная часть общности людей.

Итак, во мне есть некто, с кем я борюсь, чтобы расти. И мне понадобился этот трудный полет, чтобы я мог распознать в себе личность, с которой я борюсь, и отделить ее от растущего во мне человека. Не знаю еще, каков он, возникший передо мной образ, но я говорю себе: личность — это всего лишь путь. Человек, избирающий этот путь, — вот главное.

Я больше не могу удовлетворяться полемическими истинами. Зачем обвинять личности? Они только пути и перепутья. Я больше не могу объяснять замерзание пулеметов нерадивостью чиновников, а бездействие союзников — их эгоизмом. Поражение, конечно, проявляется в банкротстве отдельных личностей. Но ведь человека создает духовная культура. И если культуре, к которой я себя причисляю, угрожает опасность из-за несостоятельности личностей, то я вправе спросить себя, почему она не создала их другими.

Сетуя на отсутствие энтузиазма у своих приверженцев, всякая духовная культура, как и всякая религия, изобличает самое себя. Долг ее состоит в том, чтобы воодушевить их. То же самое, если она жалуется на ненависть противников. Ее долг — обратить их в свою веру. А между тем моя культура, которая некогда могла противостоять гонениям, воспламенить своих апостолов, сломить ярость врагов, освободить порабощенные народы, сегодня не сумела ни воодушевить людей, ни обратить их в свою веру. Если я стремлюсь понять, в чем коренятся причины моего поражения, если я хочу и надеюсь возродиться, мне прежде всего нужно вновь обрести источник духовных сил, который я утратил.

Потому что духовную культуру можно сравнить

с пшеницей. Пшеница кормит человека. Но и человек, в свою очередь, заботится о пшенице, ссыпая в амбары зерно. И запасы зерна сберегаются, как наследие, от одного урожая к другому.

Недостаточно знать, какой сорт зерна я хочу вырастить, чтобы взошел именно этот сорт. Если я озабочен тем, чтобы спасти определенный тип человека — и его возможности, — я должен спасти принципы, которые его формируют.

Но если я сохранил образ моей духовной культуры, то я уже не вижу устоев, на которых она строилась. Сегодня я вдруг обнаруживаю, что слова, которыми я пользовался до сих пор, уже не выражают главного. Так, я проповедовал Демократию, не подозревая, что тем самым вовсе не предписывал людям свод непреложных нравственных законов, а лишь высказывал благие пожелания. Я хотел, чтобы люди были братьями, свободными и счастливыми. Разумеется. Кто же с этим не согласится? Я мог сказать, *каким* должен быть человек. А не *кем* он должен быть.

Я говорил, не уточняя значения слов, о человеческой общности. Как будто духовная атмосфера, которую я имел в виду, не была порождением особой ее структуры. Мне казалось, что речь идет о естественной очевидности. Но естественной очевидности не существует. Фашистская армия или невольничий рынок это тоже некая человеческая общность.

Я жил в человеческой общности уже не в качестве ее строителя. Я пользовался благами царящего в ней мира, ее терпимостью, ее благоденствием. Я ничего не знал о ней кроме того, что я — ее обитатель. Я жил в ней, как ризничий или как привратница. Стало быть, как паразит. Стало быть, как побежденный.

Таковы пассажиры корабля. Они пользуются кораблем, но ничего ему не дают. Удобно расположившись в салонах, за пределами которых их ничто не интересует, они проводят там свой досуг. Им неведома тяжкая работа шпангоутов, сдерживающих вечный напор воды. Вправе ли они жаловаться, если буря разнесет их корабль в щепы?

Если личность выродилась, если я побежден, на что мне жаловаться?

Есть некая общая мера качеств, которыми я хотел бы наделить людей моей духовной культуры. Есть краеугольный камень той особой общности, которую они должны основать. Есть начало, от которого некогда пошло все: и корни, и ствол, и ветви, и плоды. Что же это за начало? Начало это — могучее зерно, брошенное в чернозем, на котором произрастают люди. Только оно может сделать меня победителем.

Мне кажется, я многое понял за эту мою необыкновенную ночь в деревне. Вокруг меня какая-то необычайная тишина. Малейший звук, словно звон колокола, наполняет пространство. Все стало для меня таким близким. И это жалобное блеяние овец, и тот далекий зов, и скрип притворенной кем-то двери. Словно все происходит во мне самом. Я должен немедля постичь смысл этого чувства, пока оно не исчезло...

Я говорю себе: «Все это обстрел над Аррасом...» Его снаряды пробили какую-то оболочку. Очевидно, в течение всего этого дня я готовил в себе жилище для Человека. Я был всего лишь ворчливым управляющим. Всего лишь личностью. Но вот явился Человек. Он попросту занял мое место. Он посмотрел на беспорядочную толпу, и он увидел народ. Свой народ. Человек — общая мера для это-

го народа и для меня. Вот почему, когда я возвращался в авиагруппу, мне казалось, что меня влечет тепло большого костра. Моими глазами смотрел Человек, — Человек, общая мера для всех моих товарищей.

Уж не знамение ли это? Я почти готов поверить в знамения... Все этой ночью словно вступило в безмолвный сговор. Каждый звук доходит до меня, будто призыв, одновременно и ясный и непонятный. Я слушаю, как ночь наполняют чьи-то спокойные шаги.

— Э-эй! Добрый вечер, капитан!

— Добрый вечер!

Я не знаю его. Так окликают друг друга два лодочника, встретившиеся на реке.

Еще раз я ощутил это загадочное родство. Человек, живущий во мне сегодня, не перестает опознавать своих. Человек — общая мера для всех народов и рас...

Тот, кто окликнул меня, возвращался домой со своим запасом забот, мыслей и образов. Со своим собственным, скрытым в его душе грузом. Я мог бы подойти к нему и заговорить. На белизне деревенской дороги мы обменялись бы какими-нибудь воспоминаниями. Так обмениваются сокровищами купцы, когда встречаются на пути с далеких островов.

Если из людей моей духовной культуры кто-то мыслит иначе, чем я, он не только не оскорбляет меня этим, но, напротив, обогащает меня. Основа нашего единства — Человек, который выше каждого из нас. И потому наши споры по вечерам в группе 2/33 не только не вредят нашему братству, но, напротив, укрепляют его: ведь никому из нас не

интересно слушать собственное эхо или смотреть на свое отражение в зеркале.

Точно так же узнают себя в Человеке и французы Франции, и норвежцы Норвегии. Человек связывает их в своем единстве и в то же время, не вступая в противоречие с собой, помогает расцвету того неповторимого, что присуще каждому их этих народов. Дерево тоже проявляет себя в ветвях, не похожих на корни. И если в Норвегии пишут сказки про снег, если в Голландии выращивают тюльпаны, если в Испании импровизируют фламенко, все это обогащает Человека, живущего в каждом из нас. Поэтому, быть может, мы, летчики группы 2/33, хотели сражаться за Норвегию...

И вот теперь мне кажется, что я подхожу к концу долгого странствия. Я не открываю ничего нового, но, словно очнувшись ото сна, заново вижу все то, на что уже давно перестал смотреть.

Моя духовная культура основана на культе Человека в отдельной личности. Веками она стремилась показать Человека, подобно тому как она учила бы видеть собор в груде камней. Она проповедовала Человека, который превосходит отдельную личность...

Потому что Человек моей духовной культуры не определяется отдельными людьми. Напротив, люди определяются им. В нем, как и в любой Сущности, есть нечто такое, чего не могут объяснить составляющие ее элементы. Собор есть нечто совсем иное, нежели просто нагромождение камней. Собор — это геометрия и архитектура. Не камни определяют собор, а, напротив, собор обогащает камни своим особым смыслом. Его камни облагорожены тем, что они — камни собора. Самые разнообразные камни

служат его единству. Даже уродливые каменные чудовища и те участвуют в общем гимне собора.

Но мало-помалу я забыл мою истину. Я стал считать, что Человек есть сумма людей, подобно тому как Камень есть сумма камней. Я отождествил собор с простым нагромождением камней, и мало-помалу наследие моей духовной культуры исчезло. Нужно восстановить Человека. Он — суть моей культуры. Он — основа моей Общности. Он — источник моей победы.

XXVI

Легко основать порядок в обществе, подчинив каждого его члена незыблемым правилам. Легко воспитать слепца, который, не протестуя, подчинялся бы поводырю или Корану. Насколько же труднее освободить человека, научив его властвовать над собой.

Что значит освободить? Если в пустыне я освобожу человека, который никуда не стремится, чего будет стоить его свобода? Свобода существует лишь для *кого-то,* кто куда-то стремится. Освободить человека в пустыне, значит возбудить в нем жажду и указать ему путь к колодцу. Только тогда его действия обретут смысл. Бессмысленно освобождать камень, если не существует силы тяжести. Потому что освобожденный камень не сдвинется с места.

Моя духовная культура стремилась положить в основу человеческих отношений культ Человека, стоящего выше отдельной личности, чтобы поведение каждого по отношению к самому себе и другим не было слепым подчинением законам муравейника, а стало свободным проявлением любви.

Незримый путь, начертанный силою тяжести, освобождает камень. Незримые силы любви освобождают человека. Моя духовная культура стремилась сделать из каждого человека Посланца одного и того же владыки. Она рассматривала личность как путь или проявление воли того, кто выше ее; она предоставляла ей свободу восхождения туда, куда влекли ее силы притяжения.

Я знаю, откуда произошло это силовое поле. Веками моя духовная культура сквозь людей созерцала Бога. Человек был создан по образу и подобию божию. И в человеке почитали Бога. Люди были братьями в Боге. Этот отблеск Бога сообщал каждому человеку неотъемлемое достоинство. Отношение человека к Богу ясно определяло долг каждого перед самим собой и перед другими людьми.

Моя духовная культура — наследница христианских ценностей. Чтобы постичь архитектуру собора, надо задуматься над тем, как он построен.

Созерцание Бога служило основой равенства людей в силу их равенства в Боге. И смысл этого равенства был ясен. Потому что равными можно быть только в чем-то. Солдат и командир равны в своем народе. Равенство становится пустым звуком, если нет ничего, что связывало бы это равенство.

Я понимаю, почему равенство, которое было равенством прав Бога, выраженных в личностях, запрещало ограничивать восхождение отдельной личности: ведь Бог мог избрать ее в качестве своего пути. Но так как речь шла также о равенстве Бога на личность, мне понятно, почему личности, каковы бы они ни были, выполняли одни и те же обязанности и подчинялись одним и тем же законам. Выражая Бога, они были равны в своих пра-

вах. Служа Богу, они были равны в своих обязанностях.

Я понимаю, почему равенство в Боге не влекло за собой ни противоречий, ни беспорядка. Демагогия возникает тогда, когда, за отсутствием общей меры, принцип равенства вырождается в принцип тождества. Тогда солдат отказывается отдавать честь командиру, потому что честь, отдаваемая командиру, означала бы почитание личности, а не Нации.

Моя духовная культура, наследуя Богу, основала равенство людей в Человеке.

Я понимаю, откуда происходит уважение людей друг к другу. Ученый должен был уважать грузчика, потому что в этом грузчике он почитал Бога, чьим Посланцем грузчик являлся наравне с ним. Каковы бы ни были ценность одного и посредственность другого, ни один человек не имел морального права обратить другого в рабство: ведь Посланца унижать нельзя. Но это уважение к человеку не приводило к раболепному пресмыкательству перед посредственностью, перед глупостью и невежеством, потому что в человеке уважалось прежде всего достоинство Посланца Бога. Так Любовь к Богу создавала основу возвышенных отношений между людьми, поскольку дела велись между Посланцами независимо от достоинств личности.

Моя духовная культура, наследуя Богу, создала уважение к человеку, независимо от его личности.

Я понимаю происхождение братства между людьми. Люди были братьями в Боге. Братьями можно быть только в чем-то. Если нет узла, связывающего людей воедино, они будут поставлены рядом друг с другом, а не связаны между собой. Нельзя быть просто братьями. Мои товарищи и я — братья *во* группе 2/33. Французы — братья *во* Франции.

Моя духовная культура, наследуя Богу, основала братство людей в Человеке.

Я понимаю значение любви к ближнему, которой меня учили. Любовь к ближнему была служением Богу через личность. Она была данью, воздаваемой Богу, сколь бы посредственна ни была личность. Эта любовь не унижала того, к кому она была обращена, она не сковывала его цепями благодарности, потому что этот дар приносился не ему, а Богу. Именно поэтому такая любовь никогда не превращалась в почесть, воздаваемую посредственности, глупости или невежеству. Долг врача состоял в том, чтобы, рискуя жизнью, лечить зачумленного, кем бы он ни был. Врач служил Богу. Его не унижала бессонная ночь, проведенная у изголовья мошенника.

Моя духовная культура, наследуя Богу, превратила любовь к ближнему в дар Человеку, приносимый через личность.

Я понимаю глубокий смысл Смирения, которого требовали от личности. Смирение не принижало

личность. Оно возвышало ее. Оно раскрывало личности ее роль Посланца. Требуя от нее почитания Бога через ближнего, оно в то же время требовало, чтобы она почитала его в самой себе, сознавая себя вестником Бога, идущим по пути, начертанному Богом. Смирение предписывало ей забывать о себе, тем самым возвышая себя, ибо если личность станет преувеличивать свое собственное значение, путь ее сразу же упрется в стену.

Моя духовная культура, наследуя Богу, проповедовала также уважение к самому себе, то есть уважение к Человеку через самого себя.

Я понимаю, наконец, почему любовь к Богу возложила на людей ответственность друг за друга и предписала им Надежду как добродетель. Ведь каждого человека она превращала в Посланца того же самого Бога, в руки каждого отдавала спасение всех. И никто не имел права отчаиваться, потому что каждый был вестником кого-то более великого, чем он сам. Отчаяние было равносильно отрицанию Бога в самом себе. Долг Надежды можно было бы выразить так: «Значит, ты придаешь себе такое огромное значение? Сколько же самодовольства в твоем отчаянии!»

Моя духовная культура, наследуя Богу, сделала каждого ответственным за всех людей и всех людей — ответственными за каждого. Личность должна жертвовать собой ради спасения коллектива, но дело тут не в элементарной арифметике. Все дело в уважении к Человеку через личность. Да, вели-

чие моей духовной культуры в том, что сто шахтеров будут рисковать жизнью ради спасения одного засыпанного в шахте товарища. Ибо они спасают Человека.

В свете всего сказанного я понимаю, что значит свобода. Это свобода дерева расти в силовом поле своего зерна. Она — совокупность условий восхождения Человека. Она подобна попутному ветру. Только благодаря ветру свободен парусник в открытом море.

Человек, воспитанный в этих правилах, обладал бы силой могучего дерева. Какое пространство мог бы он охватить своими корнями! Какие человеческие достоинства мог бы он в себя вобрать, чтобы они расцвели на солнце!

XXVII

Но я все испортил. Я расточил наследие. Я позволил предать забвению понятие Человека.

Однако, чтобы спасти этот культ Владыки, созерцаемого через отдельные личности, и благородство человеческих отношений, основанных на этом культе, моя духовная культура затратила немало сил и творческого вдохновения. Все усилия Гуманизма были направлены к этой цели. Гуманизм избрал своей исключительной миссией объяснить и упрочить превосходство Человека над личностью. Гуманизм проповедовал Человека.

Но когда речь заходит о Человеке, наш язык становится недостаточным. Человек — это нечто

иное, чем люди. О соборе нельзя сказать ничего существенного, если говорить только о камнях. О Человеке нельзя сказать ничего существенного, если пытаться определить его только свойствами людей. Поэтому Гуманизм заведомо шел по пути, который заводил его в тупик. Гуманизм пытался вывести понятие Человека с помощью логических и моральных аргументов и таким образом перенести его в сознание людей.

Никакое словесное объяснение никогда не заменит созерцания. Единство Сущности нельзя передать словами. Если бы я захотел пробудить любовь к родине или к имению у людей, чьей духовной культуре такая любовь была бы неведома, я не располагал бы никакими доводами, чтобы тронуть их сердца. Имение — это поля, пастбища и стада. Назначение каждой из этих частей и всех их вместе — приносить богатство. Однако всякому имению присуще нечто такое, что ускользает при рассмотрении составляющих его элементов: ведь иные землевладельцы готовы разориться, лишь бы спасти любимое имение. Это нечто как раз и облагораживает составные элементы имения, наделяя их совсем особыми свойствами. И вот они становятся стадами этого имения, лугами этого имения, полями этого имения...

Так и человек становится человеком своей родины, своего ремесла, своей духовной культуры, своей религии. Но чтобы утверждать, что ты неотделим от таких Сущностей, надо сначала создать их в самом себе. Тому, у кого нет чувства родины, нельзя внушить его никаким языком. Создать в себе Сущность, которую ты называешь своей, можно только при помощи действий. Сущность принадлежит не к области языка, а к области действия. Наш Гуманизм пренебрегал действиями. Его попытки потерпели неудачу.

Самое сложное действие получило название. И название это — жертва.

Жертва не означает ни безвозвратного отчуждения чего-то своего, ни искупления. Прежде всего это действие. Это отдача себя Сущности, от которой ты считаешь себя неотделимым. Только тот поймет, что такое имение, кто пожертвует ему частью себя, кто будет бороться ради его спасения и трудиться, чтобы сделать его лучше. Тогда он обретает любовь к имению. Имение это не сумма доходов, — думать так было бы ошибкой. Оно — сумма принесенных даров.

Пока моя духовная культура опиралась на Бога, она могла спасти это понятие жертвы, которое создавало Бога в сердце человека. Гуманизм пренебрегает важнейшей ролью жертвы. Он вознамерился сберечь Человека с помощью слов, а не действий.

Чтобы спасти образ Человека, видимый через людей, Гуманизм располагал теперь всего лишь тем же словом «Человек», украшенным заглавной буквой. Мы рисковали скатиться по опасному склону и в один прекрасный день подменить Человека некой средней личностью или совокупностью людей. Мы рисковали подменить наш собор суммой камней.

И понемногу мы растеряли наше наследие.

Вместо того чтобы утверждать права Человека в личности, мы заговорили о правах Коллектива. Незаметно у нас появилась мораль Коллектива, которая пренебрегает Человеком. Эта мораль может объяснить, почему личность должна жертвовать собой ради Общества. Но она не может объяснить, не прибегая к словесным ухищрениям, почему Общность должна жертвовать собой ради одного человека. Почему справедливо, чтобы тысячи людей приняли смерть ради спасения одного, осужденного

невинно. Мы еще вспоминаем об этом принципе, но мало-помалу забываем его. А между тем именно в этом принципе, в корне отличающем нас от муравьев муравейника, прежде всего и состоит наше величие.

Мы скатились — за неимением плодотворного метода — от Человечества, опиравшегося на Человека, к этому муравейнику, опирающемуся на сумму личностей.

Что могли мы противопоставить культу Государства или культу Массы? Во что превратился наш величественный образ Человека, порожденного Богом? Его уже почти невозможно распознать сквозь слова, потерявшие смысл.

Постепенно, забывая о Человеке, мы ограничили нашу мораль проблемами отдельной личности. Мы стали требовать от каждого, чтобы он не ущемлял другого. От каждого камня, чтобы он не ущемлял другой камень. Разумеется, они не наносят друг другу ущерба, когда в беспорядке валяются в поле. Но они наносят ущерб сóбору, который они могли бы составить и который взамен наделил бы смыслом каждый из них.

Мы продолжали проповедовать равенство между людьми. Но, забыв о Человеке, мы уже перестали понимать то, о чем говорили. Не зная, что положить в основу Равенства, мы превратили его в туманное утверждение, пользоваться которым уже не могли. Как определить Равенство между личностями, между мудрецом и тупицей, глупцом и гением? Что касается строительных материалов, то, если мы хотим определить и осуществить их равенство, нужно, чтобы все они занимали одинаковое место и играли одну и ту же роль. А это бессмысленно. Ибо

принцип Равенства вырождается тогда в принцип Тождества.

Мы продолжали проповедовать Свободу человека. Но, забыв о Человеке, мы определили нашу Свободу как некую безнаказанность, при которой дозволены любые поступки, лишь бы они не причиняли вреда другому. А это лишено всякого смысла, ибо нет такого поступка, который не затрагивал бы другого человека. Если я, будучи солдатом, наношу себе увечье, меня расстреливают. Обособленных личностей не существует. Тот, кто отчуждает себя от общности, наносит ей ущерб. Тот, кто печален, печалит других.

Понимая право на свободу таким образом, мы разучились пользоваться им, не наталкиваясь на непреодолимые противоречия. Не умея определить, в каком случае мы сохраняли наше право на свободу, а в каком лишались его, мы, чтобы спасти хоть какой-то неясный принцип, лицемерно закрыли глаза на бесчисленные препятствия, которые всякое общество неизбежно ставило перед нашими свободами.

Что же касается Любви к ближнему, то мы даже не осмеливались больше ее проповедовать. В былые времена Любовью к ближнему называлась жертва, создававшая какую-нибудь Сущность, если эта жертва прославляла Бога через его человеческий образ. Через личность мы воздавали Богу или Человеку. Но, забыв о Боге или о Человеке, мы стали воздавать только личности. И тогда Любовь к ближнему часто становилась оскорбительной. Справедливость в распределении материальных благ должно обеспечивать Общество, и она не может зависеть от каприза того или иного лица. Достоинство личности не допускает, чтобы она оказалась в зависимости от другой личности из-за ее щедрот. Было

бы нелепо, если бы имущие, кроме обладания богатством, требовали еще и благодарности неимущих.

Самое же главное состоит в том, что наша любовь к ближнему, истолкованная превратно, обращалась против самой себя. Основанная исключительно на жалости, она запретила бы всякое воспитующее наказание. Подлинная Любовь к ближнему, будучи служением Человеку, а не отдельной личности, повелевала нам бороться с личностью, чтобы возвеличить в ней Человека.

Так мы потеряли Человека. А потеряв Человека, мы лишили тепла то самое братство, которое проповедовала наша духовная культура, потому что братьями можно быть только в чем-то и нельзя быть братьями вообще. Делиться с кем-то еще не значит быть ему братом. Братство возникает только в самопожертвовании. Оно возникает в общем даре чему-то более великому, чем мы сами. Но, подменив этот корень всякого истинного бытия бесплодным измельчанием, мы свели наше братство просто к взаимной терпимости.

Мы перестали давать. Но если я готов дать лишь самому себе, я ничего не получаю, потому что не создаю ничего такого, от чего я неотделим, а значит, я — ничто. И если от меня потребуют, чтобы я умер ради каких-то выгод, я откажусь умирать. Выгода прежде всего повелевать жить. Какой порыв любви окупит мою смерть? Умирают за дом, а не за вещи и стены. Умирают за собор — не за камни. Умирают за народ — не за толпу. Умирают из любви к Человеку, если он краеугольный камень Общности. Умирают только за то, ради чего стоит жить.

Наш лексикон, казалось, почти не изменился, но слова, когда мы пытались ими пользоваться, поте-

ряв свой реальный смысл, вели нас к неразрешимым противоречиям. И мы были вынуждены закрывать глаза на эти помехи. Не умея строить, мы были вынуждены оставить груду камней на поле и говорить о Коллективе с опаской, не решаясь уточнять, о чем же мы говорим, потому что в действительности мы говорили о чем-то несуществующем. Слово «коллектив» лишено смысла до тех пор, пока Коллектив не связывается чем-то. Сумма не есть Сущность.

Если наше Общество еще имело право на существование, если в нем еще сохранялось какое-то уважение к Человеку, то лишь потому, что подлинная духовная культура, которую мы предавали собственным невежеством, все еще излучала свой меркнущий свет и спасала нас помимо нашей воли.

Как могли наши противники понять то, чего уже не понимали мы сами? Они видели в нас только груду камней. Они пытались вернуть смысл Коллективу, смысл, который мы сами уже не умели объяснить, потому что забыли о Человеке.

Одни из них сразу же, не долго думая, пришли к крайним логическим заключениям. Груде камней они придали самодовлеющее значение. Камни должны быть тождественны камням. И каждый камень подчиняется самому себе. Анархия еще не забыла о культе Человека, но целиком переносит его на отдельную личность. И это ведет к противоречиям, еще более непримиримым, чем наши.

Другие собрали камни, беспорядочно разбросанные в поле. Они проповедовали права Массы. Но их формула непригодна. Потому что, если нельзя допустить, чтобы один человек тиранил Массу, — нельзя, разумеется, допустить также и то, чтобы Масса подавляла одного человека.

Третьи завладели этими бессильными камнями и из суммы их создали Государство. Такое Государство тоже не возвышает людей. Оно тоже лишь выражение суммы. Оно есть власть коллектива, переданная в руки личности. Оно есть господство камня, который по видимости отождествляет себя с другими камнями, над совокупностью камней. Это государство откровенно проповедует мораль Коллектива, которую мы пока отрицаем, но к которой сами же постепенно идем, потому что мы забыли о Человеке, — а ведь только он может оправдать наш отказ.

Приверженцы этой новой религии не допустят, чтобы несколько шахтеров рисковали жизнью ради спасения одного засыпанного в шахте товарища. Потому что это нанесло бы ущерб груде камней. Они прикончат раненого, если он задерживает продвижение армии. О благе Общности они станут судить с помощью арифметики, и арифметика будет руководить ими. Им невыгодно возвыситься до более великого, чем они сами. Следовательно, они возненавидят все то, что отличается от них, потому что над собой они не найдут ничего, с чем они могли бы слиться. Всякий чужой обычай, иная раса, иная мысль неизбежно станут для них оскорблением. Они не будут обладать способностью приобщать к себе, ибо, чтобы обратить Человека в свою веру, нужно не отсечь его, а объяснить ему его роль, указать цель для его устремлений и предоставить ему сферу приложения сил. Обратить в свою веру всегда значит освободить. Собор может приобщать к себе камни, и они обретают в нем смысл. Но груда камней ничего к себе не приобщает, и, не обладая, такой способностью, она давит. Да, это так, — но чья в том вина?

Я больше не удивляюсь тому, что груда камней,

которая давит своей тяжестью, одержала победу над камнями, в беспорядке разбросанными по полю.
И все-таки я сильнее ее.

Я сильнее ее, если я вновь обрету себя. Если наш Гуманизм восстановит Человека. Если мы сумеем основать нашу Общность и если применим для этой цели единственно действенное средство: жертву. Общность, построенная нашей духовной культурой, тоже не была суммой выгод — она была суммой даров.

Я сильнее ее, потому что дерево сильнее веществ, составляющих почву. Оно впитывает их в себя. Оно превращает их в дерево. Собор сияет ярче, чем груда камней. Я сильнее ее потому, что только моя духовная культура способна связать в одно целое, никого не отсекая, все разнообразие человеческих индивидуальностей. Утоляя жажду из источника своей силы, она в то же время вливает в него новую жизнь.

В час вылета я хотел что-то получить прежде, чем отдал сам. Мое желание не имело смысла. Здесь было что-то сходное с тем скучным уроком грамматики. Прежде чем получить, надо отдать, и прежде чем поселиться в доме, надо его построить.

Моя любовь к своим основана на том, что я готов отдать за них свою кровь, подобно тому как любовь матери основана на том, что она отдает свое молоко. В этом и заключается тайна. Чтобы положить основание любви, надо начать с жертвы. Потом любовь может вдохновить на новые жертвы, и они приведут к новым победам. Человек всегда должен сделать первый шаг. Прежде чем существовать, он должен родиться.

Когда я вернулся с задания, я уже ощущал

свое родство с племянницей фермера. Ее улыбка показалась мне прозрачной, и сквозь эту улыбку я увидел мою деревню. А сквозь мою деревню — мою страну. А сквозь мою страну — другие страны. Потому что я неотделим от духовной культуры, избравшей своим краеугольным камнем Человека. Я неотделим от группы 2/33, выразившей готовность сражаться за Норвегию.

Может случиться, что завтра Алиас пошлет меня на другое задание. Сегодня я облачался, чтобы служить богу, которого не видел, потому что был слеп. Огонь над Аррасом снял пелену с моих глаз — и я прозрел. Те, от кого я неотделим, тоже прозрели. И если на заре я вновь отправлюсь в полет, я буду знать, за что я сражаюсь.

Но я хочу запомнить то, что увидел. А для этого мне нужен простой Символ Веры.

Я буду сражаться за приоритет Человека над отдельной личностью, как общего над частным.

Я верую, что культ Общего возвышает и связывает воедино духовные богатства отдельных личностей и основывает единственно подлинную гармонию, которая есть гармония жизни. Дерево исполнено гармонии, хотя его корни отличаются от ветвей.

Я верую, что культ отдельных личностей влечет за собой только смерть, потому что он хочет основать гармонию на сходстве. Он подменяет единство Сущности тождеством ее частей. И он разрушает собор, чтобы выложить в ряд составляющие его камни. Поэтому я буду сражаться со всяким, кто станет провозглашать превосходство какого-то одного обычая над другими обычаями, какого-то одного народа над другими народами, одной расы над другими расами, какой-то одной мысли над другими мыслями.

Я верую, что приоритет Человека кладет основание единственному имеющему смысл Равенству и единственной имеющей смысл Свободе. Я верую в равенство прав Человека в каждой личности. И я верую, что Свобода — это Свобода восхождения Человека. Равенство не есть тождество. Свобода не есть возвеличивание личности в ущерб Человеку. Я буду сражаться со всяким, кто захочет подчинить свободу Человека одной личности или массе личностей.

Я верую, что моя духовная культура именует Любовью к ближнему добровольную жертву, приносимую Человеку, чтобы утвердить его царство. Любовь к ближнему есть дар Человеку, приносимый через посредственность личности. Она основывает Человека. Я буду сражаться со всяким, кто, утверждая, что моя любовь к ближнему воздает честь посредственности, станет отрицать Человека и тем самым заключит личность в тюрьму безысходной посредственности.

Я буду сражаться за Человека. Против его врагов. Но также и против самого себя.

XXVIII

Я присоединился к товарищам. Мы все должны были собраться около полуночи, чтобы получить приказания. Группу 2/33 клонит ко сну. Пламя большого костра превратилось в тлеющие угли. С виду группа еще держится, но это только иллюзия. Ошедэ грустно вопрошает свой знаменитый хронометр. Пенико, прислонясь головой к стене, дремлет в углу. Гавуаль, свесив ноги, сидит на столе и, подав-

ляя зевоту, морщится, как готовый заплакать ребенок. Азамбр клюет носом над книгой. Один лишь майор еще бодрится; мертвенно-бледный, склонившись над бумагами под лампой, он вполголоса обсуждает что-то с Желе. Впрочем, «обсуждает» — всего лишь образное выражение. Говорит один майор. Желе кивает головой и отвечает: «Да, конечно». Желе прицепился к этому «да, конечно». Он все поспешнее соглашается с высказываниями майора, боясь оторваться от них, как утопающий — от шеи пловца. На месте Алиаса я, не меняя тона, сказал бы: «Капитан Желе... на рассвете вас расстреляют...» И подождал бы, что он ответит.

Группа не спала уже трое суток и еле держится на ногах.

Майор встает, подходит к Лакордэру и прерывает его сон, в котором Лакордэр, быть может, обыгрывал меня в шахматы.

— Лакордэр... с рассветом вы вылетаете. Разведка на бреющем полете.

— Слушаюсь, господин майор.

— Вам надо бы поспать...

— Так точно, господин майор.

Лакордэр снова садится. Майор выходит из комнаты, увлекая за собой Желе, словно мертвую рыбу на конце удочки. Вот уже не трое суток, а целая неделя, как Желе не спал. Так же, как Алиас, он не только вылетал в разведку, но и нес на своих плечах ответственность за всю группу. Человеческая выносливость имеет пределы. Желе уже перешел пределы выносливости. И все-таки оба они — и пловец и утопающий — снова отправляются за призрачными приказами.

Ко мне с озабоченным видом подходит Везэн, — сам он при этом стоя спит, как лунатик.

— Ты спишь?

— Я...

Я прислонился головой к спинке кресла — я обнаружил здесь кресло. Я тоже засыпаю, но меня мучит голос Везэна:

— Все это плохо кончится!..

Все это плохо кончится... Заведомо неодолимая преграда... Плохо кончится...

— Ты спишь?

— Я... нет... что плохо кончится?

— Война.

Вот это новость! Я снова погружаюсь в сон. Я бормочу:

— ...какая война?

— Как это «какая»?

Такой разговор долго не протянется. Ах, Паула, если бы у авиагрупп были тирольские няньки, вся группа 2/33 уже давно была бы в постели!

Майор с размаху распахивает дверь.

— Решено. Перебазируемся.

За ним стоит Желе, совершенно проснувшийся. Он отложит до завтра свои «да, конечно». В эту ночь он опять почерпнет силы для изнурительного труда из-за каких-то ему самому неведомых резервов.

Мы встаем. Мы говорим: «А!.. Ну, ладно...» Что мы можем сказать?

Мы ничего не скажем. Мы обеспечим перебазирование. Один Лакордэр дождется рассвета, чтобы вылететь на задание. Если он останется жив, то присоединится к нам уже на новом аэродроме.

Завтра мы тоже ничего не скажем. Завтра для свидетелей мы будем побежденными. А побежденные должны молчать. Как зерна.

ПИСЬМО ЗАЛОЖНИКУ



I

В декабре 1940 года по дороге в Америку я проезжал через Португалию, и Лиссабон показался мне каким-то светлым и грустным раем. В ту пору там было много разговоров о неминуемом вторжении, и Португалия судорожно цеплялась за свое призрачное счастье. В Лиссабоне устроили великолепную, невиданной прелести выставку, и столица улыбалась через силу — так улыбается мать, когда нет вестей от сына с войны, стараясь его спасти своей верой: «Мой сын жив, ведь я улыбаюсь...» Вот и столица Португалии словно говорила: «Смотрите, я так безмятежна, я такая мирная и светлая...» Весь материк нависал над Португалией, словно угрюмая гора, где рыщут орды хищников, а праздничная столица бросала Европе вызов: «Разве можно на меня напасть, ведь я так стараюсь не прятаться! Ведь я так беззащитна!..»

У меня на родине города по ночам были серые, как пепел. Я отвык там от света, и при виде сияющего огнями Лиссабона беспокойно и смутно становилось у меня на душе. Когда предместье окутано тьмой, бриллианты в чересчур ярко освещенной витрине привлекают грабителей. Чувствуешь, как они подбираются ближе. Я чувствовал — над Лиссабоном нависает ночь Европы, и в ночи кружат

стаи бомбардировщиков, точно они издалека почуяли драгоценную добычу.

Но Португалия силилась не замечать алчного чудовища. Она не хотела верить зловещим знамениям. Вверяясь самообману отчаяния, она говорила только об искусстве. Неужели ее посмеют раздавить — ее, служительницу искусства? Она извлекла на свет все свои чудеса — неужели ее посмеют раздавить среди таких чудес? Она выставила напоказ своих великих людей. Пусть у нее нет армии, нет пушек — от железа и стали захватчика она заслонилась часовыми из камня: своими поэтами, своими землепроходцами и первооткрывателями. Пусть у нее нет армии, нет пушек, — захватчику преградит дорогу ее прошлое. Неужели ее посмеют раздавить — ее, наследницу столь славного прошлого?

Каждый вечер я в невеселом раздумье бродил по этой прекрасной выставке; то был образец тончайшего вкуса, все здесь было на грани совершенства, даже музыка — неброская, выбранная с таким тактом, она струилась среди садов мягко, скромно, будто бесхитростная песня родника. Неужели погубят это удивительное чувство гармонии?

И через силу улыбающийся Лиссабон казался мне еще грустней моих погасших городов.

Я знавал — быть может, знавали и вы — немного странные семьи, где за столом сохраняют место умершего. Здесь отвергают непоправимое. Но мне кажется, этот вызов судьбе не утешает. Надо признать, что мертвые — мертвы. И тогда мы вновь, хоть и по-иному, ощущаем их присутствие. А в таких семьях им мешают возвратиться. Из умерших делают вечных изгнанников, гостей, которые навсегда опоздали к трапезе. Траур здесь променяли на

ожидаиие, лишениое смысла. Мие казалось, такие дома поражеиы иеисцелимым недугом, который душит сильиее, чем горе. О господи, смирился же я и иадел траур, когда потерял Гийоме, последиего моего друга (ои разбился со своим почтовым самолетом). Гийоме уже ие перемеиится. Никогда больше ои меня ие иавестит, ио и ие покииет меия иикогда. Я пожертвовал бесполезной ловушкой — его прибором за мо́им столом — и в умершем виовь обрел настоящего друга.

А Португалия пыталась верить в счастье, сохраняла его прибор за столом, его праздничные фоиарики, его музыку. Лиссабон прикидывался счастливым в иадежде, что и господь бог поверит в этс счастье.

Самый воздух Лиссабоиа казался еще тягостией из-за иных бежеицев. Я говорю ие об изгиаииках, которые искали здесь убежища. Не о переселеицах, искавших землю, которую оии могли бы возделывать своими руками. Я говорю о тех, кто покинул родииу, оставил в беде соотечествеиников, лишь бы спасти свой кошелек.

Мие ие удалось поселиться в самом Лиссабоие, и я жил в Эсториле, подле казиио. Я попал сюда из самого пекла: девять месяцев подряд моя авиагруппа иепрерывио летала иад Германией и только за время иемецкого иаступлеиия потеряла три четверти летного состава. Потом я возвратился иа родииу, ощутил угрюмую тяжесть иеволи и угрозу голода. Я изведал иепроглядиую ночь, которая придавила иаши города. А теперь в двух шагах от меия казиио Эсториля каждый вечер наполняли привидеиия. Неслышиые «кадиллаки», притворяясь, будто им есть куда спешить, подкатывали по мельчайшему песку и высаживали их у подъезда. Привидеиия красовались в вечериих туалетах,

совсем как в былые времена. Они щеголяли крахмальными манишками или жемчугами. Они приглашали друг друга на обеды и ужины, но то было застолье статистов: им не о чем было говорить.

Потом они играли в рулетку или в баккара, смотря по деньгам. Иногда я заходил на них взглянуть. Глядел не с возмущением и не с насмешкой, но со смутной тревогой. Так тревожно бывает глядеть в зоологическом саду на последних потомков какой-нибудь вымершей породы. Они рассаживались вокруг столов. Теснились поближе к бесстрастному крупье и лезли вон из кожи, лишь бы ощутить надежду и отчаяние, испуг, зависть и ликованье. Как будто они живые. Они играли на состояния, которые в эту самую минуту, быть может, обращались в пустой звук. Расплачивались монетой, быть может, уже обесцененной. Акции, запертые в их сейфах, обеспечивались заводами, которые, может быть, уже конфисковали оккупанты или вот-вот разнесет в пыль авиабомба. Эти люди выдавали векселя на Сириус. Они цеплялись за прошлое, словно в последние месяцы ничто в мире не рушилось, и пытались верить, будто они вправе предаваться игорной лихорадке, будто чеки их надежно обеспечены и договоры заключены навечно. Это было как во сне. Какой-то кукольный театр. И это было грустно.

Конечно же, ничего они не способны были ощутить. Я уходил от них. Шел на взморье глотнуть свежего воздуха. И мне казалось, что море Эсториля, курортное, прирученное море тоже участвует в их игре. Оно влачило по заливу одну-единственную вялую волну, и волна сверкала под луной, как шлейф бального платья, совсем не к месту и не ко времени.



На борту парохода я опять их встретил, этих беженцев. И пароход тоже вызывал неясную тревогу. Он переправлял их — растения без корней — с одного материка на другой. Я говорил себе: «Хочу быть путешественником, не хочу быть эмигрантом. На родине я научился многому, что будет бесполезно в чужих краях». Но вот мои эмигранты достают из карманов записные книжки — последние приметы их былой причастности к реальному миру. Они еще притворяются живыми. Изо всех сил стараются придать себе вес.

— Знаете, я такой-то, — говорят они. — Я из такого-то города... друг такого-то... знакомы вы с таким-то?

И рассказывают про какого-нибудь приятеля, или про какие-то свои обязательства, или какой-то промах — про что угодно, лишь бы эта история помогла им хоть с чем-нибудь установить связь. Но все связи с прошлым распались, ибо эти люди покинули родину. Прошлое еще дышит теплом, оно еще так свежо, так живо — таким бывает вначале воспоминание о любви. Собираешь в пачку письма, полные нежности. Присоединяешь к ним милые сердцу памятки. Заботливо все это перевязываешь. И на первых порах такая святыня источает грустное очарование. А потом пройдет мимо светловолосая девушка с голубыми глазами — и святыня умирает. Ибо и старый приятель, и старые обязательства, и родной город, и память о доме — все выцветает, если ничему больше не служит.

И эмигранты это чувствовали. Как Лиссабон прикидывался безмятежным, так они прикидывались, будто верят в скорое возвращение. До чего безобиден уход блудного сына! Уход этот мнимый, ведь позади остался отчий дом. Уходишь ли в другую комнату или на другую сторону планеты, раз-

ница не так уж велика. Присутствие друга, который где-то далеко, подчас ощутимей, чем его присутствие во плоти. Такое чувство рождает молитва. Никогда я так не любил родной дом, как в пору, когда очутился в Сахаре. Никогда ни один жених не был ближе к своей нареченной, чем бретонские моряки, что в XVI веке огибали мыс Горн и отдавали свою молодость борьбе со встречным ветром. Едва они уходили в плаванье, для них уже начинался обратный путь. Загрубелыми руками поднимая паруса, они готовили свое возвращение. Самая короткая дорога из бретонской гавани к дому невесты вела вокруг мыса Горн. А вот эмигранты мне казались бретонскими моряками, у которых отняли оставленных в Бретани невест. Любимая уже не засветит для них в окне скромный огонек. Они отнюдь не блудные сыны. У этих блудных детей нет дома, куда можно бы возвратиться. Вот тут-то и начинаются подлинные скитания — скитания вне собственной души.

Как создать себя заново? Как распутать тяжелый клубок воспоминаний? Этот призрачный корабль, словно некое чистилище, нес на себе груз еще не родившихся душ. Живыми и подлинными, столь подлинными, что хотелось их коснуться, оставались только те, кто был неотделим от парохода, облагорожен настоящим делом, — кто разносил подносы с едой, драил медяшку, чистил обувь и с чуть заметным презрением обслуживал мертвецов. Команда смотрела на эмигрантов немного свысока вовсе не потому, что те были бедны. Им недоставало не денег, но весомости. Эмигрант уже не был членом такой-то семьи, другом такого-то, человеком с такими-то обязательствами. Каждый еще играл свою роль, но все это была неправда. Никто в них больше не нуждался, никто не ждал от них помощи.

Какое чудо — телеграмма, которая переполошит тебя, глубокой ночью поднимет с постели, погонит на вокзал: «Приезжай! Ты мне нужен!» Друзья, готовые нам помочь, находятся быстро. Куда труднее заслужить друзей, которые ждут помощи от нас. Да, конечно, эти призраки не будили ничьей ненависти и зависти, никто им не докучал. Но никто и не любил их по-настоящему. Я говорил себе: едва они сойдут на берег, их в знак сочувствия засыплют приглашениями на коктейли, на званые обеды. Но кто станет стучаться к ним в дверь, кто потребует: «Открой! Это я!» Долго надо вскармливать молоком младенца, прежде чем он сам начнет требовать грудь. Долго надо взращивать дружбу, прежде чем друг предъявит на тебя права. Поколение за поколением должно разориться, поддерживая обветшалый замок, который вот-вот рухнет, — тогда лишь научишься его любить.

II

И я говорил себе: «Главное — чтобы где-то сохранялось все, чем ты жил прежде. И обычаи. И семейные праздники. И дом, полный воспоминаний. Главное — жить для того, чтобы возвратиться...» Я чувствовал: самая суть моя в опасности, оттого что так хрупки далекие магнитные полюсы, без которых я — ничто. Мне грозила опасность узнать доподлинную пустыню, и я начал постигать тайну, которая давно уже меня занимала.

Когда-то я прожил три года в Сахаре. И я, как многие другие, пытался постичь, чем же она завораживает и покоряет. Казалось бы, там только и есть, что одиночество и лишения, — но всякий, кому случилось побывать в пустыне, тоскует по тем временам, как по самой счастливой поре своей

жизни. «Тоска по бескрайним пескам, тоска по одиночеству, тоска по простору» — все это лишь слова, литературные штампы, и ничего они не объясняют. А вот здесь, на борту парохода, битком набитого пассажирами, я, кажется, понял, что же такое пустыня.

Да, конечно, в Сахаре, сколько хватает глаз, видишь все тот же песок, вернее, обкатанную временем гальку (песчаные дюны там редкость). Там ты вечно погружен в неизменное однообразие скуки. И, однако, незримые божества создают вокруг тебя сеть притяжений, путей и примет — потаенную живую мускулатуру. И уже нет однообразия. Явственно определяются знаки и вехи. И даже тишина всякий раз иная.

Бывает тишина мирная, когда утихает вражда племен и вечер приносит прохладу, и кажется — ты остановился в безмятежной гавани и спустил паруса. Бывает полуденная тишина, когда под давящим солнцем — ни мысли, ни движения. Бывает тишина обманчивая, когда замирает северный ветер, когда мотыльки и стрекозы — цветочная пыльца, взметенная из глубинных оазисов, — предвещают песчаную бурю с востока. И тишина недобрая, когда узнаешь, что в шатрах дальнего племени зреет заговор. И тишина загадочная, когда между арабами завязываются тайные переговоры. И напряженная тишина, когда ждешь гонца, а он все не возвращается. И пронзительная ночная тишина, в которую вслушиваешься, затаив дыхание. И тишина, полная грусти, когда вспоминаешь тех, кого любишь.

Все тяготеет к полюсам. Каждая звезда указывает верный путь. Все они — звезды волхвов. Каждая служит своему богу. Вон та указывает путь к далекому, почти недостижимому роднику.

И даль, что отделяет тебя от этого родника, гнетет, точно крепостной вал. А эта указывает на родник, который давно иссяк. И сама эта звезда кажется иссохшей. И в пространстве, отделяющем тебя от пересохшего родника, дороги нет. А вон та звезда привела бы к неведомому оазису, который восхваляли кочевники, но дорога туда заказана: ее преграждают непокорные племена. И пески между тобою и тем оазисом — как заколдованная лужайка из сказки. Еще одна звезда ведет на юг, в белый город, он точно сладостный плод, так и тянет его отведать. А та ведет к морю.

И наконец, магнитное поле пустыни порождают безмерно далекие, почти неправдоподобные полюсы: дом твоего детства, который и сегодня живет в памяти; друг, о котором только и знаешь, что он есть.

И ощущаешь себя в силовом поле: есть силы пронизывающие и животворные, они тебя притягивают или отталкивают, льнут к тебе или сопротивляются. И стоишь на земле твердо, уверенно и надежно, в самом средоточии важнейших путей и направлений.

Пустыня не дарит осязаемых богатств, здесь ничего не видно и не слышно, а меж тем внутренняя жизнь не слабеет, напротив, становится еще насыщенней, и волей-неволей убеждаешься, что человеком движут прежде всего побуждения, которых глазами не увидишь. Человека ведет дух. В пустыне я сто́ю ровно столько, сколько стоят мои божества.

Так вот, если на борту того печального корабля я чувствовал, что богат и еще не утратил живительных связей, и еще не вымерла моя планета, —

то лишь потому, что далеко позади, затерянные в ночи, окутавшей Францию, у меня оставались друзья, и я начал понимать: без них я не существую.

Конечно же, Франция была для меня не бесплотным божеством и не историческим понятием, но живой плотью и опорой моей, сетью связей, которые направляли мою жизнь, системой магнитных полюсов, к которым тяготело мое сердце. И мне необходимо было чувствовать: они защищенней и долговечней, чем я, — те, кто мне нужен, как путеводная звезда, чтобы не сбиться с дороги. Чтобы знать, куда возвратиться. Чтобы не сгинуть.

В этих-то людях и умещалась сполна и через них жила во мне моя родина. Так для мореплавателя суша воплощена всего лишь в свете нескольких маяков. По маяку не измеришь расстояния. Просто его свет стоит перед глазами. И в этой путеводной звезде — все чудеса далекой суши.

И вот сегодня, когда Франция, теперь уже полностью захваченная врагом, затерялась в безмолвии со всем своим грузом, словно корабль, на котором погашены все огни и неизвестно, уцелеет ли он среди бурь, — сегодня судьба тех, кого я люблю, терзает меня куда сильней, чем любой одолевающий меня недуг. Оказывается, само бытие мое в опасности оттого, что мои любимые так беззащитны.

Тому, о ком так тревожно сегодня ночью твердит мне память, пятьдесят лет. Он болен. И он еврей. Уцелеет ли он среди ужасов немецкой оккупации? Чтобы представить себе, что он еще дышит, мне надо верить: захватчики о нем не подозревают, его укрыла надежная крепость — молчание крестьян приютившей его деревни. Тогда лишь я верю — он еще жив. Тогда лишь, далекий скиталец в необъятных владениях его дружбы, я могу чувствовать себя не эмигрантом, но путешественни-

ком. Ибо пустыня совсем не там, где кажется. В Сахаре несравнимо больше жизни, чем в столице, и людный город, полный суеты, — та же пустыня, если утратили силу магнитные полюсы жизни.

III

Как же творит жизнь то силовое поле, которым мы живы? Откуда она, сила тяготения, которая влечет меня к дому друга? В какие решающие мгновенья стал он одним из полюсов, без которых я себя не мыслю? Из каких неуловимых событий сплетаются узы вот такой неповторимой нежности и через нее — любовь к родной стране?

Нет, подлинные чудеса не шумны. И самые важные события очень просты. Случай, о котором я хочу рассказать, так неприметен, что мне надо вновь пережить его в воображении, надо говорить с тобою, друг мой.

Тот день, незадолго до войны, мы провели на берегу Соны, возле Турню. Позавтракать решили в ресторанчике, дощатая веранда его выступала над рекой. Мы уселись за простой деревянный стол, изрезанный ножами посетителей, и спросили два перно. Врач запретил тебе спиртное, но в особых случаях ты плутовал. А это, конечно, был случай особый. Мы сами не знали почему, но так уж оно было. Мы радовались чему-то столь же неосязаемому, как плоть светового луча. И ты решился выпить праздничный стаканчик перно. А в нескольких шагах от нас два матроса разгружали барку, и мы предложили им выпить с нами. Мы окликнули их сверху, с веранды. И они пришли. Просто взяли и пришли. Так естественно было их позвать — на-

верно, как раз потому, что в душе у нас, неизвестно отчего, был праздник. Конечно же, они не могли не отозваться. Итак, мы чокнулись!

Пригревало солнце. Теплым медом оно омывало тополя на другом берегу и равнину до самого небосклона. Нам становилось все веселей, а почему — бог весть. Но так надежно, без обмана светило солнце и текла река, и трапеза наша была настоящей трапезой, и матросы пришли на зов, и служанка подавала нам так весело, приветливо, словно возглавляла празднество, которому не будет конца. Ничто не нарушало наш покой, от хаоса и смятения нас защищали прочные устои цивилизации. Мы вкусили некоего блаженства, казалось — все мечты сбылись и не осталось желаний, которые можно бы поверять друг другу. Мы чувствовали себя чистыми, прямодушными, мудрыми и снисходительными. Мы бы не сумели объяснить, что за истина открывалась нам во всей своей очевидности. Но нами владела необычайная уверенность. Уверенность почти гордая.

Так сама Вселенная через нас являла свою добрую волю. Уплотнялись звездные туманности, отвердевали планеты, зарождались первые амебы, исполинский труд жизни вел от амебы к человеку — и все так счастливо сошлось, чтобы через нас завершиться этой удивительной радостью. Право же, это настоящая удача.

Так мы наслаждались — мы без слов понимали друг друга, и наш пир походил на священнодействие. Служанка, словно жрица, скользила взад и вперед, ее движения убаюкивали нас, мы чокались с матросами, точно исповедовали одну и ту же веру, хоть и не сумели бы ее назвать. Один из матросов был голландец. Другой — немец. Когда-то он бежал от нацизма, в Германии его преследова-



ли за то, что он был коммунист, а может быть, троцкист, или католик, или еврей (уже не помню, какой ярлык стал поводом для травли). Но в тот час матроса не определял никакой ярлык. Важна была сущность. Тесто, из которого слеплен Человек. Он был просто друг. И всех нас соединило дружеское согласие. Ты был в согласии с нами со всеми. И я тоже. И матросы, и служанка. О чем мы думали так согласно? О стакане перно? О смысле жизни? О том, какой славный выдался день? Мы бы и это не сумели высказать словами. Но согласие наше было столь полным, столь прочным и глубоким, покоилось на законах столь очевидных в своей сути, хоть их и не вместить в слова, что мы готовы были бы обратить этот деревянный домишко в крепость, и выдержать осаду, и умереть у пулемета, лишь бы спасти эту суть.

Какую же суть?.. Вот это как раз и трудно объяснить! Боюсь, что я сумею уловить не главное, а только отблески. Нередко слова бессильны, и, пожалуй, истина ускользнет. Не знаю, поймут ли меня, скажу одно: мы бы охотно пошли в бой, лишь бы спасти нечто в улыбке матросов, и твоей, и моей, и в улыбке служанки, спасти чудо, сотворенное солнцем, которое неустанно трудилось миллионы лет, — и победным завершением его трудов стала эта наша совсем особенная улыбка.

Самое важное чаще всего невесомо. Здесь как будто всего важней была улыбка. Часто улыбка и есть главное. Улыбкой благодарят. Улыбкой вознаграждают. Улыбкой дарят тебе жизнь. И есть улыбка, ради которой пойдешь на смерть. Эта особенная улыбка освобождала от гнетущей тоски наших дней, оделяла уверенностью, надеждой и покоем, вот почему, чтобы верней выразить мою мысль, я не могу не рассказать еще об одной улыбке.

IV

Это случилось в Испании, я там был корреспондентом в дни гражданской войны. Часа в три ночи я опрометчиво явился безо всякого разрешения на товарную станцию посмотреть, как грузят секретное оружие. В полутьме, в суете погрузки моя дерзость, пожалуй, осталась бы незамеченной. Но я вызвал подозрения у ополченцев-анархистов.

Все вышло очень просто. Я и не слыхал, как они, мягко, бесшумно ступая, окружили меня и вот уже обступили вплотную, как будто сжалась осторожная рука. Дуло карабина легонько уперлось мне в живот, и молчание показалось мне торжественным. Наконец я догадался поднять руки.

Я заметил, что они пристально смотрят не в лицо мне, а на мой галстук (мода анархистского предместья не одобряла подобных украшений). И невольно съежился. Я ждал выстрела — в те времена суд был скорый. Но выстрела не последовало. Несколько мгновений совершенной пустоты, все замерло, только грузчики двигались словно в каком-то неправдоподобном танце, где-то в ином мире... а затем мне кивком велели идти вперед, и мы не спеша зашагали через рельсы сортировочной станции. Меня захватили в полном безмолвии, без единого лишнего движения. Так действуют обитатели морских глубин.

Вскоре я очутился в подвале, где размещался теперь сторожевой пост. При чахлом свете убогой керосиновой лампы сидели еще ополченцы и дремали, зажав между колен карабины. Они равнодушно, вполголоса перекинулись несколькими словами с моими провожатыми. Один из них меня обыскал.

Я говорю по-испански, но каталанского не знаю. Все же я понял, что у меня спрашивают документы. А я забыл их в гостинице. Я ответил: «Гостиница...

Журналист...» — но совсем не был уверен, что меня понимают. Из рук в руки переходила улика — мой фотоаппарат. Кое-кто из ополченцев, которые прежде зевали, устало обмякнув на колченогих стульях, теперь скучливо поднялся и прислонился к стене.

Да, всего отчетливей здесь ощущалась скука. Скука и сонливость. У этих людей словно уже не осталось сил хоть к чему-то отнестись со вниманием. Пусть бы уж они смотрели враждебно, все же и это — подобие человеческих отношений. Но меня не удостаивали ни малейшим знаком гнева или хотя бы неодобрения. Несколько раз я по-испански пытался протестовать. Все протесты канули в пустоту. Слова мои не вызвали никакого отклика, на меня смотрели, как на рыбешку за стеклом аквариума.

Они ждали. Чего они ждали? Возвращения кого-то из своих? Рассвета? Я говорил себе: «Может быть, они ждут, когда захочется есть...»

И еще я говорил себе: «Экая будет глупость! Это же просто нелепо!..» Куда сильней тревоги было во мне другое чувство — отвращение к этой бессмыслице. Я говорил себе: «Сейчас они очнутся, захотят действовать, и меня пристрелят!»

Грозила ли мне и вправду опасность? Вправду ли они все еще не понимали, что я не диверсант и не шпион, а журналист? Что документы мои остались в гостинице? Решили они уже, как со мной поступить? Что они решили?

Я знал о них только одно: они ставят к стенке без особых угрызений совести. Застрельщики любых переворотов, к какой бы они партии ни принадлежали, преследуют не людей (человек сам по себе в их глазах ровно ничего не значит) — они ищут симптомы. Истина, не согласная с их собственной, представляется им заразной болезнью. Заметив по-

дозрительный симптом, носителя заразы отправляют в карантин. На кладбище. Оттого таким зловещим казался мне этот допрос — опять и опять мне бросали односложные непонятные слова, и я не знал, о чем они. Шла игра вслепую, и ставкой была моя шкура. И еще от этого мне неодолимо захотелось доказать им, что я живой, настоящий, крикнуть что-то о себе, подтвердить подлинность моей судьбы какой-то весомой приметой. Хотя бы — сколько мне лет. Возраст — это не шутка! Он вмещает всю твою жизнь. Зрелости достигаешь так медленно, постепенно. Пока ее достигнешь, приходится одолеть столько преград, излечиться от стольких недугов, столько превозмочь горя, столько победить отчаяния, стольких опасностей избегнуть, — а львиную долю их ты даже и не заметил. Зрелость рождается из стольких желаний и надежд, из стольких сожалений, забвения и любви. Твой возраст — какой же это груз опыта и воспоминаний! Наперекор всем препонам, ухабам и рытвинам, худо ли, хорошо ли, с грехом пополам движешься вперед, словно надежный воз. И вот, благодаря сцеплению многих счастливых случайностей, ты чего-то достиг. Тебе уже тридцать семь. И, даст бог, надежный воз повлечет груз воспоминаний еще дальше. Итак, я говорил себе: «Вот к чему я пришел. Мне тридцать семь лет». Мне хотелось обременить моих судей столь весомым признанием... но меня больше ни о чем не спрашивали.

И тогда свершилось чудо. То было чудо очень скромное. Я не захватил с собой сигарет. И когда один из моих стражей закурил, я, сам не знаю отчего, слегка улыбнулся и знаком попросил у него сигарету. Сперва он потянулся, медленно провел рукой по лбу, поднял глаза, посмотрел уже не на мой галстук, а мне в лицо — и, к моему немалому

изумлению, тоже чуть улыбнулся. Это было как первый луч рассвета.

Чудо это не стало развязкой драмы, оно просто рассеяло ее, — так свет рассеивает тьму. И драмы как не бывало. С виду ничто не переменилось. Убогая керосиновая лампа, бумаги, раскиданные на столе, прислонившиеся к стене люди, краски, запахи, — все оставалось прежним. И, однако, все преобразилось в самой своей сути. Эта улыбка дала мне свободу. Это был знак столь же несомненный, столь же ясно предвещал он череду событий и столь же был необратим, как восход солнца. Он открывал новую эру. Все оставалось по-старому — и все стало иным. Стол с беспорядочно раскиданными бумагами ожил. Ожила керосиновая лампа. Ожили стены. Будто некое волшебство развеяло скуку, которую источала в этом подземелье каждая мелочь. Словно сызнова потекла по жилам незримая кровь, связуя все здесь воедино и всему возвращая смысл.

И те, кто был в комнате, не шелохнулись, но еще мгновенье назад они мне казались непостижимо далекими, словно допотопные чудища, — и вот возрождались к жизни близкой и понятной. С необыкновенной остротой я ощутил: все мы люди! Все мы живые! И я им сродни.

Юноша, который мне улыбнулся, только что был всего лишь исполнителем, орудием, частицей какого-то чудовищного муравейника — и вот, оказывается, он немного неловок, почти застенчив, и застенчивость эта полна обаяния. Едва ли этот террорист был менее груб, чем любой другой. Но в нем проснулся человек — и сразу стало ясно, что где-то в душе он беззащитно мягок! Мы, люди, так часто напускаем на себя неколебимую суровость, но втайне каждый изведал и колебания, и сомнения, и скорбь

Ничего еще не было сказано. И, однако, все было решено. Анархист протянул мне сигарету, а я благодарно положил руку ему на плечо. И теперь, когда лед был сломан, другие ополченцы тоже снова стали людьми, и я вступил в круг их улыбок, точно в раскрывшуюся передо мной привольную страну.

Я погружался в их улыбки, как когда-то — в улыбки наших спасителей в Сахаре. Товарищи искали нас несколько дней и наконец отыскали, приземлились как можно ближе и шли к нам широким шагом, и размахивали руками, чтобы мы издалека увидели: они несут нам бурдюки с водой. Улыбка спасителей, когда я терпел аварию, улыбка потерпевших аварию, которых спасал я, тоже вспоминается мне словно родина, где я был безмерно счастлив. Подлинная радость — это радость разделенная. И, спасая людей, находишь эту радость. Вода обретает чудодейственную силу, лишь когда она — дар сердца.

Заботы, которыми окружают больного, убежище, дарованное изгнаннику, даже прощение вины только тогда и прекрасны, когда праздник этот озаряет улыбка. Улыбка соединяет нас наперекор различиям языков, каст и партий. У меня свои обычаи, у другого — свои, но мы исповедуем одну и ту же веру.

V

И разве эта совсем особенная радость — не самый драгоценный плод нашей культуры? Материальные наши нужды могла бы удовлетворить и тоталитарная тирания. Но мы не скот, который надо откармливать. Нас не насытишь благополучием и комфортом. Воспитанные в духе уважения

к человеку, мы превыше всего ценим простые встречи, что превращаются порой в чудесные празднества...

Уважение к человеку! Уважение к человеку!.. Вот он, пробный камень! Нацист уважает лишь себе подобных, а значит, он уважает только самого себя. Он отвергает противоречия — основу созидания, а стало быть, разрушает всякую надежду на движение к совершенству и взамен человека на тысячу лет утверждает муравейник роботов. Порядок ради порядка оскопляет человека, отнимает у него важнейший дар — преображать и мир, и самого себя. Порядок создается жизнью, но сам он жизни не создает.

А нам, напротив, кажется, что движение наше к совершенству еще не закончено, что завтрашняя истина питается вчерашними ошибками и преодоление противоречий — единственно плодородная почва, на которой возможен наш рост. Мы признаем своими и тех, кто с нами не схож. Но какое это своеобразное родство! Его основа — не прошлое, но будущее. Не происхождение, но цель. Друг для друга мы — паломники и долгими, разными и трудными путями стремимся к месту встречи.

Но вот сегодня уважение к человеку — условие, без которого нет для нас движения вперед, — оказалось в опасности. Катастрофы, сотрясающие ныне мир, погрузили нас во тьму. Перед нами запутанные задачи, и решения их противоречивы. Истина вчерашняя мертва, истину завтрашнего дня надо еще создать. Единого решения, приемлемого для всех, пока не видно, в руках у каждого из нас лишь малая толика истины. Политические верования, которым недостает явной для всех правоты, чтобы утвердиться, прибегают к насилию. Так мы расхо-

димся в выборе средств — и рискуем забыть, что стремимся мы к одной и той же цели.

Если путник, взбираясь в гору. слишком занят каждым шагом и забывает сверяться с путеводной звездой, он рискует ее потерять и сбиться с пути. Если он просто переставляет ноги, лишь бы не застыть на месте, он никуда не придет. Прислужница в храме, чересчур озабоченная сбором платы за стулья, рискует позабыть, что она служит богу. Так и я, увлекшись политическими разногласиями, рискую забыть, что политика лишь тогда имеет смысл, когда она помогает раскрыть духовную сущность человека. В счастливые наши часы мы изведали чудо подлинно человеческих отношений — и в них наша истина.

Какими бы насущно необходимыми ни казались нам наши действия, мы не вправе забывать, во имя чего действуем, иначе действия наши останутся бесплодными. Мы хотим утвердить уважение к человеку. Мы в одном стане — зачем же нам ненавидеть друг друга? Никто из нас не вправе себе одному приписать чистоту помыслов. Во имя пути, который я избрал, я могу отвергнуть путь, избранный другим. Я могу оспаривать ход его мысли. Ход мысли не всегда верен. Но если этот человек стремится к той же звезде, мой долг — его уважать, ибо мы братья по Духу.

Уважение к Человеку! Уважение к Человеку!.. Если в сердцах людей заложено уважение к человеку, люди в конце концов создадут такой общественный, политический или экономический строй, который вознесет это уважение превыше всего. Основа всякой культуры — прежде всего в самом человеке. Прежде всего это — присущая человеку слепая, неодолимая жажда тепла. А затем, ошибаясь снова и снова, человек находит дорогу к огню.

VI

Вот потому-то, друг мой, мне так нужна твоя дружба. Мне, как глоток воды, необходим товарищ, который, поднимаясь над спорами, рожденными рассудком, уважает во мне паломника, идущего к этому огню. Мне так нужно хоть изредка заранее вкусить обетованного тепла, немного подняться над собой и отдохнуть на высотах, где мы непременно встретимся.

Я так устал от словесных распрей, от нетерпимости, от фанатизма! К тебе я могу прийти, не облачаясь в какой-либо мундир, не подчиняясь заповедям какого бы то ни было Корана, ни в какой малости не отрекаясь от моей внутренней родины. Перед тобой мне нет нужды оправдываться, защищаться, что-то доказывать; с тобой я обретаю душевный мир, как тогда в Турню. За моими неуклюжими словами, за рассуждениями, в которых я могу и запутаться, ты видишь во мне просто Человека. Ты чтишь во мне посланца тех верований, привычек и пристрастий, которых, может быть, и не разделяешь. Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не оскорбляю тебя, а напротив, одаряю. Ты расспрашиваешь меня, словно путешественника.

Как всякий человек, я жажду, чтобы меня поняли, в тебе я чувствую себя чистым — и я иду к тебе. Меня влечет туда, где я чист. Ты узнал меня таким, какой я есть, вовсе не по моим рассуждениям и поступкам. Нет, ты принимаешь меня таким, какой я есть, и потому, если надо, примиришься и с моими рассуждениями, и с поступками. Спасибо тебе за то, что ты принимаешь меня вот таким, какой я есть. Зачем мне друг, который меня судит? Если меня навестил друг и если он хромает, я са-

жаю его за стол, а не требую, чтобы он пустился в пляс.

Друг мой, ты нужен мне, как горная вершина, где вольно дышится! Мне нужно еще раз сесть с тобою рядом на щелястой деревянной веранде скромной гостиницы на берегу Соны, и позвать к нашему столу двух матросов, и чокнуться с ними в мирном свете улыбки, подобной восходу солнца.

Если я еще смогу вернуться в строй, я буду сражаться и за тебя. Ты мне нужен, чтобы тверже верилось: он еще настанет, час той улыбки. Мне нужно помогать тебе жить. Я вижу тебя — ты так слаб, тебе грозит столько опасностей, нелегко тебе в пятьдесят лет, дрожа от холода в изношенном пальтишке, долгие часы стоять в очереди у какой-нибудь убогой лавчонки, чтобы кое-как протянуть еще день. Ты француз до мозга костей, и я знаю, смерть грозит тебе вдвойне: за то, что ты француз, и за то, что ты еврей. Я знаю цену общности, которая отвергает распри. Все мы — Франция, мы ветви одного дерева, и я буду служить твоей истине, как ты служил бы моей. Мы, французы, которые оказались вне Франции, призваны в этой войне освободить из-под ледяной толщи посевы, стынущие под гнетом немецкого нашествия. Мы призваны помочь вам, оставшимся во Франции. Призваны возвратить вам свободу на французской земле, ибо здесь ваши корни, и ваше неотъемлемое право здесь оставаться. Вас сорок миллионов, и все вы — заложники. Новые истины всегда вызревают под гнетом во мраке подземелий: там, во Франции, в сознании сорока миллионов заложников рождается сейчас новая истина. И мы заранее покоряемся этой истине.

Ибо вы укажете нам путь. Не нам нести духовное пламя тем, кто, словно воск свечи, уже питает это пламя всем своим существом. Быть может, вы не станете читать наши книги. Быть может, не станете слушать наши речи. Быть может, отвергнете наши мысли. Сейчас не мы создаем Францию. Мы только можем ей служить. Что бы мы ни делали, мы не вправе ждать благодарности. Не измерить одной мерой свободу битвы и гнет во тьме порабощения. Не измерить одной мерой ремесло солдата и ремесло заложника. Вы — святые.

СОДЕРЖАНИЕ

Сент-Экзюпери А.

С31 Планета людей. Военный летчик. Письмо заложнику. Пер. с франц. М., «Худож. лит.», 1977.

366 с.

В книгу известного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери (1900—1944) включены три его произведения — «Планета людей», «Военный летчик» и «Письмо заложнику», исполненные безмерной любви и жизни, упорного стремления понять свое время и чувства великой ответственности перед людьми.

С $\frac{70304\text{-}017}{028(01)\text{-}77}$ 12-77 **И(Фр)**

Антуан де Сент-Экзюпери

ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
ВОЕННЫЙ ЛЕТЧИК
ПИСЬМО ЗАЛОЖНИКУ

Редактор *Б. Вайсман*
Художественный редактор
Л. Ермоленко
Технический редактор
Л. Витушкина
Корректор
Л. Коншина

Сдано в набор 11/III 1976 г
Подписано в печать 2/VIII 1976 г.
Бумага типографская № 2.
Формат 70×100 1/32. 11 печ л.
14,256 усл. печ. л 14,331 уч.-изд. л.
Тираж 500 000 экз. Заказ 1516. Цена 43 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Калинин, пр. Ленина, 5.

43 коп.